



ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
история России
в воспоминаниях
дневниках
и письмах

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
история России
в воспоминаниях
дневниках
письмах



Наталья Рапопорт
Автограф

✂ Наталья Рапопорт *Автограф*

*Столетие уже скоро, но была
то поэзия, салонная слава,
О судьбах не сумела забыть
Российской горами избу,
На эту избушку плелу,
Одет в парижский марш,
Толкает болшевиком дум,
А изба горит и горит...*



новый хронограф

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ю. А. Веденин (председатель)

А. И. Зорин


А. П. Ненароков

М. О. Чудакова

О. Н. Постникова

Л. С. Янович

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
история России
в воспоминаниях
дневниках
письмах



НАТАЛЬЯ РАПОПОРТ

АВТОГРАФ



Москва
Новый хронограф
2018

УДК 821.161.1-94+821.161.1.09(47+57)(092)

ББК 84(2=411.2)6-49+83.3(2=411.2)6-8

Р 23

Рапопорт Наталья

Автограф – М.: Новый Хронограф, 2018. – 360 с.:
ил. – (Серия «От первого лица: история России в воспомина-
ниях, дневниках, письмах»):

ISBN 978-5-94881-406-3

Наталья Рапопорт представляет в этой книге свои встре-
чи с Евгением Евтушенко, Наумом Коржавиным, Ренатой Мухой,
Михоэлсами, Юлием Даниэлем, Игорем Губерманом, Александром
Городницким и другими. Книга написана так ярко и увлекательно,
что дарит эти встречи каждому читателю.

ISBN 978-5-94881-406-3

© Рапопорт Н. Я., автор, 2018

© Издательство «Новый хронограф»,
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	7
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ Встречи с Евгением Евтушенко	8
Прелюдия: История одной публикации	8
Россия. Шестидесятые	14
Америка. Девяностые	18
ГУЛЯЛИ, ЦЕЛОВАЛИСЬ, ЖИЛИ-БЫЛИ... Наум Коржавин	26
КАК ЖАЛЬ, ЧТО В ДУБРАВЕ ЗАМОЛК СОЛОВЕЙ	
Памяти Ренаты Мухи	37
ВСЯ СИЛА В НИЖНЕЙ ГУБЕ... Мои Михоэлсы	51
ТУТ ЖИЛ МАСТАК МАРК ШАГАЛ	66
НЕОБХОДИМАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ	78
Диночка Канель и невероятный поворот её судьбы	78
Дело врачей	81
Случай в Дебрецене	85
Случай в Амстердаме	90
ВСЕМ ХОРОШИМ НА МНЕ Я ОБЯЗАН КНИГАМ Арлен Блюм	99
ЛЫСЫЕ РОМАНТИКИ, ВОЗДУШНЫЕ БРОДЯГИ	
Александр Городницкий	117
В «Бардселоне»	122
ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК	
Записки о Льве Александровиче Блюменфельде	126
Мошковские	130
В Химфизике	136
Второе знакомство с Блюмом	139
Тимофеев-Ресовский	144
История о том, как я чуть не осиротила мировую биофизику	147
ПАШКА, ПАВЛИК, ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ БУТЯГИН	157

Оглавление

Жора Фёдоров и эффект Бутягина	170
Флора Сыркина	174
ВСПОМИНАЙТЕ МЕНЯ, Я ВАМ ВСЕМ ПО СТРОКЕ ПОДАРУ	
Записки о Юлии Даниэле	181
От автора	181
В гнезде опасных государственных преступников	184
Версии	193
В культурном заповеднике	199
Страшная ночь	201
Байки Даниэлевской кухни	211
<i>Ленинград – Явас через Хельсинки</i>	211
<i>Пока такой человек – герой! – спит...</i>	212
<i>И счастья в личной жизни...</i>	213
<i>Всё зависит от начала отсчёта</i>	213
<i>Как я вернула племянницу Юлия Даниэля</i>	
<i>Симу Васильеву в лоно семьи</i>	213
<i>Собака Алик и кот Лазарь Моисеевич</i>	222
ЛЕНКА Памяти подруги	230
ЕЩЕ СМОТРЮ НА НЕЖНЫХ ДЕВ...	
«Открытым текстом» об Игоре Губермане	239
ДЕТИ НАШЕГО ДВОРА, КРЕПНУТ ВАШИ КРЫЛЬЯ...	
Мои Маршаки	251
КРАСИВЫЕ И МОЛОДЫЕ	264
И ДОРЕШАЕМ МЫ ПРОБЛЕМЫ ВЕЧНЫЕ... Тимур Шаов	283
ГУЛЯКИ СМОТРЯТ В НЕБО Марк Копелев	290
ПЯТЬ-НОК	307
И СОЗДАМ БЮЛЛЕТЕНЬ Женя Павловская	318
КУКЛЫ Рита Соколова	331
ГРИГОРИЙ ФАЙМАН И ТЕАТР НА ТАГАНКЕ	338
ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНИ Александр Львович Блюменфельд	342

ОТ АВТОРА

*И вот тогда – из слез, из темноты,
из бедного невежества бывшего
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.*

Белла Ахмадулина

Следы, которые мы оставляем на земле, складываются в понятие «эпоха». Следы большинства смывает Время, немногие остаются в памяти поколений. Свою эпоху делают и те, и другие. Мне везло в жизни на встречи с необычайно талантливыми и яркими людьми, из судеб которых складывается история моего поколения. Я не писала их портреты – здесь скорее наброски, в них звучат живые голоса моих героев. Вам предстоят встречи, иногда продолжительные, порой мимолётные, с Евгением Евтушенко, Наумом Коржавиным, Ренатой Мухой, Михоэлсами, Юлием Даниэлем, Игорем Губерманом, Александром Городницким, Тимуром Шаовым, и не столь широко известными, но не менее замечательными моими друзьями. И если я привожу здесь адресованные мне надписи на книгах, фрагменты писем, стихи, оправдывает меня то, что они талантливы, полны юмора и написаны искренне; да вы и сами увидите. Многих уже нет с нами. «Время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии», – писал Бродский. Вспоминая в этой книге об ушедших друзьях, я пытаюсь обмануть время. Надеюсь, вы мне в этом поможете.



Фотография Тамары Минко

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

ВСТРЕЧИ С ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО

*...спасая столько, кто в опале,
куда за совесть все попали...*

Евгений Евтушенко

Прелюдия: История одной публикации

В 1988 году в четвёртом номере журнала «Юность» вышла моя первая повесть «Память – это тоже медицина», о «деле врачей»; предисловие к ней написал – и название ей дал – Евгений Александрович Евтушенко. Дело было так.

В 1986 году, на заре Перестройки, меня впервые в жизни выпустили поработать три месяца за рубежом, в Венгрии. Меня там терпеливо ждали три года, решительно отвергая предложе-

ния Академии Наук подсунуть им взамен более подходящую по партийной принадлежности и прочим пятым пунктам креатуру. И вот, наконец, я в Дебрецене. А все мои венгерские друзья – в Будапеште. Дебрецен город строгий, классический, мировой центр протестантства. И жители подстать городу, строгие, сдержанные.

Жила я в студенческом общежитии. Вы когда-нибудь слышали венгерскую речь? А надписи на венгерском языке видели? Этот язык не напоминает никакой другой, разве что финский или эстонский, но я и на тех ничего не понимаю: совсем не на что опереться. Так что в Дебрецене я была полностью отгорожена от нормальной жизни непреодолимым языковым барьером. Мои англоговорящие коллеги вежливо откланивались ровно в пять часов вечера, предоставляя меня моей вечерней судьбе. По московской академической привычке ещё пару часов я колупалась в лаборатории, радуясь доступу к недоступным мне в Москве современным приборам; потом, набрав в грудь воздуха, ныряла в море венгерского языка. Постепенно возник вечерний ритуал. Сначала я шла в ближнюю лавку посмотреть на мясо и колбасу. В Москве того времени я таких красот не видела. Вдоволь налюбовавшись, тыкала пальцем в горку конфет «пьяная вишня», и каждый вечер покупала одну-единственную, экономя драгоценные форинты на наряды себе и дочери Вике. С конфетой возвращалась в общежитие и, опьяняясь вишней, ложилась спать.

Я была чудовищно, катастрофически, как никогда одинока. А когда человек так одинок, он начинает думать о жизни. В Москве мне не хватало на это времени: жизнь неслась галопом, только успевай. А тут вдруг возникла передышка, впрочем, скорее не передышка, а кислородное голодание. И из запасников памяти полезли демоны, с великим трудом похороненные лет тридцать назад, придавленные тяжёлыми глыбами, чтобы не дай Бог не ожили. Но они ожили и начали бесчинствовать. Бессонными ночами я вспоминала подробности папиного ареста и всего, что за этим последовало, содрогаясь от видений, которые легко могли

стать реальностью, проживи Сталин недели на две дольше. Не зная, как избавиться от этого наваждения, я в конце концов взяла блокнот и начала писать, выплёскивая память на бумагу. Так возникла моя первая повесть. Я дала ей название «Катапульта», потому что в ночь папиного ареста меня в мгновение ока выбросило из наивного розового пионерско-комсомольского детства в чёрную бездну реальной жизни. Я об этом написала, и мне сразу стало легче, начала спать ночами. Я тогда впервые испытала целительную для автора силу написанного слова.

Со своими записками я вернулась в Москву. Родные приняли их довольно холодно – им не понравилось, что я вдруг опять обратилась к горьким, давно ушедшим моментам своей жизни. Больше никому я эти записки не показывала. И уж, конечно, мне в голову не могло прийти их публиковать. Но потом получилось вот что.

Я тесно дружила с Ириной и Юлием Даниэлями. Зимой они снимали дачу под Москвой, в посёлке академиков в Перхушково, и я к ним туда часто наезжала на два-три дня. Уж не помню, что на меня нашло, но только однажды я захватила с собой свои записки и ночью прочитала их Ирине и Юлику. Кончила читать, подняла глаза и по потрясённому лицу Ирины и повлажневшим глазам Юлика поняла, что не ошиблась.

– Вы что, держите это дома?! Публиковать немедленно! – сказал Юлик. – Несите в «Юность», там есть порядочный человек – Юра Зерчанинов.

Через пару дней, зажав рукопись в потном от волнения кулаке, я постучалась в «Юность». До той поры я имела дело исключительно с научными редакциями и издательствами. В литературных, как мне казалось, царят небожители. Зерчанинов – высокий, импозантный, вышел ко мне в коридор. Спросил, что принесла. Я протянула ему рукопись. «Что это?» – спросил Зерчанинов. – «Рукопись». – «Это я вижу. Какой жанр?» Я оторопела. Жанра я не знала, и у Юлика не догадалась спросить: такой вопрос в ту пору не мог прийти мне в голову. Я была в замешательстве. Зерчанинов подсказал: «Проза?» – «Ну что Вы, – сказала я, – проза – такое

высокое слово! Но не стихи». – «Мемуары, что ли», – улыбнулся Зерчанинов, и я страшно обрадовалась: «Да-да, вот-вот, мемуары!» – «Ну, оставьте, через месяц мы вам позвоним».

Это было ранней весной 1987 года. Прошёл месяц, другой, третий – из «Юности» ни ответа, ни привета. А надо сказать, что некоторый опыт общения с литературной редакцией у меня всё-таки был: год назад я отвозила рукопись будущей папиной книги «На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года» в «Новый мир» и недавно забирала её обратно. В «Новом мире» она (рукопись) пролежала без движения девять месяцев в редакционном сейфе. Мне сказали: «Время для такой публикации ещё не пришло». Действительно, в течение тридцати пяти лет память о «деле врачей», этом кульминационном моменте и одновременно заключительной точке Сталинской эпохи, старались стереть из отечественной истории. «О деле врачей» никогда не упоминали ни в печати, ни по радио-телевидению. Так что к отказу «Юности» я была морально готова. Но всё-таки как-то летом, проходя мимо редакции, вдруг решила – дай, загляну.

Зерчанинов вышел ко мне мгновенно: «Куда же вы пропали?!» Я, конечно, не стала напоминать, что мне кто-то обещал позвонить через месяц. Он пригласил меня в большую комнату и позвал ещё двоих. Одного я узнала – это был поэт Кирилл Ковальджи, он во время нашей встречи не произнёс ни слова, второго я не знаю и по сей день, но на основе реплик, которые он подавал, назвала его для себя «секретарём парткома». Зерчанинов начал с комплементов: в редакции прочитали мою повесть (вот он, мой жанр!) – очень искренне и просто написано, дан выпуклый портрет времени. Он хвалил, а я чувствовала и ждала: должно наступить «но». И оно наступило: «Но, Наташа, что вы нам принесли?! Наш журнал и так находится под обстрелом общества "Память". Нас обвиняют даже в том, что мы строки в стихах разделяем шестиконечными звёздами! А в вашей повести нет ни одной русской фамилии! Сплошные шапски-папски!». Я перебила: «Юрий Леонидович, вы мне напомнили анекдот.

Приходит внучек к дедушке и спрашивает, правда ли, что Иисус Христос был еврей. Дедушке этот вопрос неприятен, но деваться некуда. Да, внучек, это правда, – говорит дедушка, – но тогда все были евреи – время было такое! Это же рассказ о “деле врачей”! Тогда все были евреи – время было такое!». – «Наташа, поймите меня правильно, – сказал Зерчанинов. – Мы очень хотим опубликовать вашу повесть». – «Мы не хотим её публиковать, не выдавай авансов!», – прервал его «Секретарь парткома». Зерчанинов продолжал, как будто его не слышал: «Мы очень хотим опубликовать вашу повесть, но вы должны нам помочь. Мы должны воспитывать нашего читателя, а не раздражать его. Ваши шапсики-папсики будут его раздражать. Неужели вы не можете вспомнить хороших русских людей, которые пришли вам на помощь»? Я поразились: «Юрий Леонидович, да там же целая глава посвящена замечательным русским людям, которые нас спасали! Губеры!». Зерчанинов: «Губер – русский?!» – «Ещё какой русский! Из обрусевших немцев екатерининских времён. Ему просто с фамилией не повезло. И там есть ещё одна замечательная семья: Беклемишевы». Зерчанинов: «Наташа, вы бы не могли это подчеркнуть? Нам это очень бы помогло». «Секретарь парткома»: Это ничего не изменит, мы не хотим это опубликовать, не выдавай авансов!».

Что-то мне перестало это нравиться. Я сказала: «Юрий Леонидович, я вам очень благодарна за то, что вы прочитали рукопись, и за ваши добрые слова. Но я вижу, что создала вам здесь большие проблемы. Давайте, я заберу рукопись, и будем считать, что наша встреча была ошибкой». – «Не отдам! – сказал Зерчанинов. – Мы её обязательно опубликуем, только дайте срок и помогите нам в этом!».

На этом мы расстались. Я помчалась напрямиком к Юлику (Даниэлю) и в большом возбуждении пересказала ему всю мизансцену. Юлик сказал: «Рукопись не забирать ни в коем случае! Милый друг, вы не понимаете – это прекрасно, что Зерчанинову она понравилась! Он хочет её опубликовать – он её опубликует. Что-то вам, конечно, придётся уступить, на чём-то будете стоять

твёрдо. Торгуйтесь! Это нормальный ход материала сквозь редакционные капканы. Очень важно, чтобы это было опубликовано!»

И «снова замерло всё до рассвета». Рассвет наступил седьмого ноября 1987 года. В речи, посвящённой семидесятилетней годовщине советской власти, Михаил Сергеевич Горбачёв, впервые за минувшие тридцать пять лет, среди тёмных пятен советской истории упомянул «дело врачей». И почти тотчас у меня дома раздался телефонный звонок: «Наталья Яковлевна! С вами говорят из редакции журнала "Юность". Поздравляем вас: решение о публикации вашей повести принято!». Одновременно Сергей Баруздин с волнением и благодарностью принял к публикации папину рукопись, которую папа послал по почте в «Дружбу народов». Забегая вперёд, скажу, что оба материала были опубликованы в апреле 1988 года, к тридцатипятилетнему юбилею освобождения врачей, и стали сенсацией. Представляю, как кусал себе локти «Новый мир»!

После звонка из «Юности» началась та торговля, о которой предупреждал Юлик Даниэль. Редакция пыталась выхолостить из моего рассказа самую суть – об антисемитской природе «дела врачей» и его возможных зловещих последствиях. В конце концов с грехом пополам, текст мы согласовали. И вдруг – новый звонок от Зерчанинова с просьбой зайти: Андрей Дементьев (главный редактор «Юности», он в это время был в больнице) хочет подстраховаться и просит, чтобы предисловие к моей повести написал какой-нибудь авторитетный академик-физик. Господи, почему академик-физик?! Это же повесть о детстве! – «Материал очень горячий, Наташа, Дементьев волнуется. А вы учёный, доктор наук. Поэтому он и хочет академика-физика». – «Хорошо, – говорю, – я попрошу Мигдала». – «Наташа, – говорит Зерчанинов с упрёком, – это опять та же фамилия!» – «Так вы ж не сказали, что физик-академик должен быть авторитетный и русский! Знаю и такого. Сахаров вам не подойдёт?! (Сахаров в это время был ещё в опале и в ссылке)». Зерчанинов машет на меня рукой: «С вами всё ясно, идите, мы сами кого-нибудь найдём». И через

пару дней звонок: «Наташа, вы не будете возражать, если предисловие к вашей повести напишет Евгений Александрович Евтушенко?» Вот это поворот так поворот!!! «Евтушенко?! Да о чём вы говорите, буду счастлива! Только я, видно, проморгала момент, когда его выбрали в авторитетные академики по физике!»

Так произошло моё заочное знакомство с большим поэтом и знаковой фигурой второй половины двадцатого столетия. Много позже мы с ним встретились. Об этом ниже.

Россия. Шестидесятые

К нам в гости приходила Зинаида Ермолаевна Евтушенко, спокойная, милая интеллигентная женщина; мои родители познакомилась и подружились с ней в каком-то санатории. Они пили чай и тихо беседовали, а я бросала их и неслась на площадь Маяковского, где в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов её сын –Трибун – жёг глаголом наши юные сердца. Нынешним не понять, что мы, двадцатилетние, тогда переживали, с какой жадностью вдыхали свежий воздух свободы, неожиданно свалившейся на нас с небес. Метеорологические глупости типа циклон-антициклон, дождь, град, мороз и солнце, день чудесный были сданы в архив. На дворе в любую погоду погода стояла одна: Хрущёвская Оттепель. Мы были уверены, что светлое будущее уже наступило, и одним из его самых заметных символов был высокий, статный широкоплечий сибирский красавец Евгений Евтушенко, гремевший своими мощными стихами с пьедестала памятника Маяковскому. Его «Бабий яр», его «Наследники Сталина» взрывали казавшиеся недавно незыблемыми устои, на которых росло моё поколение.

Но светлое будущее, как известно, и на этот раз обмануло, сделав заметный кульбит в сторону тёмного прошлого. «Разгул свободы» окончился в конце 1965 года арестом Даниэля и Синявского; суд над ними вызвал мощную волну протеста и породил невиданную ранее в стране популяцию диссидентов.

Евтушенко тогда тоже протестовал, очень ещё осторожно и тихо, не против самого суда, а против суровости приговора. Но вот уже «Танки идут по Праге» и обласканный властями, «придворный» поэт протестует во весь голос.

Он несколько раз терял всё, но, как птица Феникс, восставал из пепла, умело балансируя между властью и совестью. К диссидентам он не принадлежал. Но он восставал, чтобы творить добро, о чём чуть ниже.

Советская интеллигенция, сидевшая по кухням с фигой в кармане, имела обыкновение требовать от Евтушенко священной жертвы и, не всегда получая желаемое, отвечала лёгким презрительным пожиманием плеч.

Да, это правда, он пользовался у власти немислимыми привилегиями. Он представлял советскую литературу за рубежом и был там невероятно популярен – он был на Западе символом, олицетворением советской литературы. Других писателей и поэтов они мало знали.

Добрый и порядочный человек с большими, чем у других, возможностями, Евтушенко пытался спасти «стольких, кто в опале, куда за совесть все попали» и сделал много хорошего для личных судеб опальных писателей и других представителей российской культуры. Например, он вернул русской литературе имя Юлия Даниэля. После освобождения из лагеря Даниэлю работы не давали: редакторы литературных журналов шарахались от него, как от чумы. Он очень тяжело переживал отсутствие работы: переводы стихов были делом его жизни, его страстью и счастьем. Да и жить, по правде говоря, надо было на что-то. Ему помогали друзья – Булат Окуджава, Давид Самойлов: они получали заказы на свое имя и передавали их Юлию; будущим литературоведам еще предстоит расставить все по своим местам. Позже Юлию начали давать работу напрямую, при условии, что он будет печататься под псевдонимом Ю. Петров. Так Николай Аржак¹ стал Ю. Петровым. Юлик возмутился:

1 Псевдоним, под которым Даниэля печатали во Франции.

– Почему именно Петров?

– Неблагодарный ты человек, Юлик, – заметила его жена Ирина Уварова. – Сколько моих знакомых евреев дорого бы дали, чтобы подписываться фамилией «Петров»!

Самую кардинальную помощь оказал Юлию Евтушенко. Где-то в верхах, куда он был вхож, Евтушенко потребовал, чтобы ему показали циркуляр, в котором сказано, что Даниэля нельзя печатать под его настоящей фамилией. Циркуляра такого, разумеется, не существовало, и Юлию под нажимом Евтушенко вернули его имя. Незадолго до смерти Юлия появились в печати переводы, подписанные его настоящей фамилией. Первым был сборник стихов французских поэтов девятнадцатого века. Мы наглядеться не могли на эту книгу.

– Теперь меня опять посадят, на этот раз за плагиат, – резвился Юлик. – Скажут, что я все содрал у Петрова!

Юлий Даниэль был моим жизненным камертоном, я ему бесконечно доверяла. Евтушенко он очень уважал и был ему навсегда благодарен. Для меня это много значило. У части нашей интеллигенции, что греха таить, есть такая мода: утверждать с выражением лёгкого превосходства, что Евтушенко или Даниэль – это не литература. Я впадаю от этого в бешенство: где ваши глаза, доморощенные эстеты с презрительно оттопыренной губой?

«У поэтов есть такой обычай, в круг сойдясь, оплёвывать друг друга»... К Евтушенко эта замечательная цитата из Кедрина никакого отношения не имела: он бесконечно бережно и уважительно относился к чужому творчеству, и даже если бы не создал в жизни ничего, кроме Антологии русской поэзии, уже одним этим навсегда остался бы в истории русской культуры и словесности. Но он и сам был большой поэт.

Я знаю много историй о том, как Евтушенко помогал людям, но те истории – понаслышке, а описанная выше произошла у меня на глазах.

Есть ещё одна занятная история, так нами и неразгаданная.

В течение многих лет имена Даниэля и Синявского были стёрты из отечественной истории. И вдруг, на заре гласности, – сенсация! В «Московских новостях» появляется небольшая заметка Евгения Евтушенко. В ней впервые за прошедшие два десятилетия открыто упоминаются фамилии Синявского и Даниэля. Евтушенко пишет, что в середине шестидесятых годов (кажется, в шестьдесят шестом) он был в Америке и встречался с сенатором Бобби Кеннеди, который пригласил его к себе домой. Сенатор Кеннеди завел его в ванную, открыл душ, чтобы лилась вода, и тихо сказал:

– Передай своим друзьям, что имена ваших писателей, Даниэля и Синявского, открыло вашему КГБ наше ЦРУ.

– Но зачем?! – изумился Евтушенко.

– Потому что не составляло труда просчитать, что за этим последует для ваших писателей и какую волну протеста это поднимет во всем мире! ЦРУ хотело таким образом отвлечь внимание мировой общественности от войны во Вьетнаме...

С этой заметкой прибежал ко мне в лабораторию студент, знавший о моей дружбе с Даниэлями. Я прочитала, изумилась, бросилась к телефону. Было глухо занято – легко догадаться, что сейчас Даниэлям звонила вся Москва. Наконец, и мне повезло.

– Друг мой, ради Бога, только не говорите, что прочитали «Московские новости». Я уже не могу этого слышать. Лучше приезжайте скорей домой, выпьем, поболтаем.

Я не заставила себя долго ждать.

– Что за хрень?! – спросила я, едва переведя дух.

– Возможно, это не такая уж хрень, – сказал задумчиво Юлик. – Для меня все время была загадка – каким образом на столе у моего следователя оказалась фотокопия того единственного, правленного моей рукой экземпляра «Искупления», который я передал на Запад? Понимаете, я ехал в метро отдать рукопись для передачи во Францию и в последнюю минуту делал какие-то правки на полях. Они были только в этом экземпляре. И именно с этого экземпляра фотокопия лежала на столе у следователя. Но ведь он достиг Франции и был опубликован – каким же об-

разом его фотокопия вернулась обратно?! Может, Евтушенко и прав. Попрекал же следователь Андрея (Синявского, *НР*), что наша поимка обошлась стране в одиннадцать тысяч долларов золотом! Есть версия, что КГБ выменяло у ЦРУ имена Даниэля и Синявского за чертежи новой советской атомной подводной лодки... – «Если это правда, лодку следовало бы назвать “Терц и Аржак”, – заметил сын Юлия Александр Даниэль.

Америка. Девяностые

В девяностых годах многие представители русской науки и культуры оказались в Америке. Евтушенко приехал в Штаты по приглашению Президента университета штата Оклахома в Талсе, я – по приглашению университета штата Юты. Наши пути не пересекались. Но в марте 1996 года в Москве умер мой отец. В редкие после его смерти наезды в Москву я разбирала папин обширный архив и однажды среди сохранившихся экземпляров первого издания его книги «На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953-го года» совершенно случайно наткнулась на книгу, подписанную папиной рукой Евгению Евтушенко. Видимо, не зная американского адреса Евтушенко, папа её не отправил, и она затерялась среди остальных его книг. Я, конечно, привезла её в Штаты.

Узнать адрес Евтушенко в Оклахоме не составляло труда, и я решила отправить ему папину книгу, а заодно и свою «То ли быль, то ли небыль», изданную незадолго до этого, где в главе о Юлии Даниэле было сказано о Евтушенко несколько добрых слов.

В надписи на своей книге я напомнила Евтушенко, что он – мой «крёстный отец» в литературе, ибо моя самая первая литературная публикация – повесть «Память – это тоже медицина», опубликованная журналом «Юность» в 1988 году и наделавшая много шума, вышла с его предисловием, а без него, возможно, вообще бы не вышла.

Евтушенко писал в предисловии: «Наталья Рапопорт сейчас известный учёный, доктор химических наук. Я лично с ней незна-

ком, но почему-то мне она представляется властной, уверенной в своих решениях женщиной, и лишь где-то, в глубине глаз, на самом дне зрачков привыкла столько лет прятаться трагедия её детства. В 1953 году Наташа была школьницей, когда её отца, известного патологоанатома, арестовали по так называемому “делу врачей”. Об этом Наталия Рапорт и написала свои безыскусные, не претендующие ни на сенсационность, ни на литературную изысканность воспоминания... Эти воспоминания взывают о том, чтобы ничто подобное не повторилось. Забвение ведёт к загниванию исторических ран. Чтобы залечить исторические раны, память – это тоже медицина».

Мне пришлось проглотить евтушенковские эпитеты «безыскусные» и «не претендующие на литературную изысканность». На самом-то деле «простота и базыскудность» были – и остаются – моим литературным кредо.

Но я отвлелась от повествования. И так, в 2000-ом году я послала Евтушенко в Оклахому две книги, папину и свою; к ним приложила открытку, в которой напомнила начало его предисловия к моей повести: «Я лично с ней незнаком, но почему-то мне она представляется властной, уверенной в своих решениях женщиной, и лишь где-то, в глубине глаз, на самом дне зрачков привыкла столько лет прятаться трагедия её детства». Я спрашивала, не слабо ли ему прилететь, заглянуть на дно моих зрачков и убедиться в ошибочной оценке моей личности. И дней через десять – телефонный звонок: «Наташа, это Евтушенко». Муж увидел, как меня подбросило, и принялся унимать: «Спокойно, спокойно!».

Евтушенко сказал, во-первых, что очень благодарен мне за папину книгу: её смели с прилавков так быстро, что он её не достал даже в ЦДЛ; а во-вторых, что прилететь к нам ему «не слабо», и если мы захотим, он готов выступить как перед русской, так и перед американской аудиторией. В русской аудитории я не сомневалась (на русскоязычную встречу с Евтушенко пришло человек сто, абсолютный рекорд для нашей Юты), а американская аудитория меня беспокоила: штат Юта не назовёшь центром ми-

ровой цивилизации. К тому же, мормоны – люди, как мне кажется, глухие к чужой культуре. Правда, Университет штата Юта, где я работала – место вполне космополитичное, и на него был мой расчёт. Не очень на что-то надеясь, я позвонила в местную газету и спросила, не сообщат ли они о приезде в Юту известного русского поэта Евгения Евтушенко. Они сообщили, и вы не представляете, что тут началось! Его хотели везде. Я выбрала две аудитории, которые могли быть интересны ему самому: во-первых, вместительный зал довольно жалкого Музея изобразительных искусств при университете в Солт-Лейк-Сити и, во-вторых, самый крупный в Америке (возможно потому, что и единственный) Музей социалистического реализма (!), расположенный в глухой мормонской провинции, милях в семидесяти от Солт-Лейк-Сити. Его директор, фанат своего дела, начал собирать свою уникальную коллекцию сразу после Второй Мировой Войны, и собрал-таки абсолютные шедевры. Забегая вперёд, скажу, что я не ошиблась: Евтушенко, как и я, был очень впечатлён этим музеем, а на встречу с ним съехалась туда интеллигенция из наших провинциальных университетов, так что толпа была густая.

Честно сказать, я была потрясена размахом его популярности в Штатах. В Солт-Лейк-Сити в день его выступления был страшный снегопад: таких у нас бывает всего четыре-пять в году. Погода из серии «хороший хозяин собаку на улице не выгонит», видимость на дороге нулевая, лютый ветер и снег – и, представьте, несмотря на это, большой зал музея был битком набит интеллигентной американской публикой, в основном, конечно, университетской.

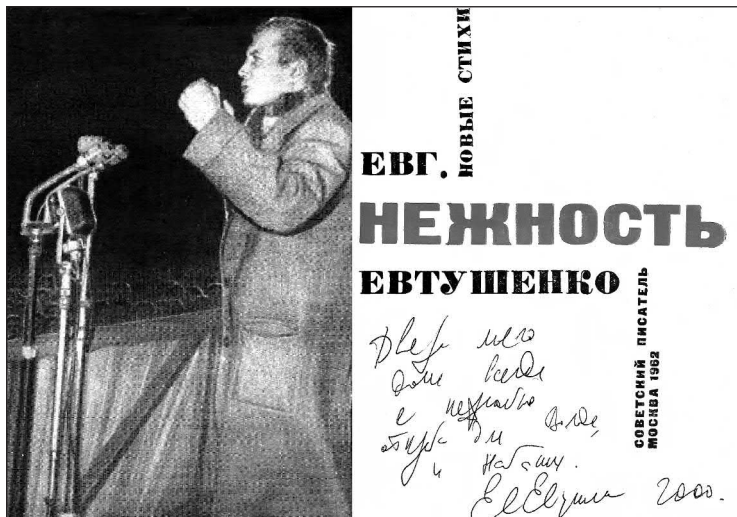
Мне пришлось открывать этот вечер. Представлять Евтушенко американской публике – непростая задача. Я рассказала, что, несмотря на его знаменитые выступления против оккупации Чехословакии и в защиту опальных деятелей культуры, он был обласкан советской властью, и своё влияние использовал во благо тех, кто в его поддержке нуждался. Потом пересказала шуточный рассказ моего друга, бардовского композитора Саши Дулова.

Дулов написал серию песен на стихи Евтушенко, и, страшно волнуясь, представлял эти песни автору стихов. Евтушенко слушал, совершенно растворившись в происходящем. Когда Дулов кончил петь, он долго молчал, после чего сказал с глубоким чувством: «Гениальные... стихи!». К моему удовольствию и облегчению, публика откликнулась на юмор. «Сегодня вам предстоит самим убедиться, насколько справедливой была эта оценка», – сказала я в заключение.

Публика убедилась. Вы представить себе не можете, какой невероятный успех он имел, хотя читал стихи либо по-русски, либо в английском переводе, но с сильным и неизбывным славянским акцентом. ЛИЧНОСТЬ автора, его энергия, сила и музыка стиха – вот что покорило американскую аудиторию.

На встрече с русскоязычной публикой Евтушенко читал свои ранние стихи, и я видела, что многие, как и я, слушали его со слезами на глазах и шептали про себя знакомые слова. Это была встреча с нашей далёкой молодостью. Он подписал мне потом книжки издания начала шестидесятых годов, привезенные мной в Штаты и зачитанные до дыр, что его порадовало.

В двухтысячном году Евтушенко было под семьдесят, но он был так же неотразим для милых дам, как в двадцать пять или тридцать, а может быть, ещё неотразимее. Пока он гостил у нас, одна очаровательная молодая американка, побывавшая на его выступлении, звонила нам каждый день, умоляя о личной встрече с ним. Я стояла насмерть, а он откровенно радовался вниманию со стороны прелестной молодой особы. И хотя видела, что Евтушенко напрягается от моих шуток, удержаться иногда не могла. На русскоязычной встрече он рассказывал, среди прочего, что его друг Михаил Шемякин пишет серию портретов на тему Казановы и попросил его... он на долю секунды затормозил, и я подсказала: «Позировать». «Наташа, – сказал Евтушенко с упрёком, – Маше только такого не скажите! Миша попросил меня написать стихи». Другой раз он пожаловался, что его перестали узнавать на улицах. «Как, – не удержалась я, – а по пиджаку?!»



«Двери моего дома всегда с нежностью открыты для Володи и Наташи. Евтушенко 2000»

Теперь о личном. Визит Евтушенко, тонкого знатока напитков и строгого ценителя кулинарного искусства, был для нас большим праздником, но добавил мне немало седых волос. Домашнее хозяйство никогда не было моей сильной стороной. К тому же хозяйством занимался у нас дома Володя, потому что я только что получила грант от Национального института рака и с усердием отработывала полученный миллион. Володя заменял меня у плиты легко и с удовольствием, но такой семейный расклад Евтушенко поразил и откровенно ему не понравился. Он ко мне страшно придирался и беспощадно критиковал каждый мой шаг, а к Володе проникся нежностью и называл его не иначе как «мой опальный друг». Признать свою ошибку в отношении моей личности Евтушенко в ту первую встречу категорически отказался. Кстати, все блюда нехитрого Володиного меню, не отличавшегося особенными кулинарными изысками, он ел с явным удовольствием, а однажды, потребовав докупить недостающие



Наташе - от человека, которого она своевременно не оценила, с родственной любовью к твоему мужу Володе, которого я оценил своевременно и навсегда. Евтушенко

Евг. Евтушенко
**ВЗМАХ
РУКИ**

СТИХИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1962

«Наташе – от человека, которого она своевременно не оценила, с родственной любовью к твоему мужу Володе, которого я оценил своевременно и навсегда. Евтушенко»

ингредиенты и скрупулёзно проверив качество каждого, сварил потрясающий плов, под которым, думаю, подписался бы сам «мастер художественного плова»² Сергей Никитин.

Не знаю, почему он решил, что я его своевременно не оценила. Неужели из-за моих шуток и своевольного языка, который всю мою жизнь успевает сказать что-то раньше, чем я успеваю на него наступить? Он был кумиром моей молодости. Вот и книги его я привезла в Штаты. Эта надпись, неверная по сути, меня очень огорчила.

Однажды Евтушенко тронул меня чуть не до слёз. Мы случайно встретились в аэропорту Шереметьево: оба летели в Штаты одним и тем же рейсом, только Евтушенко летел первым классом, а я – «последним». Когда первый класс рассадили, оказалось, что место рядом с Евтушенко свободно. Я шла мимо на

² Так называл Никитина Зиновий Гердт.

РУССКИЕ ПОЭТЫ

Евг. Евтушенко

1949

•

1999

Век XX

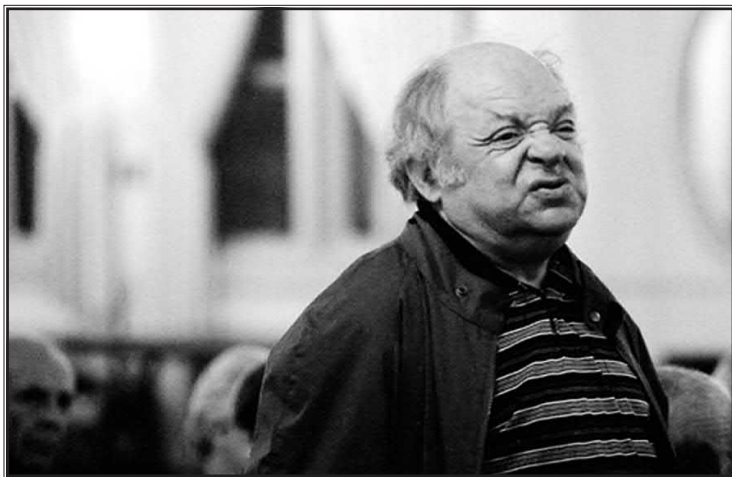
Дорогой Наташе
СТИХОТВОРЕНИЯ
Рапопорт
Ан. Гали
Прогресс
С. М. Дороница
2000. *Евг. Евт.*

*«Дорогой Наташе Рапопорт с любовью и благодарностью.
2000. Евг. Евт.»*

своё место, и он позвал: заходи, поболтаем. Когда окончились церемонии с напитками и обедом, я заглянула к Евтушенко. Он дремал, но при моём появлении проснулся и предложил сесть рядом. Откуда-то мгновенно выпорхнула стюардесса и начала решительно и довольно грубо гнать меня назад в экономкласс. Евтушенко вступил с ней в раскалённую дискуссию: место ря-

дом свободно, мы никому не мешаем, и он имеет полное право побеседовать со своей приятельницей. Стюардесса отрезала: «Идите в её класс и там беседуйте». Я сказала стюардессе: «Успокойтесь, я ухожу», – и пошла к себе. Евтушенко вскочил и отправился вслед за мной. Никакие мои уговоры не помогли, в первый класс он не вернулся вплоть до посадки, и остаток пути до Нью-Йорка мы проболтали, стоя около туалета. Перебираю своих знакомых – вряд ли кто-нибудь другой поступил бы так, но для Евтушенко это было естественно, как дышать. Он летел тогда из Москвы, полный впечатлений, и всю дорогу одаривал меня всякими литературными и окололитературными байками.

Когда я писала эти заметки, Евтушенко был жив. Теперь он ушёл, последний из «великолепной семёрки», с ним ушла молодость моего поколения, а по большому счёту – целая Эпоха. «Остаются лишь крошки стекла... жизнь прошла».



Фотография Марка Копелева©

ГУЛЯЛИ, ЦЕЛОВАЛИСЬ, ЖИЛИ-БЫЛИ...

НАУМ КОРЖАВИН

*Я не был никогда аскетом,
Я не мечтал сгореть в огне.
Я просто русским был поэтом
В года, доставшиеся мне.*

Наум Коржавин

Было начало семидесятых – может быть, год семьдесят второй или семьдесят третий. Я возвращалась домой с работы, зашла в наш подъезд и остановилась у двери: лестничная клетка гудела мужскими голосами. Я не люблю мужских голосов на лестничной клетке с той достопамятной ночи второго февраля 1953 года, когда семь человек увезли папу, а оставшиеся семь до утра делали обыск в нашей квартире и, устав от скрупулёзной работы, выходили на лестничную площадку покурить. В ту ночь

в нашем подъезде не спал ни один человек. Конечно, *эти* громко разговаривали, но дело было и в другом: все понимали, что у нас происходит. Дом наш принадлежит кооперативу «Медик» – одному из первых сталинских кооперативов – и был в те годы до отказа забит медицинской профессурой (за последние полтора десятилетия состав жильцов кардинально поменялся со старых евреев на «новых русских»). Когда арестовали папу, «дело врачей» было в самом разгаре, и, за редким исключением, каждый в нашем подъезде мог оказаться следующим в этом скорбном пути на Лубянку.

С тех пор прошло двадцать лет, я повзрослела и времена изменились – семидесятые благоухали собственными ароматами – но иррациональный страх мужских голосов на лестничной клетке остался со мной, поселившись где-то в подкорке. Да и так ли уж изменились времена? Не так давно отгремело дело Даниэля и Синявского, советские танки топтали Прагу, КГБ травило Солженицына и всю охотилось за самиздатом и тамиздатом. Воздух в стране был спёртый. На моём личном счету к началу семидесятых числился один серьёзный грех (меня взяли в трамвае с книгой Солженицына, присланной мне приятелем, которого уже посадили) и несколько менее серьёзных, но тоже заметных грехов. Плюс к этому папа уже года полтора писал подпольную книгу воспоминаний о «деле врачей». Правда, об этом на всём белом свете знали только я и сестра (мамы уже не было), но ведь чёрт его знает, это «все-видящее око» Лубянки.

Стоя внизу у двери подъезда, я безуспешно пыталась определить, с какого этажа доносятся мужские голоса. Дом наш семиэтажный, гулкое эхо размывало слова, и я понимала только, что этаж не второй и не третий, а дальше мог быть каким угодно. Мы жили на четвёртом. Мои колебания и размышления заняли, наверное, минуты три; я надеялась, что кто-то из соседей зайдёт в подъезд и мы поедем вверх вместе, но, как назло, никто не шёл. Стоять так вечно было непродуктивно, дома ждали папа и Вика,

надо было что-то предпринимать. Я поднялась к лифту и нажала кнопку четвёртого этажа.

Лифты в те годы ходили медленно. Чем ближе лифт подходил к цели, тем яснее становилось, что голоса доносятся именно с нашей лестничной площадки, и я пережила несколько очень неприятных секунд. Вот и четвёртый этаж. Собравшись с духом, я открыла деревянные дверцы. Сквозь сетку лифта глаз мгновенно схватил три момента, от которых в душе запели скрипки и ноги сразу окрепли: входная дверь в нашу квартиру была закрыта, дверь напротив, в квартиру Маршаков, распахнута настежь, и плотная толпа курящих на площадке мужчин состояла не из *этих*: наоборот! Я никогда не видела столько интеллигентных и значительных лиц в расчёте на один квадратный метр. Они расступились, давая мне выйти. Над толпой возвышалась красивая голова Сашки Маршака. Он просочился ко мне и объяснил: «Провожаем Эму Мандела в Америку». – «Кого?» – «Эму Мандела. Ну, Наума Коржавина». И тут мне стало ясно, что толпа совсем не беспорядочная, как мне сначала показалось, а вся обращена к невысокому человеку с очень выразительным лицом, в данный момент то ли очень растерянным, то ли очень несчастным. Так я впервые увидела Наума Коржавина, за день до его отъезда в Америку. Многие его стихи из «Тарусских страниц» я знала наизусть, другие читала в списках. Незадолго до его отъезда появились на папиросной бумаге поразившие меня стихи «Памяти Герцена» (баллада об историческом недосыпе):

Любовь к Добру разбередила сердце им.

А Герцен спал, не ведая про зло...

Но декабристы разбудили Герцена.

Он недоспал. Отсюда все пошло.

И, ошавев от их поступка дерзкого,

Он поднял страшный на весь мир трезвон,

Чем разбудил случайно Чернышевского,

Не зная сам, что этим сделал он.

.....
*Все обойтись могло с течением времени.
В порядок мог втянуться русский быт...
Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?*

.....
*И с песней шли к Голгофам под знаменами
Отцы за ним, — как в сладкое житье...
Пусть нам простятся морды полусонные,
Мы дети тех, кто не доспал свое.*

*Мы спать хотим... И никуда не деться нам
От жажды сна и жажды всех судить...
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.*

Только моё поколение может понять, что значили для нас тогда эти стихи и человек, их сочинивший. Шансов уцелеть в Советском Союзе у него, конечно, не было. Коржавин писал потом: «Я уехал 31 октября 1973 года в минуту отчаянья, и отчаянье это было вполне обоснованным. Тогда я думал, что у меня есть два ужасных выхода: один уехать, а другой остаться».

Подходить к Коржавину во время его проводов я, конечно, не стала. Мы познакомились через много лет, в Америке, в Бостоне, за праздничным столом у моей подруги Жени Павловской. Друзья зовут Коржавина Эмочка (или Эмка), и Эмочкой он сразу стал и для меня. В редкие приезды в Бостон я забегала к ним с Любой в их крохотную квартирку, каждый раз поражаясь, как Эма, который почти ничего не видит, находит дорогу в сложном горном ландшафте, выстроенном из сложенных или разбросанных по полу книг, журналов и газет.

Стихи были его жизнью, он читал их направо и налево, знакомым и незнакомым. В сорок седьмом году это с неизбежностью привело его на Лубянку. Но, похоже, что обаянию его личности

поддались даже следователи, поражавшиеся его самоубийственным строчкам: «Я сам всем своим существованием компрометирующий документ». «Следователям нравилось», – сообщил нам Эмочка. Ему заменили страшную пятьдесят восьмую статью другой, лёгкой, по которой из Москвы высылали проституток: всего три года ссылки в Сибири.

Коржавин естествен, как солнце, луна, дождь, как сама природа. И хотя голливудским красавцем его не назовёшь, он привлекателен и даже неотразим. Не зря же в него влюбилась когда-то его Любаня и бросила своего благополучного мужа ради этого странного, не имеющего ни кола ни двора человека. А он ещё печалился в юности:

*Мы не будем увенчаны,
И в кибитках снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами...*

Недавно я прочитала у Тендрякова в «Охоте»: «Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку, едва ли не времен гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эти валенки носили его по Москве и в стужу, и в ростепель, и по сухому асфальту, и по лужам. По мере того как подошвы стирались, Эмка сдвигал их вперед, шествовал на голенищах... Выдавшая виды Москва дивилась на Эмкины валенки. И шинелка пелеринкой, и островерхая буденовка – Эмку принимали за умалишенного, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало. Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодую

и восторгаясь, презирая и славя, ораторствуя косноязычной прозой и изумительными стихами».

Как умудряются уцелеть такие чистые, честные, бескомпромиссные люди в «соблазнах кровавой эпохи»? Думаю, просто счастливый случай.

...Так случилось, что в двухтысячном году я пересеклась с Коржавиным в Москве и была на его семидесятипятом юбилее в Музее Окуджавы в Переделкино. Зал там маленький, и посвящённый Эмочке вечер был очень тёплый, семейный, лица сплошь знакомые и, в большинстве своём, любимые. Хозяйка дома Ольга Владимировна Окуджава вручила юбиляру медаль Музея, каковую до него, что было особо подчеркнуто, получили только пять человек (фамилий, к сожалению, не обнародовала). У меня была с собой видеокамера, я записала тот вечер и горю, что не могу показать его вам в книге, но постараюсь передать атмосферу. Коржавин читал стихи, потом говорил о вечном в поэзии: его чрезвычайно занимала эта тема. «Поэзия открывает в современном вечное... Поэзия даёт ощущение вечности и её необходимости. А художник – это человек, который раскрывает в своём творчестве современность и вечность. И он обязан прорываться сквозь современность к небу, к звездам. Потому в идеале каждое произведение искусства должно быть рассчитано на вечность. Самуил Яковлевич Маршак, один из самых мудрых людей, которых я встречал в жизни, говорил: "Знаете, голубчик, в мире существует одно искусство – поэзия, а все остальные искусства ценны постольку, поскольку в них есть поэзия". Потом он делал паузу и добавлял: "В том числе и стихи"...».

Разговор о вечности в поэзии органически перетёк в его воспоминания о похоронах Пастернака. В шестидесятом году приехать на похороны опального поэта было уже *поступком*. Евгений Винокуров, которого он встретил по дороге, сокрушённо сообщил: «Там нет ни одного человека от секции поэтов». «Женька (Винокуров, *HP*) очень боялся, но всё-таки пришёл, – это вдвойне *поступок*, – а я уже ничего не боялся, – рассказывал Эма, – но...

сознавал! Мы подошли, там было полно иностранных журналистов, стрекотали камеры. Они и нас зафиксировали, когда мы выходили из дома. Этот снимок попал потом в журнал "Пари матч", к счастью без наших имён: наши лица были тогда мало кому известны... На верхней ступеньке Булат, ниже мы с Винокуровым».

Гроб с Пастернаком несли на кладбище на плечах, хотя около дома ждали похоронные дроги. «Народа на кладбище было очень много, пытавшихся митинговать останавливали, просто читали стихи. Арий Давидович, "главный похоронщик" Центрального дома литераторов, сказал потом, что это были народные похороны, почти как у Льва Толстого. Он знал, о чём говорил, потому что он-то как раз и организовывал похороны Толстого. Собственно, с этого началась его "похоронная" карьера. Когда пришла весть о смерти Толстого, он был студентом. Он помчался в Астахово. Там творилась жуткая неразбериха. Арий начал распоряжаться и оказался там главным руководителем. Потом, когда умер очередной литератор и надо было его хоронить, кто-то вспомнил: а вот был такой молодой человек на похоронах Толстого... И пошло. Юрий Олеша как-то спросил у Ария: "Сколько бывает уровней похорон?" Арий ответил: "Три. Первая стоит пятнадцать тысяч, вторая десять, третья – пять". – "А по какому уровню ты будешь хоронить меня?" – поинтересовался Олеша. – "Тебя? Наверное, по второму". – «Знаешь что, – сказал Олеша, – дай мне сейчас пять тысяч – и хорони по третьему!». Этот рассказ Эмочки отвлёк присутствующих от серьёзных размышлений о вечности, и, воспользовавшись паузой, Александр Дулов спел «жестокий романс "Памяти Герцена"»: он сделал из этих стихов настоящий моноспектакль. Эмочка, если можно так выразиться, подпевал. Тут я испытала некоторый укол зависти: я всегда считала, что замыкаю отряд людей с отсутствующим музыкальным слухом, и мне как замыкающему должны доверить специальный выпел. Но оказалось, что Коржавин стоит даже позади меня, а петь любит не меньше. Он спел нам очень смешные песни Юза Алешковского. Сергей Никитин пытался подыгрывать ему на гитаре. Мой друг

Саша Блюм однажды сказал самокритично, что ещё не родился человек, способный подыграть его пению. То же и с Эмочкой: даже Никитин был бессилён, хотя всё-таки немного спасал положение. Эмочка, впрочем, всё о себе знал: «Я потом догадался, что надо просто читать песни речитативом». Он и попытался исполнить таким образом «Лёньку Королёва», но всё срывался на пение. Зал ему помогал, подпевал, и вечер прошёл замечательно.

...Ещё два слова о вечном в поэзии. Ахматова говорила, что большинство персонажей Достоевского – это постаревшие пушкинские герои. А Бродский писал: «Поэзия задала тон всей последовавшей русской литературе, и лучшее в русской прозе можно рассматривать как отдаленное эхо, как тщательную разработку психологических и лексических тонкостей, явленных русской поэзией...».

Коржавин, кстати, Бродского ругал, как и всех остальных собратьев по цеху. От него редко когда можно услышать доброе слово о поэтах, и не только. Тем ценнее редкая коржавинская похвала.

Очень смешно об этом написал Довлатов в своем романе «Филиал», где Коржавин обозначен прозрачной фамилией Ковригин:

Накануне одной литературной конференции меня предупредили:

– Главное, не обижайте Ковригина. – Почему я должен его обижать?

– Потому что Ковригин сам вас обидит. А вы, не дай Бог, разгорячитесь и обидите его. Не делайте этого. – Почему же Ковригин меня обидит? – Потому что Ковригин всех обижает. Вы не исключение. Поэтому не реагируйте. Ковригин страшно ранимый. – Я тоже ранимый. – Ковригин – особенно. Не обижайте его... Началась конференция. Выступление Ковригина продолжалось четыре минуты. Первой же фразой Ковригин обидел всех американских славистов. Он сказал: – Я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей... Затем Ковригин обидел целый

город Ленинград, сказав: – Бродский – талантливый поэт, хоть и ленинградец... Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского. Ну и меня, конечно, задел. Не хочется вспоминать, как именно. В общем, получалось, что я рвач и деяга. Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

– Пусть Эмка извинится. Только пусть извинится как следует. А то я знаю Эму. Эма извиняется так: Извините, конечно, но вы – дерьмо!

«Мы прожили очень тяжёлую эпоху, даже более тяжёлую, чем нам казалось, когда мы её проживали, – говорил Коржавин, – потому что мы были отделены железным занавесом, а железный занавес – вещь оптимистическая: всегда кажется, что за ним – рай...». Через пять лет после переселения в Штаты он написал:

*Могу в Париж и Вену.
Но брезжу я Москвой,
Где бьетесь вы о стены,
О плиты головой.*

*Надеясь и сгорая,
Ища судьбы иной.
И кажется вам раем
Всё то, что за стеной.*

*Где все сместив оценки –
Такие времена –
Я тоже бьюсь об стенку,
Хоть стенка из г...*

Я не встречала в Америке другого эмигранта, который бы настолько не уезжал из России. Коржавин живёт Россией, её новостями и проблемами. Одно время он часто звонил мне по утрам и рассказывал, как прошёл в России день (в Москве в это время уже наступил вечер). Его анализ событий был всегда

Н. Коржавин,
*Копище From Boston
with Love.*
Элла
СПЛЕТЕНИЯ 97, v. 89

ПОСЕВ

глубоким и необыкновенно эмоциональным; беда моя была в том, что в те годы я много преподавала, и, хоть умри, должна была успеть на урок (а это минут сорок-пятьдесят от дома до университета в час пик). Опаздывать вообще нехорошо, а американский студент к тому же ловит каждый промах педагога и упоённо стучит на него в своих отзывах, от которых зависит перспектива его дальнейшей работы. Поэтому мне приходилось скрепя сердце прерывать Эмочкин эмоциональный монолог. Вот и на восьмидесятилетний юбилей Коржавина я прилететь не смогла, но попросила своего коллегу Владимира Торчилина, учёного, писателя, эссеиста прочитать моё посвящение. В нём обыграны знаменитые коржавинские строчки:

*Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незамятый год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт.*

*Она бы хотела иначе –
Носить драгоценный наряд...
Но кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят.*

Вот моё посвящение:

*Столетье уж скоро, но снова,
В почтенье склоняя главы,
О судьбах мы слушать готовы
Российской горящей избы.*

*На эту извечную тему,
Одет в нероссийский наряд,
Толкует божественный Эма.
А избы горят и горят...*



Рената Муха. Фото Сони Мельниковой-Райх©

КАК ЖАЛЬ, ЧТО В ДУБРАВЕ ЗАМОЛК СОЛОВЕЙ

ПАМЯТИ РЕНАТЫ МУХИ

Мне выпало счастье дружить с Ренатой Мухой. Мы познакомились в Юте в середине девяностых. Я стала свидетельницей её феноменального успеха как рассказчицы: на огромном, битком набитом стадионе в американском городке Прово Рената держала аудиторию минут двадцать разнообразными байками на английском языке – никто не шелохнулся, разве что иногда стадион взрывался хохотом, пугая окрестных птиц. Это произошло на следующий день после нашего знакомства, и я была там уже на правах особы, приближённой к императрице.

А состоялось наше знакомство примерно так. Телефонный звонок:

– Наташа? С вами говорит Рената Муха. У меня для вас письмо от Толи Вишневого и подарок от Серёжи Никитина. Как их вам передать?

Рената Муха. Я слышала это имя на концертах Никитина – он написал несколько песен на её слова. Самая известная из них, пожалуй, «Стихи о плохой погоде»:

*Стояла плохая погода,
На улице было сыро.
Шёл человек по городу
И ел бутерброд без сыра...*

Кончались эти стихи, конечно, тем, что несчастный «ел бутерброд без хлеба» – в начале девяностых в России это звучало как репортаж с места событий.

Итак, телефонный звонок: с вами говорит Рената Муха.

– Рената, где вы?

– Я в Прово, на фестивале чтецов, это недалеко от вас.

– Сорок пять миль. Я сейчас подъеду, объясните только, как вас найти.

– Подъезжать не надо, меня сейчас к вам привезут, у меня есть ваш адрес.

– Чудесно!

– Но тогда мне придётся у вас переночевать.

– Замечательно, нет проблем!

– Недели две.

– Нет проблем!

– Как это нет проблем?! Проблемы у вас, конечно, будут, но только с обедом и ужином: за завтраком я ем сравнительно мало.

– Справимся, летите!

Так в наш дом и в наши сердца залетела Рената Муха.

Письмо от Толи Вишневого было следующего содержания:

«Дорогая Наташа!

Подательница сего – к сожалению, не мормон, но всё же довольно приличный человек, автор знаменитых стихов о далёкой лошади, а также создательница славы Сергея Никитина с помощью написанных для него, но посвящённых мне стихов о призрачном бутерброде (не путать с королевским). Сделай ей какое-нибудь добро (не волнуйся, она скоро уедет), а она пусть расскажет тебе стихи о бутерброде.

Мы все – я, Рената Муха (в поэзии) и Ткаченко (в замужестве), а также Борис Чичибабин, бывший её поклонником – выходцы из Харькова, так что можно рассматривать её визит к вам, мормонам, как акт укрепления связей между русскоязычной Украиной и штатом Юта с целью принести в штат Юта свет английского языка, воссиявший на соответствующей кафедре Харьковского университета.

Вот всё о Ренате Мухе. Теперь о нас. Гауя накрылась, и приходится каждый год на три месяца ездить в Париж и приходиться в себя там. Тем более что дети, включая известного тебе Сашу, оттуда просто не вылезают. Никогда. Но мы с Мариной пока ещё живём в Москве и – возможно, пока – живём не так уж плохо. Время от времени там постреливают из танков. Но не более того. Что будет дальше – прочитаете в ваших газетах.

О тебе сведения до нас почти не доходят, но вот Сергей Никитин кое-что рассказал. Теперь знаем.

Рад случаю написать эту весточку. Гауянское прошлое потихоньку зарастает быльём, кое-какой Гауянский дух теплится на вечерах, которые бывают в Доме учёных или в Музее Герцена, куда Ира Желвакова исправно приглашает, но почему бы не вспомнить о нём и в записке через океан.

*Всего доброго.
Марина присоединяется.
Толя Вишневецкий
22.02.94»*

...После успеха на стадионе в Прово Муха была в Юте на расхват. С утра приезжали какие-то молодые люди – Рената утверждала, что все как на подбор голубые, что для Юты, вообще говоря, не характерно – и увозили её на очередное выступление, или мастер-класс, или урок, или всё вместе взятое. Возвращалась она вечером – как говорится, усталая, но довольная. И тут наступал наш час – иногда до рассвета. Сказать, что мы беседовали, было бы преувеличением – беседовала в основном Рената, а я слушала и наслаждалась. Кое-что из её тогдашних рассказов – свежих, сочных и ароматных – вошло потом в программу, с которой она выступала публично. Мне было очень интересно.

Рената родом из Харькова. В её молодые годы в Харькове был настоящий литературный Олимп – там жили Чичибабин, Вадим Левин, Даниэль – да кто там только не жил! В Харькове Рената и сочинила первые стихи, кажется, про ужа. «Они – рассказывала Рената – напали на неё, когда она переходила улицу, и уже не отпускали до конца жизни».

Есть у Ренаты стихи длинные, классические – «Книжжина колыбельная». Это настоящая поэтическая жемчужина. Когда она впервые мне их прочитала, я сказала, что поэту, написавшему такое стихотворение, надо застрелиться, потому что хуже писать ему нельзя, а лучше – невозможно. «А других вариантов ты не рассматриваешь? Что у меня, например, может ещё случиться стихотворение, равное мне?» – спросила Рената; стреляться она не хотела. Я ей заметила, что сочинить равное таким стихам очень трудно. Судите сами – вот строчки из «Книжкиной колыбельной»:

*Книжка за день так устала, что слипаются страницы...
И кавычки по привычке раскрываются во сне...*

*А в углу, в конце страницы, перенос повесил нос –
Он разлуку с третьим слогом очень плохо перенёс...*

*Никого теперь не встретишь на страницах сонной книги,
Только медленно плетутся полусонные интриги...*

...Но вернёмся в Юту, в тот первый Ренатин приезд. Рената рассказала мне о Вадиме Левине и своих первых опытах в детской поэзии, которые он с такой нежностью, теплотой и осторожностью возвращал, словно какую-нибудь орхидею, каждую секунду готовую увянуть. Рассказала, как она гордилась и смущалась, когда впервые на опубликованных стихах увидела две фамилии: Вадим Левин, Рената Муха. Кое-что она, конечно, уже тогда сочиняла для красного словца – к примеру, очень смешно рассказывала о первом визите к мэтру – Борису Заходеру, куда её без специального приглашения привёз Вадим Левин. В дом, говорит, её тогда не пустили дальше людской, но по прошествии некоторого времени её уже вполне принимали и даже кормили двумя тарелками супа, в то время как Левину наливали только одну (впрочем, он вторую и не просил). Рената рассказывала мне о Чичибабине (он был когда-то в неё влюблён) и о совсем молодом Даниэле – Даниэле до нашего знакомства. Словом, мне было что послушать, и я очень горевала, когда её визит подошёл к концу.

Она улетала от нас к друзьям в Бостон. Накануне отъезда я решила ей сказать: «Рената, что-то мне не нравится твой вид. В Бостоне полным-полно русских врачей. Может, тебя там посмотрит кто-нибудь за стишок-другой?..» Рената, конечно, проворчала, что до сих пор на её вид ни у кого нареканий не было, и с тем улетела. А через два дня по её просьбе мне позвонили из Бостона с сообщением, что Рената в больнице: отвезли на скорой помощи, оперировали, и мои опасения подтвердились... С этого момента для неё началась «жизнь взаимы», и она это знала, но несмотря ни на что, писала чудесные стихи, и никто бы не догадался, что это стихи приговорённого! Только в одном четверостишии прорвалась её тоска:

*Простое предложение лежало без движения,
И ждали продолжения внизу пустые строчки.
– Какое продолжение? – вздохнуло предложение, –
Вы что, не понимаете, что я дошло до точки?*

Такая невероятная была у неё сила духа. И, конечно, её поддерживали талант, друзья и муж – «папа Вадик» Ткаченко (не путать с Вадиком Левиным).

Вадима Левина – Ренатиного крёстного отца в детской поэзии – я успела полюбить ещё по её первым рассказам, поэтому встретила как старого и дорогого друга, когда мы неожиданно познакомились в Москве, в гостях у Дины Рубиной. С Диной меня, кстати, тоже познакомила Рената. Мы тогда совпали в Москве по времени: Рената прилетела из Беэр-Шевы для выступления в Еврейском Культурном Центре, я – из Юты на конференцию, а Дина жила в Москве на правах культурного атташе Сохнута и вела вечер Ренаты. После вечера заскочили втроём в небольшой ресторан. С этого началось моё знакомство с Диной, и в мой следующий приезд в Москву она позвала меня в гости. Приглашение, как назло, пришлось на день моего отлёта обратно в Штаты, и я объяснила Дине, что имеются некоторые трудности, поскольку она зовёт в гости на вечер, а я улетаю рано утром. «Ладно, тогда приходите накануне», – легкомысленно сказала Дина и немедленно об этом забыла. Вот я и явилась накануне, к полному Дининому изумлению: «Я ждала вас завтра. Сегодня у меня совсем другие гости. Ну, раз так, заходите, знакомьтесь». Гостей было трое, среди них – невысокий неброский человек средних лет. «Вадим Левин», – представила Дина. Я обрадовалась: «Вадим Левин? Вадим Левин Ренаты Мухи?» Надо было видеть, как расцвёл Вадим при имени Ренаты. Мы с ним мгновенно подружились, так что я борозды не испортила и, вопреки очевидным Дининым опасениям, вечер удался.

В моей, как, наверное, и во всякой жизни выстраивается длинная цепочка друзей и отношений, «златая цепь». Вот и здесь протянулась цепочка от Толи Вишневого и Сергея Никитина к Ренате Мухе, от неё – к Дине Рубиной и дальше к Вадиму Левину. Поскольку у меня, боюсь, не будет другого повода похвастаться, хочу привести здесь посвящение Вадима Левина на подаренной мне книге «Куда уехал цирк»:

*Король и бомж,
и ребе, и отказник,
кто на коне,
и кто к стене припёрт,-
все счастливы,
что есть на свете праздник
по имени
Наташа Рапопорт!*

Вадим, живущий ныне в Марбурге, придумал «Глупую лошадь», и они с Ренатой мистифицировали народ, выдавая её за перевод из английской народной поэзии. Не так давно «Глупую лошадь» перевели «обратно» на язык «оригинала».

Однажды я приехала на своё выступление в Марбург с мужем Володей и нашим другом Яном Кандрором – большим поклонником и знатоком поэзии Левина и Мухи. На память об этом дне Вадик прислал мне к восьмому марта такое поздравление:

*Люблю я рыжих, зримых, шумных
Американских, остроумных,
На день слетевших к нам с небес
И пьющих с Яном (или без).*

Обедали у Левиных. Посреди обеда раздался пронзительный звонок, как будто в дверь. «Разве мы кого-то ждём?», –

удивилась я. «Это курица», – подскочила Элла. Через минуту она вернулась с большим и тяжёлым подносом. Ян среагировал мгновенно:

*Вдруг, как выстрел из винтовки,
Прозвучало за столом:
Я звоню вам из духовки.
Ваша курица. Шалом!*

Это положило начало разговору об импровизации и о придуманных Ренатой жанрах «начало следует» и «недоговорки». Рената приглашала своего читателя: поиграйте со мной! – и читатель включался в игру, часто очень удачно. Помню Ренатины строчки:

*Теперь он питается разными кашами.
По-моему, так хорошо. А по-вашему?*

К этому последовало замечательное начало Ренатиного друга Марка Зеликина:

*С яслей ненавидел он манную кашу
И с этим покинул он Родину нашу.
Теперь он питается разными кашами.
По-моему, так хорошо. А по-вашему?*

В эти игры с Ренатой играл и Губерман. Она однажды участвовала в телепередаче «На троих», которую в Израиле ведут Игорь Губерман и Александр Окунь. «Третьей» в тот день была Рената. Она звонила мне на следующий день после передачи и клялась, что всё, что там происходило, было чистой импровизацией. Рассказывала она об этом так. По ходу передачи она прочитала две строчки в жанре «Начало следует» и предложила ведущим сочинить начало:

*Сидит итальянка, весёлая с виду,
Сосёт апельсин и глотаёт обиду.*

Губерман пощёлкал пальцами и секунд через пять продекламировал:

***Однажды в Вероне, в дождливую осень,
Еврей итальянку потрахал и бросил...***
*Сидит итальянка, весёлая с виду,
Сосёт апельсин и глотаёт обиду.*

Рената много говорила о природе стиха – этот вопрос её очень занимал. Рассказывала, что строчки набегают целыми блоками неизвестно откуда, как будто кто-то их диктует. И в самое неожиданное время. Ожидая исхода тяжёлой операции сына в коридоре московской больницы, она вдруг услышала откуда-то изнутри стихотворение, явившееся ей в готовом виде в один из самых трагических моментов её жизни. Стихотворение было такое:

*Английский король и законные дети
Однажды за ужином ели спагетти.
Но тут в коридоре затеялась драка:
Двенадцать потомков, рождённых вне брака,
Которые вследствие этого с детства
Боялись, что могут лишиться наследства,
Сошлись во дворце и, прорвав оборону,
Явились потребовать трон и корону...
Английский король поднялся к ним навстречу
И к ним обратился с английскою речью:
– Пожалуйста, я откажусь от короны,
Но можно сначала доесть макароны?*

Позже Рената изменила историю создания этого стихотворения, и на своих выступлениях рассказывала, что у неё были

только две последних строчки – про корону и макароны – и ей пришлось за один вечер стремительно подсочинять к ним остальные десять по настоятельной просьбе Сергея Никитина. Потом и эта версия претерпела изменения: Сергей якобы ждал двустушия или, на самый худой конец, четверостишия, и, взглянув на то, что принесла ему Рената во Дворец пионеров, разочарованно прокомментировал:

– Длинно писать каждый дурак может.

С годами стихи Ренаты становились короче, короче, ещё короче, и обернулись редким даром сказать всё в двух коротких строчках; в этом отношении она превзошла даже Губермана, которому обычно требуется четыре. К примеру:

*Потомки бывают умнее, чем предки,
Но случаи эти сравнительно редки.*

Кстати, по этому сравнительно редкому случаю Рената подарила свою книжку нашей дочери Вике, с соответствующим посвящением.

Теперь я хочу рассказать об одном дне с Ренатой в Беэр-Шеве, когда все мы встали с «той ноги». Из Харькова в Беэр-Шеву Ренату перевёз её муж «папа Вадик», математик. Рената работала в Беэр-Шевском университете, преподавала английский.

В 2001-м году я получила израильский грант на двухмесячную работу в Еврейском университете (Hebrew University) в Иерусалиме. Время было тревожное (впрочем, когда вы видели в Израиле иное?). После долгих и раскалённых препирательств по поводу моего предполагавшегося отъезда, мы с мужем в конце концов пришли к согласию: полетим вместе, чтобы он не умирал каждый день от беспокойства, оставшись в Америке. Консенсус состоялся в самом начале сентября, и мы начали готовиться к отъезду. А одиннадцатого сентября 2001 года арабские террористы осуществили в Нью-Йорке крупнейший в истории человечества террористический акт: башни Центра Мировой Торговли рухну-

ли, унеся с собой три тысячи жизней. Началась необъявленная война цивилизации с варварами. Тут уж и я сдалась, отменила наши авиабилеты и написала ожидавшим меня иерусалимским коллегам, что не приеду. И получила от них очень грустный ответ: это как раз то, чего от нас добиваются террористы – они хотят, чтобы мы жили под их давлением и по их законам. Я не хотела жить по законам террористов и позвонила в «Дельту»: верните мне билеты, мы летим. Так поздней осенью 2001-го года мы с Володей оказались в Израиле. И, конечно, в один из первых выходных дней поехали к Ренате в Беэр-Шеву.

В честь гостей Рената зажарила огромную баранью ногу, мы почувствовали её аромат метров за пятьдесят, ещё только подходя к подъезду. По-моему, он витал по всему городу. Когда мы вошли, Рената священнодействовала над ногой – это был гвоздь программы. Освоить её в тот вечер удалось разве что на треть общими усилиями. Нога шагнула в следующий день. А на завтра выяснилось, что во всём этом был серьёзный умысел, и в ноге был двойной смысл. Потому что, проснувшись утром, мы не застали дома папу Вадика, но вскоре он появился с огромным букетом цветов: этот декабрьский день оказался годовщиной их с Ренатой свадьбы! И потекли воспоминания о тех далёких днях и годах. В день официальной свадьбы, рассказывала Рената, она была уже немножко беременна Алёшей. Коллеги папы Вадика, физики и математики, устроили из их свадьбы настоящий театр: представили её как защиту диссертации. Диссертацией была, конечно, сама Рената. На диссертацию поступило несколько отзывов, все до одного положительные. В текущий момент диссертация была с приложением...

Забыв про проблемы и беды, мы провели в Беэр-Шеве чудный день, украшенный сочными Ренатиными рассказами. У меня сохранился видеоклип – память об этом визите и Ренатина книжка с надписью: «На память о дне, когда все мы встали с “той” ноги»...

Своё место в поэзии Рената сформулировала предельно точно: она писала для бывших детей и будущих взрослых, и каждый



Рената Муха. Фото из архива автора

может найти в её стихах что-то, адресованное ему лично. Меня совершенно очаровало четверостишие о глухой тетере:

*Как жаль, что в дубраве замолк соловей
И трели его не слышны средь ветвей.
– Ну, это как раз небольшая потеря, –
Заметила с ветки Глухая Тетеря.*

Или вот это:

*Преувеличивать всё глупо, –
Сказала микроскопу луна.*

Или такие знаменитые, не слишком детские строчки:

*«Ну, дела, – подумал лось. –
Не хотелось, а пришлось».*



Рената, «папа Вадик» и автор. 2007 г.



Мы с Ренатой подписываем друг другу книги. Рената была гениальна в этом жанре. К примеру, один коллега «папы Вадика» подвозил её на машине из Университета домой и оставался у них пообедать. Рената подписала ему книжку так: «Рулевому от кормчего»

Фотографии Сони Мельниковой-Райх ©

Соавторам моей жизни —

Моим детям,

Моему мужу,

Моим ^{дорогим} друзьям - Наташе и Володе,

Спросите и скажете вам каждый -
Недели летят и год,
Но дважды, а, может, однажды
Я буду вас помнить всегда

Ваша Рената
Муха.

30.1.07.

Рената позванивала мне из Беэр-Шевы поделиться новостями и попутно что-нибудь почитать – может, и не новое, но мне не знакомое. Однажды прочитала вот это:

*Мне очень печально, – сказала слеза, –
И я говорю это прямо в глаза.*

Мне очень печально жить, не слыша голоса Ренаты Мухи. Последняя книжка, которую она мне подарила, называется «Однажды, а может быть, дважды». Я отправила ей в ответ:

*Бывает, что в масть попадает кликуха.
Примером тому – гениальная Муха,
В которой играет Божественный дух,
Однако с усилием считает до двух.
Которую, как, без сомнения, каждый,
Мы любим однажды, а может быть – дважды...*



Мемориальная доска с портретом С. М. Михоэlsa (скульптор Л. Гадаев) на Малой Бронной

ВСЯ СИЛА В НИЖНЕЙ ГУБЕ...

МОИ МИХОЭЛСЫ

Году, по-моему, в 88-м или 89-м, на волне Перестройки, в Москве, в бывшем кинотеатре на Таганской площади открылся Еврейский культурный центр имени Соломона Михоэlsa, под председательством Михаила Глуза. Официальные советские власти обошли это событие молчанием, зато свои приветствия прислали госсекретарь США, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Австралии, премьер-министр Израиля, а президент Всемирного еврейского Конгресса Эдгар Бронфман приехал лично и выступил на открытии. Словом, это было событие международного масштаба и значимости. На открытие съехалась масса еврейских толстосумов со всего мира; они поочерёдно выходили

на сцену и торжественно вручали Глазу виртуальные мешки с деньгами на поддержание Центра под громкие аплодисменты гэбэшников, занимавших ползала, и стрёкот камер иностранных журналистов, заполнивших вторую половину. Я сидела тихо, как мышь, среди немногочисленной штатской публики и дивилась на заморских богатеев, трогательных в своей запоздалой любви к Соломону Михоэлсу и доверии к полноватому еврею сомнительного вида, выступавшему его эмиссаром.

На следующий день после открытия Центра была объявлена лекция о Михоэлсе его дочери, Натальи Соломоновны Вовси-Михоэлс (Талы). Я Михоэлса помнила. Девчонкой лет семи я сидела с ним за одним столом на дне рождения его двоюродного брата, Мирона Семёновича Вовси, выдающегося врача, главного терапевта Советской Армии. Через семь лет именно его выберет Сталин на роль главного «врача-убийцы» в «деле врачей». Михоэлс вёл стол. Он мне страшно понравился. В нём было такое обаяние, что даже меня, семилетнюю, проняло. Не умея выразить это иначе, я сказала родителям: «Какой красивый дядя». На самом-то деле, если говорить о чертах лица, Михоэлс был очень некрасив, с этой его фирменной, сильно выдающейся вперёд нижней губой. Он любил повторять, что с удовольствием сдал бы своё лицо в ломбард и потерял квитанцию. С другой стороны, шутил, что в нижней губе у него вся сила, как у Самсона в волосах. Мой папа был очень доволен моей реакцией: «У девочки хороший вкус, она не пропадёт». Я, к сожалению, не сразу оправдала папины ожидания.

...На лекцию Натальи Соломоновны я приехала минут за пятнадцать до начала. В небольшом зале собралось человек пятьдесят пожилых интеллигентных евреев. У стола, выполнявшего роль сцены, стояла растерянная Наталья Соломоновна. Ни слайд-проектора, ни бутылочки воды, ни какого-нибудь, пусть самого завалящего, члена администрации новорожденного Еврейского центра в зале не было. Я пошла по комнатам и закоулкам в поисках официального лица или хотя бы слайд-проектора. К счастью,

НАТАЛИЯ ВОВСИ-МИХОЭЛС
МОЙ ОТЕЦ СОЛОМОН МИХОЭЛС



Родной Наталье
Раимонку в
наше о нашей
"мой" твоя
с любовью
Т.А.

28/IV-93
Т.А.

слайд-проектор найти удалось, но единственным официальным лицом в целом здании оказался сторож. Вероятно, администрация гуляла в ресторанах со вчерашними толстосумами или считала полученные деньги... Ни жизнь Соломона Михоэлса, именем которого был назван Центр, ни его приехавшая из Израиля дочь никого из них не интересовали.

Я вернулась в зал, мы с Натальей Соломоновной заправили слайды в проектор и прождали ещё с полчаса, не материализуется ли вдруг кто-нибудь из администрации, чтобы представить её публике. Никто не появился, и в конце концов, сгорая от стыда за этих циничных дельцов и хамов, я взяла на себя эту роль. С этого началась наша дружба.

...Если вдруг какому-нибудь сценаристу придёт в голову написать трагедию двадцатого века, этому Еврипиду или Софоклу не придётся далеко ходить. Ниже я предлагаю скелет такого сценария.

Пролог. Тринадцатое января тысяча девятьсот сорок восьмого года. Зверское убийство Соломона Михоэлса по личному

указанию Сталина, Лучшего Друга Гениальных Артистов и Вождя Всех Народов. Михоэлс был чрезвычайно популярен как артист и как общественный деятель, особенно среди советского еврейства. Сталину не нужны были чрезвычайно популярные артисты, общественные деятели и советское еврейство. Истребление последнего он начнёт с убийства Михоэлса, закамуфлировав его под несчастный случай. Светлана Аллилуева (дочь Сталина) пишет: «В одну из тогда уже редких встреч с отцом у него на даче я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала. Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом как резюме он сказал: "Ну, автомобильная катастрофа". Я отлично помню эту интонацию – это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это – автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной и через некоторое время сказал: "В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс..." "Автомобильная катастрофа" была официальной версией, предложенной моим отцом, когда ему доложили об исполнении».

Акт первый. Михоэлсу организовали пышные похороны, но нож гильотины был уже занесён для следующего удара. Убийство Михоэлса обезглавило советское еврейство; это был выстрел стартового пистолета, сигнал к началу безудержной антисемитской кампании. На цвет еврейской интеллигенции набросилась свора брызжущих ядовитой слюной бешеных псов. Один за другим исчезали в подвалах Лубянки члены Еврейского антифашистского комитета. Их расстреляют двенадцатого августа тысяча девятьсот пятьдесят второго года, и асфальтовый каток истории покатит дальше, к «делу врачей».

Акт второй. День в день пять лет спустя после убийства Михоэлса, 13 января 1953 года, центральные газеты ошеломят страну известием о разоблачении преступной шайки «врачей-вредителей», «убийц в белых халатах», «извергов рода человеческого», убивавших своих пациентов по указанию иностранных разведок. Главой преступной шайки Сталин назначит двоюродного брата Соломона Михоэлса, Мирона Семёновича Вовси (кстати, кто

писал, что если арестуют Талу и Нину Михоэлсов, они с женой хотят взять к себе Виктошу, дочку Талы и Метека, чтобы девочка не попала в детский дом. Вайнберга это письмо вряд ли спасло бы, а вот с самим Шостаковичем легко могла произойти «автомобильная катастрофа». Но, вопреки законам жанра, у нашей трагедии оказался неожиданный счастливый финал.

Неожиданный Счастливый Финал. Пятого марта 1953 года Люцифер забрал, наконец, Вождя Народов в преисподнюю, и колесо истории резко поменяло направление. Признаков стремительной перемены курса было множество. Шестого или седьмого марта (Сталина ещё не похоронили в двуспальном Мавзолее!) у нас с мамой раздался давно замолкший телефонный звонок: нам звонили из МГБ сообщить, что мой папа жив и можно снова приносить ему передачи. Дней через десять исчезли топтуны из подъезда Михоэлсов. В ночь на четвёртое апреля освободили врачей и в газетах появилось сообщение об их полной реабилитации и восстановлении честного имени оклеветанного артиста Соломона Михоэлса. Вскоре освободили и Метека.

Вот какую трагедию со счастливым концом мог бы написать современный Софокл или Еврипид. Но не написал и теперь, наверное, уже не напишет: время ушло.

С первой волной эмиграции Михоэлсы – Нина и Тала с Виктошей – улетели в Израиль. Метек остался: у него к этому времени возникла новая семья. Он умер в Москве в 1998 году. Михоэлсы уезжали из СССР в годы, когда Советский Союз торговал своими евреями. Каждый уезжавший должен был заплатить государству кругленькую сумму за полученное образование. Денег у Михоэлсов не было. К ним потоком шли друзья прощаться, а после их ухода сёстры находили в коридоре анонимные конверты с деньгами. Но даже в тех обстоятельствах нашёлся человек, который их обобрал – предприниматель Михаил Аркадьевич Бершадер, или Мишель. Жил он в Бельгии, а предпринимал в России. Диапазон его активности был необычайно широк. К примеру, он установил в международном аэропорту

Шереметьево игорные автоматы задолго до их победного шествия по российским просторам; в аэропорту они просуществовали почему-то недолго. Кроме того, Мишель любил и понимал изобразительное искусство и сосредоточил своё внимание на вдовах великих художников. Он обеспечивал вдове комфортабельную жизнь и достойный уход, за что получал в наследство бесценные картины из домашней коллекции художника (по существу, грабил наследников). Не побрезговал он и Михоэлсами: одолжил им недостающую для отъезда сумму (естественно, в рублях), но не успели они обосноваться в Израиле, как он попросил вернуть долг в валюте по жестокому курсу, оставив их без единой копейки на самой заре новой жизни.

Теперь я должна перешагнуть через полстолетия и немного отвлечься. В 2001-м году я выиграла израильский грант на двухмесячную работу в Еврейском университете (Hebrew University). В начале ноября 2001 года мы прилетели в Иерусалим. Сняли комнату в небольшом одноэтажном доме на площади Алленби, позади главной автобусной станции.

Мой первый день в Университете принёс несколько сюрпризов: я оказалась совершенно неподготовленной к новым рабочим условиям. Моя лаборатория была в корпусе фармацевтического факультета, а кабинет – в корпусе медицинской школы.

Корпуса соединял подземный туннель. Ознакомившись с лабораторией, я отправилась по туннелю посмотреть свой будущий кабинет и неожиданно наткнулась на перегораживавшую туннель стену. В стену был вмонтирован настоящий светофор, светивший в данный момент красным, и была дверь, на тот момент закрытая. Я очень удивилась и попробовала подёргать дверь. Кто-то ухватил меня сзади за фалды халата и указал на светофор. Свет его как раз сменился на зелёный, раздался щелчок, и человек, стоявший позади меня, открыл дверь, впустив меня внутрь. Мы оказались в небольшом бункере. Перед моим носом была следующая стена с такой же дверью и таким же светофором, опять красным. Дверь позади нас закрылась со щелчком, и свет переднего светофора

мгновенно сменился на зелёный. Мой спутник открыл переднюю дверь, и мы вышли в туннель по другую сторону бункера. Я ничего не поняла. Совершенно обескураженная, добралась до своего кабинета и расспросила коллег, что всё это значило. Мне объяснили, что многие группы религиозных евреев не должны находиться в помещении, где есть трупы, и дышать с ними одним воздухом. В корпусе медицинской школы, естественно, имеются патологоанатомическое отделение и прозектура, где проводятся вскрытия, и эти религиозные евреи в медицинской школе никогда не учатся, а на фармацевтическом факультете они учиться могут. Так вот, чтобы воздух из медицинской школы, где есть трупы, не проникал в фармацевтический корпус, между фармацевтическим и медицинским корпусами установлен воздушный замок (air lock) в виде бункера. Двери его ни при каких обстоятельствах не открываются одновременно. Этот замок я и проходила. «Какие, однако, времена, – подумала я про себя, – раньше евреи строили воздушные замки, теперь строят воздушные замки»... Вернувшись домой, я расспросила соседей по квартире, но никто из них, как и я, о воздушных замках не слышал.

Дом наш представлял собою густонаселённую коммунальную квартиру с той разницей, что в каждой комнате был отдельный туалет с душем. Комнаты были расположены по периметру центрального холла, в конце которого стоял мощный деревянный стол с лавкой; кухня была общая. Наши соседи по квартире прилетели в Израиль со всех концов земли. Кто-то учил иврит, кто-то еврейскую историю и иудаизм, кто-то был, как я, в командировке.

Жили мы весело и дружно. По традиции в пятницу вечером все собирались на шаббатный обед, вкусно ели и даже танцевали. Эту прекрасную традицию вскоре начали нарушать мы с Володей, уезжая на шаббат к Михоэлсам в Тель-Авив. Мы оставались у них до субботней звезды, когда снова начинал ходить транспорт. Ночевали у Нины в обществе двух котов невысказанной красоты, а утром шли к Тале, жившей неподалёку с Виктошей

ся?». Нюра ответила с некоторым даже вызовом: «Да, Дмитрий Дмитриевич, тороплюсь!». Шостакович: «И кто же он?». Нюра: «Ой, Дмитрий Дмитриевич, он очень хороший человек! Он вообще-то военный, но ходит в штатском». Шостакович поперхнулся супом и вручил ей тарелку: «Иди Нюра, иди!».

Метек дружил с Ростроповичем. Однажды Тала с Метеком возвращались откуда-то домой и видят: в дверную ручку засунут мужской носок. Метек понюхал носок и сообщил: «Славка приходил!». Другой раз они с Талой шли по улице Горького, и Метек решил почистить ботинки. На Московских улицах тогда стояли такие «троны», перед ними на маленьких лавочках сидели чистильщики-айсоры. Метек сел на трон, и айсор приступил к делу. Мимо как раз проходил Ростропович. Он бросился к чистильщику и дал ему рубль, чтобы тот разрешил ему почистить ботинки Вайнбергу.

...Как-то мы с Талой и Ниной поехали обедать в Яффу. Был чудный ясный тёплый день, мы сидели на открытой террасе и болтали. Вдруг я увидела, как Тала с Ниной напряглись. Что-то, видимо, происходило у меня за спиной. Я посмотрела на них вопросительно. «Двоюродные братья пришли», – объяснила Нина. – Давай лучше расплатимся и уйдём»...

Происходило это в период временного затишья – уже месяца три как в Израиле не было взрывов. «Не думать об этом нельзя, – говорила Нина. – Едешь в автобусе и не знаешь, будешь ли жив через минуту». Кратковременная идиллия действительно вскоре кончилась, и теперь я расскажу о том, как Тала спасла жизнь мне, Володе и ещё примерно тридцати пассажирам междугороднего автобуса Тель-Авив – Иерусалим.

В крупных городах Израиля – Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе – есть несколько междугородних автобусных станций. Главная станция города (на иврите «тахана мерказит») – обычно крытая.

Недалеко от Михоэлсов – на расстоянии пешего хода – находится небольшая открытая автобусная станция, если не оши-

баюсь, «тахана ракевет». Ею мы всегда и пользовались, что было очень удобно: автобусы приходили в Иерусалим на главную, крытую автобусную станцию, в пяти минутах от нашего жилья. Иерусалимская главная автобусная станция – сердце Израиля, откуда во все концы отходят кровеносные сосуды дорог; её повреждение может серьёзно парализовать жизнь в стране. Вот я написала «кровеносные сосуды» дорог и вздрогнула: в условиях Израиля удачная метафора часто превращается в кровавую реальность.

В тот вечер (это был конец ноября или самое начало декабря 2001-го, напому, года), мы с Володей подошли к остановке, поцеловав, что называется, хвост автобуса, отошедшего на наших глазах. Не катастрофа: автобусы в Иерусалим ходят каждые пятнадцать минут. Мы оказались на остановке первыми и пока единственными. Тут подошёл этот парень лет двадцати, с красным рюкзаком за плечами. Не могу объяснить, почему он сразу так меня насторожил, ещё до всего того, что последовало позднее. Если на них нет куфии, я не отличаю наших «двоюродных братьев» от евреев, но от этого парня веяло угрозой. У меня внутри всё напряглось. Я бы сказала, что у него было Лицо Зла, если бы это не звучало так пафосно. Он скинул рюкзак, бросил его на лавочку под навесом и куда-то смылся. Уже это одно было необычно: в Израиле свои вещи никто без присмотра не оставляет. Даже о забытой невинной дамской сумочке немедленно куда-то сообщают, приезжают специальные бригады и сумочку «расстреливают» в специальном бункере. А этот оставил свой рюкзак. На всякий случай я отвела Володю подальше от скамейки. Парень, однако, вернулся с зажженной сигаретой в зубах: видимо, бегал «стрелять» курево. Рюкзак он надевать не стал – тот оставался лежать на скамейке. Начал подходить народ с сумками и рюкзаками, образовалась довольно большая очередь. Володя её возглавлял, а я стояла в стороне и глаз не спускала с этого парня, мне было не по себе. Он тоже не стоял в очереди, а ходил вдоль неё, вглядываясь в лица каким-то странным при-

стальным взглядом, как будто мысленно фотографировал. От этого взгляда у меня шёл мороз по коже.

Подожёл автобус с круглолицым эфиопом за рулём. Парень подошёл ко входу и что-то сказал водителю, видимо, на иврите, потому что тот понял, кивнул и открыл багажное отделение, куда народ стал кидать свои рюкзаки и сумки. Володя тем временем вошёл в автобус, купил билеты (четырнадцать шекелей!) и занял два передних места. Я в автобус не входила: я следила за парнем. Он тоже не спешил входить в автобус. Он дождался, пока в багажном отделении набралось довольно много разного скарба, подошёл к скамейке, открыл свой красный рюкзак, вынул из него какой-то предмет, размером с аккумулятор, но кубической формы и, видимо, довольно тяжёлый. Он сунул этот предмет в багажное отделение между сумок и рюкзаков, накинул на плечо рюкзак и сначала быстрым шагом, потом бегом удалился. Я была в ужасе. Позже меня учили, что в таких случаях надо сразу кричать «Бомба, бомба». Но, как говорится, «мы не местные». Не могла я орать «бомба, бомба», поскольку не знала точно, бомба ли это. Я побежала ко входу в автобус и попыталась – довольно возбуждённо и нечленораздельно – объяснить водителю по-английски, что кто-то положил что-то в багажный отсек и убежал. Водитель даже не посмотрел в мою сторону, а в автобусе меня, видимо, не слышали. Я крикнула Володе: «Выходи», но он в ответ только буркнул сердито: «Давай садись, автобус сейчас отойдёт!» – и не двинулся с места. К счастью, на остановке была телефонная будка, и в кармане нашёлся подходящий шекель. Я набрала Талу: «Только что парень положил что-то в багажное отделение и убежал». Я не успела закончить фразу: Тала закричала скороговоркой: «Вы не едете этим автобусом, я звоню в полицию». Я была ещё в телефонной будке, когда автобус с Володей тронулся. Он, наконец, сообразил выскочить. Автобус ушёл. Я снова позвонила Тале. «Я сообщила, куда надо, – сказала Тала, – можете ехать следующим автобусом».

Мы поехали следующим автобусом, но не прошло и десяти минут, как наш автобус остановился. Всё движение на магистра-



С Талой и Ниной у Талы

ли Тель-Авив – Иерусалим было перекрыто. Где-то в дальней дали мелькали огни множества полицейских машин – это, видимо, по Талиной наводке обыскивали автобус, на котором мы не поехали. Мы простояли минут сорок пять. Не буду подробно транслировать, чего я наслушалась от Володи за эти сорок пять минут. В сухом остатке, опуская табуированную лексику: что своей паранойей я парализовала движение на главной магистрали страны; что он не подозревал, до какой степени я не в себе, и я должна взять себя в руки; что он с самого начала говорил: в Израиль ехать не следует; и так далее, не говоря уже о потерянных четырнадцати шекелях. Наконец мы двинулись, но в главную иерусалимскую автобусную станцию наш автобус уже не пропустили: нас высадили примерно в полукилометре от неё. Мы отправились домой, и тут мимо нас со страшным воем понеслись машины скорой помощи: одна за другой, одна за другой, многие десятки машин. Было ясно: случилось что-то страшное. Мы вошли в квартиру и включили телевизор. Русская программа молчала; на экране светилась карта Иерусалима, и на ней, в центре, в



Тала Вовси-Михоэлс



Нина Михоэлс

трёх разных точках полыхали три взрыва. Они, как оказалось, произошли почти одновременно. По плану, видимо, их должно было быть четыре. Автобус, на котором мы не поехали, въехал бы в автобусную станцию – и взорвался бы вместе с ней: по расписанию его прибытие совпадало с остальными взрывами. А на следующее утро взорвался автобус со студентами, ехавшими в Технион, и опять было много погибших...

Так началась новая волна интифады. Это было страшно. Моя дорога в Университет на автобусе занимала около сорока минут, и всё это время каждая клеточка была в напряжении. На остановках я внимательно вглядывалась во входящих пассажиров и дважды почти на ходу выскакивала из автобуса. В лаборатории каждый сотрудник, войдя и ещё не надев халат, первым делом звонил близким сообщить, что доехал благополучно, и узнать, добрался ли ребёнок до детского сада или школы, а муж или жена до работы... Я этого не выдержала и дезертировала. Из причитавшихся мне двух месяцев я проработала в Иеруса-

.....
Вся сила в нижней губе... Мои Михаэлысы
.....

лиме чуть больше одного, улетела на Новый год и не вернулась...
У меня-то было куда улететь. У тех, кто там остался – не было,
и мне стыдно смотреть им в глаза. Науку я за прошедший месяц
тоже никуда не двинула. Но утешаю себя тем, что моя поездка
в Израиль оправдана моим вниманием к парню с красным рюкзаком,
и у тех тридцати пассажиров, которых спасли мы с Талой,
сейчас, возможно, подрастают новые дети.



ТУТ ЖИЛ МАСТАК МАРК ШАГАЛ

Согласно семейной легенде, у моей мамы было два рисунка Марка Шагала. Они погибли вместе со всем остальным, когда в одну из первых бомбёжек Москвы в наш дом в Староконюшенном переулке прямым попаданием угодила немецкая бомба и разнесла его в щепы. Об этом лучше не думать. Мне тогда едва исполнилось три года, я ничего не помню и знаю только по рассказам...

Мама моя родилась в местечке Ружаны, километров в пятистах от Витебска, в ста сорока – от Бреста. Теперь это Белоруссия. Мама никогда не вспоминала и не рассказывала мне о Ружанах, мне это местечко представлялось чем-то вроде шолом-алейхемской Анатевки, и только совсем недавно, заинтересовавшись своими корнями, я обнаружила, что когда-то Ружаны были цен-

тром еврейской учёности, в городе существовала известная в округе ешива, жили знаменитые раввины.

Ружанские евреи занимались ремёслами, жили зажиточно и были боевые люди: организовав самооборону, не допустили у себя погромов 1905 года. Правда, позже, во время Первой мировой войны, их грабила и громила отступающая русская армия, а вслед за ней – занявшие эту территорию поляки. Но мама моя в это время была уже в Витебске.

Ружаны знамениты страшной историей, описанной в еврейской энциклопедии Брокгауза и Эфрона, позже повторённой в книге Адамовой-Слиозберг «Путь. Происхождение одной фамилии». Не могу не поделиться с вами отрывком из этой книги.

«Мой свёкор Рувим Евсеевич Закгейм был молчаливый еврей, погружённый в священные книги. Иногда он шумно спорил по-древнееврейски с какими-то стариками. Спор касался различных толкований Талмуда и горячо волновал вот уже несколько тысяч лет талмудистов, живущих в своём особом мире, очень далёком от вопросов повседневности...

...Он великолепно отвергал христианство. О нём не было написано в его священных книгах, оно было слишком современно для него.

В 1930 году свёкор торжественно вошел в мою комнату, где я сидела у постельки новорожденного сына.

– Мне надо поговорить с тобой. Будешь ли ты обрезать ребёнка?

Я знала, что дед молил бога, чтобы у меня родилась девочка, потому что понимал, что мальчик останется необрезанным, а это для него была трагедия. Мне было трудно отказать старику, и я решила спрятаться за спину мужа.

– Нет, Рувим Евсеевич, если бы даже я согласилась, ваш сын никогда не разрешит мне это сделать.

– Если ты согласишься, мы сделаем это без его разрешения.

Дед подбивал меня на преступление. Бедный! Сколько же он перестрадал, если решил восстать против обожаемого сына!

– Знаешь ли ты происхождение нашей фамилии?

Дед вытащил из кармана старинный кожаный футляр, украшенный могоендовидом и надписью на еврейском языке. В футляре лежал свиток пергамента. Он торжественно прочёл мне непонятный текст на древнееврейском языке и перевел.

Содержание рукописи было следующим.

В семнадцатом веке в местечке Ружаны перед пасхой нашли труп христианского младенца. Ружанскую еврейскую общину обвинили в ритуальном убийстве.

Влиятельный князь, которому принадлежало это местечко, заявил, что он сотрёт с лица земли всю общину, если в трехдневный срок не выдадут убийц.

Трое суток день и ночь вся община молилась в синагоге о спасении, а на утро четвёртого дня два старика пошли к князю и признались в убийстве.

Стариков повесили на воротах замка.

Община составила две грамоты и выдала их семьям убитых. Одна из этих грамот была в руках у моего свёкра. В ней удостоверялось, что старик (имярек) не является убийцей, что он отдал свою жизнь для спасения общины, что в синагоге в Ружанах о душе его будут молиться вечно, а семья его получит фамилию Закгейм, что означает "зерех кейдеш гейм" – семя его священо. Род его должен продолжаться во веки веков, и если не будет наследника мальчика, то дочь, выйдя замуж, передаст эту фамилию своему мужу.

Дед прочёл мне грамоту и вопросительно посмотрел на меня.

– Если он будет не обрезан, я не смогу отдать ему этой грамоты, а он является наследником рода.

Мне очень хотелось получить этот свиток, и очень жаль было старика, который сильно надеялся, что теперь уж я не устою.

Но я устояла. Оскорблённый, он вышел из комнаты и унёс своё сокровище.

Деда давно нет в живых. Во время войны пропал свиток. Последнему Закгейму, сыну моего сына, скоро исполнится год.

Он учится ходить. Он ещё не умеет держать равновесие и качается на своих пухлых ножках. Я смотрю на него и думаю: сколько бурь пронеслось над человечеством с семнадцатого века, когда "на веки вечные" выдана была грамота семье Закгейм...

Один Закгейм, председатель Ярославского горисполкома, в 1918 году был растерзан во время белогвардейского мятежа. Четверо убиты на войне. Несколько человек погибли в печах Освенцима.

Мой муж расстрелян в подвале Лубянки в 1936 году».

Так трагическая линия семьи Закгеймов протянулась из семнадцатого века в двадцатый.

Ружаны присоединили к Советскому Союзу в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа. Ремёсла тотчас отменили, граждан разорили, жители начали голодать. Дед мой был всё ещё в Ружанах, потому что папа отправлял туда посылки с крупой. Продуктовые посылки отправлять почему-то запрещалось, но папа нашёл выход: он был редактором Большой медицинской энциклопедии, тома которой – фолианты огромного формата – вставляли в гнёзда из прочного картона, с соответствующей надписью и штампом. Папа вынимал энциклопедию и до отказа набивал пустые картонные гнёзда рисом и гречкой: Медицинскую энциклопедию посылать не запрещали.

Во время войны след деда пропал. Ружанские евреи, не умершие с голоду при советской власти, были вывезены немцами в Треблинку и погибли в Холокосте.

...В интернете я обнаружила список известных уроженцев Ружан, среди них американский историк и журналист Мелех Эпстейн, публиковавшийся на идише (и там же, представьте, Ицхак Шамир, будущий премьер-министр Израиля). Год рождения Мелеха Эпстейна 1889-й, за одиннадцать лет до моей мамы. Мелькнула мысль: а вдруг это мамин старший брат, чудом уцелевший в Холокосте – мой дядя, оставшийся в Ружанах со своим отцом?! Проверить эту версию я пока не смогла, и живу с этой утешительной надеждой.

Ничего этого о Ружанах я не знала, да и мама, может быть, не знала тоже. Во всяком случае, она никогда ничего мне не рассказывала о своём раннем детстве, а мне не приходило в голову её расспросить. Знаю только, что дед мой Янкель Эпштейн был инженером по пивному делу, его называли «учёный пивовар». Образование он получил в Европе, кажется, в Бельгии. У него с моей бабушкой Ноэми (в девичестве Яхниной), было пятеро детей. Бабушка умерла очень рано. Дед оставил себе старшего сына, а остальных детей, включая мою маму, забрала к себе в Витебск бабушкина сестра тётя Соня Яхнина, популярная в Витебске акушерка.

Семьи Шагалов и Яхниных жили неподалёку друг от друга и разнообразно пересекались. Муж тёти Сони дядя Кизя Вайнкоп владел в Витебске аптекой («аптека Вайнкопа»), она есть на одной из картин Шагала. Тётя Соня как акушерка, вероятно, принимала братьев и сестёр Марка Шагала, а может быть, и самого: он родился в Витебске в 1887 году, она в те годы практиковала. Если упомянутые выше рисунки – не легенда, то скорей всего Шагал подарил их не маме, а тёте Соне, «семейной акушерке». Помимо этого, Шагал пишет в своей автобиографии с оправданным неудовольствием, что его отец ворочал бочки с солёной селедкой в лавке Яхнина – какого-то моего родственника по маминой линии.

Тётя Соня и дядя Кизя дали приёмным детям прекрасное образование: все они учились в медицинских институтах Москвы и Петербурга. Там и осели. Мама ни в Ружаны, ни в Витебск никогда не возвращалась и ничего мне о них не рассказывала. Ни имя Шагала, ни имя Беллы – жены Шагала, она была старше мамы на пять лет – в доме не упоминались. Шагал был эмигрант и еврей, в те страшные годы в Советском Союзе – персона нон грата. Мои родители оберегали меня от еврейской темы и даже в ГОСЕТ (еврейский театр) с собой не брали, за что я на них в обиде. Сами-то они в ГОСЕТе бывали довольно часто: папа был близко знаком с Соломоном Михоэлсом.

Кроме маминых братьев и сестры, я никогда не встречала людей из маминого детства. Мама умерла в 1971 году, с ней



Марк Шагал. «Аптека»

Ружаны ушли в прошлое. Остались только два альбома с фотографиями её ружанских и витебских лет. Один – из красного бархата, с потерянной теперь изящной металлической виньеткой, другой – чёрный лаковый. В альбомах – замечательные старые сепии на толстом картоне. Я не знаю почти никого из запечатлённых там лиц – только моих тётю и дядей. Но на многих фотографиях стоят фамилия и адрес фотографа и год снимка. Тут и начинаются две истории, которые я хочу рассказать.

Первая история, совершенно меня ошеломившая, произошла в Штатах в 1991 году. Примерно за год до этого я прилетела в Солт-Лейк-Сити по приглашению Университета штата Юта. Улетала из Москвы, как тогда думалось, на три месяца, а прилетела в Штаты, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. Университет пригласил меня занять именную кафедру, так называемую «кафедру Клайда» – по уставу колледжа, на эту кафедру приглашают иностранного учёного или инженера на

один семестр раз в два года. Это – очень престижная позиция, и профессор, занимающий кафедру Клайда, всегда привлекает внимание средств массовой информации. В моём случае это было возведено в высшую степень, потому что я была первой «русской» и первой женщиной на этом Олимпе. Я была буквально нарасхват и выступала в разных аудиториях, обществах и клубах, включая воскресную службу в мормонской церкви. Постепенно дело дошло и до синагоги, в ту пору единственной в штате: я была приглашена на субботний завтрак. Народ в синагоге, конечно, больше всего интересовался положением евреев в Советском Союзе (заметьте, это был ещё Советский Союз). Моё пребывание на кафедре Клайда разрушало стереотип, согласно которому советским евреям не было доступа к образованию, и меня забрасывали вопросами. Я отвечала, как умела.

После моего выступления ко мне подошла маленькая рыжеватая женщина, довольно пожилая, если не сказать сильнее. Представилась: Соня Коне (ударение на «о»). Ниже приведен наш диалог в буквальном переводе.

– Вас ведь тоже зовут Соня? – спросила меня Соня Коне.

– Нет, меня зовут Наташа.

– О, конечно – моя ошибка, – это не вас, а вашу маму зовут Соня, правда? –

Я уставилась на неё в изумлении.

– Да, мама была Соня.

– Она жива?

– Нет, умерла в семьдесят первом году.

– Как фамилия вашей мамы?

– Рапопорт.

– Нет, девичья фамилия. Её фамилия Эпштейн, правда?

Я начала потихоньку сходить с ума. Что это за Вольф Мессинг объявился в синагоге города Солт-Лейк-Сити?!

– Да, мамина девичья фамилия Эпштейн.

Соня ударила себя в грудь:

– Я – Эпштейн. Откуда ваша мама родом?

– Из местечка Ружаны.

Соня опять ударила себя в грудь:

– Я из Рузьяны. Меня увезли в Америку, когда мне было ... (тут я, к сожалению, не поняла, а переспросить постеснялась: ей было то ли девять, то ли девятнадцать лет, а то, может, её увезли в девятом или в девятнадцатом году. Я была тогда в Штатах всего несколько месяцев, язык давался с трудом, и я очень комплексовала, когда не понимала. До сих пор рву на себе волосы, что не переспросила).

Я так опешила, что даже мурашки пошли по спине. Нежданно-негаданно, почти через сто лет, получить вдруг привет из маминого детства! И где?! Не в России, не в Белоруссии или, скажем, Польше, а в Америке, на Диком Западе, по меткому выражению нашей дочери Виктории – в «жопе мира»!

– Почему вы ко мне подошли? Как вы догадались про мою маму?!

– Как только я вас увидела, я поняла, что мы родственники. Я помню вашу маму, вы очень похожи.

Это был полный сюр. Даже если Соне Коне в момент отъезда было девятнадцать, а не девять, или год был девятнадцатый, то сейчас-то год девяностый! К тому же моя мама в гимназические годы жила не в Ружанах, а в Витебске – правда, судя по фотографиям в альбоме, возвращалась на лето в Ружаны. Но в девятнадцатом году – ей тогда было девятнадцать – она уехала в Москву и больше никогда в Ружаны не приезжала. Значит, Соня помнила её в возрасте, самое большее, девятнадцати лет, а мне сейчас был пятьдесят один год... И вот, представьте, она узнала во мне маму! Я была совершенно потрясена.

– Нет ли у вас маминых альбомов с фотографиями? – спросила Соня.

– Есть, но они в Москве.

– Вы не могли бы кого-нибудь попросить их прислать?

– Нет, их не пропустит таможня, но я сама надеюсь съездить в Москву. Я их привезу.

– Я буду вам очень благодарна. У меня есть свой альбом, но я почти никого там не знаю. Мы сравним наши альбомы, и, может быть, вы мне поможете определить, кто эти люди.

– Боюсь, я вас разочарую. Я в своих альбомах тоже почти никого не знаю: я никогда у мамы не спрашивала. Но я их привезу.

Соня Коне, как мне объяснили американские друзья, была женой крупного солт-лейкского адвоката, владельца большой адвокатской конторы. Я – полная идиотка – не продолжила с ней знакомства. Занятая борьбой за выживание в новой стране, я работала день и ночь, писала гранты, и не откликнулась на единственное Сонино приглашение на обед. Больше приглашений не последовало, и на четыре года контакт прервался.

В 1994 году в отеле «Красный Лев» в Солт-Лейк-Сити проходил конгресс американской женской сионистской организации «Хадасса» (Hadassa – the Women's Zionist Organization of America). Ума не приложу, почему меня попросили вести эту конференцию, и почему я, со своим инвалидным английским и весьма отдалённой связью с израильской культурой, согласилась. Действо это было очень значительное, широко разрекламированное, со списком действующих лиц, объявленным в средствах массовой информации. За несколько дней до открытия конгресса мне позвонила Соня Коне.

– Я увидела, что вы председательствуете на съезде «Хадассы». Я там буду. Вы привезли мамины альбомы?

– Да.

– Прошу вас, придите минут за сорок до начала, я хочу посмотреть ваши альбомы. Я принесу свой.

Я согласилась, и это была большая ошибка. Потому что встреча с Соней перед открытием конгресса совершенно выбила меня из колеи. Начать с того, что мой красный бархатный альбом оказался двойником Сониного альбома. Во всяком случае, по внешнему виду. Тот же красный бархатный переплёт, та же металлическая эмблема на бархатной обложке. Похожие снимки, сделанные в одной и той же фотографии (возможно, единствен-

ной в Ружанах в те годы). Некоторые персонажи на фотографиях совпадали, другие – нет. Но ни она, ни я никого из них не знали. Мы рассматривали и сличали фотографии, и я чуть не опоздала в зал, меня уже выкликали. Заседание я вела, как в тумане, и всё остальное, происходившее в тот день, покрыто для меня мглой.

Соня Коне была скорей всего маминой двоюродной сестрой по отцу, моей троюродной тётёй. Сонин альбом-двойник потряс меня не меньше, чем сам невысказанный и невероятный факт встречи с ней в Солт-Лейк-Сити. Любая крупница памяти и прикосновение к маминой жизни, пусть мизерное и эфемерное, для меня драгоценны. И то, что спустя почти сто лет Соня узнала меня через маму – или маму через меня – поверьте, дорогого стоит!

Моя вторая история не такая драматичная, и не берусь сказать, чего в ней больше, смешного или грустного. Живя в Советском Союзе, я так и не добралась до Витебска, хотя всегда об этом мечтала. Но в 2009 году, после двух десятков лет в Штатах, я вдруг получила приглашение сделать научный доклад на 75-летнем юбилее Витебского медицинского института! Это было радостно и лестно. Забрехала возможность взглянуть на город маминого детства.

План моего путешествия был таков. Я прилетала в Москву, в Шереметьеве меня подбирал директор Института экспериментальной онкологии Российского онкоцентра и вёз в Витебск на своей машине. Дело было летом, в Солт-Лейк-Сити в день отлёта было около сорока градусов, и я прилетела налегке, в полупрозрачной китайской маечке с надписью «Дольче и Габана» и вьетнамских шлёпанцах; одежда моя была в чемодане, я рассчитывала по прилёте переодеться в цивильное платье в шереметьевском туалете. Вы уже догадались: мой чемодан не прилетел. Безнадёжное ожидание чемодана задержало нас в Шереметьево почти на сутки. Нас держали там на жёсткой сцепке и кормили тоннами вранья. Директор Института экспериментальной онкологии трогательно сопровождал меня в походах по разным инстанциям и угощал в шереметьевском буфете. В конце кон-

цов стало ясно, что мы опаздываем на открытие конференции. Времени купить мне какой-нибудь приличный «прикид» уже не было. Мы плюнули на чемодан и понеслись в Витебск. Летели со скоростью небольшого самолёта. В результате я явилась медицинскому миру Белоруссии и сопредельных стран, прибывших на торжества, в полупрозрачной маечке и шлёпанцах... Торжественное заседание уже началось. Когда я в таком виде выползла на трибуну, аудитория, в отличие от меня, пришла в очень хорошее настроение. К счастью, слайды доклада и мамыны альбомы были при мне в сумке с документами.

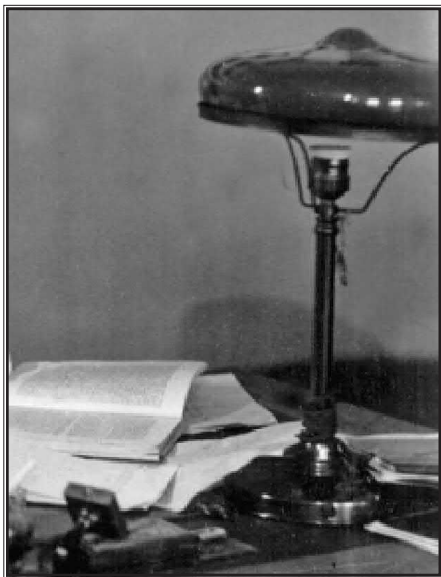
На следующий день я взяла тайм-аут на конференции, одолжила немного белорусских денег (было воскресенье, банки были закрыты) и отправилась прикрыть чем-нибудь наготу, а главное – хотела отыскать дом, где жила моя мама. Адреса я, конечно, не знала – надеялась, что сердце подскажет. Но нашла я только дом Шагала, благо там замечательный музей. А «наш» был где-то неподалёку. Побывала на чудом уцелевшем старом еврейском кладбище, отыскиались там знакомые фамилии... После этого решила пройтись по адресам старых маминих фотографий – вдруг какая-нибудь фотомастерская сохранилась! Витебск во время войны был страшно разрушен, надежды было мало. Но, представьте, на центральной улице оказалась-таки фотомастерская с адресом более чем столетней давности! На том же самом месте, где в 1898 году была сделана фотография симпатичного кудрявого малыша – моего дяди Гриши. Ему там лет пять, и внизу под фотографией напечатаны большие цифры: 1898. Я была страшно взволнована: фотография, сделанная сто десять лет назад на этом самом месте! Я зашла. За стойкой сидела ухоженная блондинка лет тридцати, красила ногти. На меня взглянула мельком и вернулась к покраске ногтей. Вид у меня был, конечно, не для свадебного фото: оборванка, измученная долгим перелётом, нервным поиском пропавшего чемодана и двумя бессонными ночами. Я не без труда оторвала блондинку от её занятия и протянула фотографию дяди Гриши: «Взгляните!

Тут жил мастак Марк Шагал



В Витебске. Около музея Шагала с сотрудниками музея, 2009 г.

Эта фотография была сделана здесь, в вашей мастерской!» Она скользнула по ней равнодушным взглядом и спросила: «Это вы?» Я ахнула: вот же поганка! «Посмотрите на фотографию, на ней 1898-й год! Сто десять лет назад! Я так плохо выгляжу или так хорошо сохранилась?!» Она сказала равнодушно: «А, ну да», – и вернулась к ногтям. Я спрятала фотографию в альбом и ушла очень огорчённая. Но несмотря на сопутствовавшие проблемы, встреча с городом маминого детства осталась для меня светлым воспоминанием.



НЕОБХОДИМАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Моя встреча в американском городе Солт-Лейк-Сити с маминной родственницей из Польско-Белорусского городка Ружаны – событие, согласитесь, невероятное. Немыслимые совпадения случаются, наверное, в каждой жизни, но у меня их число просто зашкаливает. О некоторых невероятных совпадениях я вам сейчас расскажу. Иногда это в самом прямом смысле вопрос жизни или смерти.

Диночка Канель и невероятный поворот её судьбы

Мои родители дружили с Надеждой Вениаминовной Канель. Подрощи, я и сама с ней дружила. Друзья звали её Диночка. Диночкина мама, Александра Юлиановна Канель, в тридцатые годы была главным врачом Кремлёвской больницы.

Она лечила кремлёвских жён, в частности – жену Молотова Полину Жемчужину.

Эта история начинается 9-го ноября 1932 года. В тот день первой пациенткой Александры Юлиановны была Жемчужина. Александра Юлиановна застала её и Молотова страшно взволнованными. Они рассказали, что этим утром жену Сталина Надежду Аллилуеву, близкую подругу Полины Жемчужиной, нашли мёртвой в её спальне с пулевой раной в виске.

Закончив обход больных (второй пациенткой Александры Юлиановны в этот день была Ольга Каменева), Александра Юлиановна пошла в Кремлёвку. Вскоре к ней в кабинет явились два так называемых врача и потребовали, чтобы она подписала протокол – уже готовый – о том, что Аллилуева умерла от аппендицита. Тысячи людей видели Аллилуеву накануне на Красной площади на параде и демонстрации, посвященной пятнадцатилетней годовщине Октября. Ещё десятки видели её вечером на банкете у Ворошилова и были свидетелями её ссоры со Сталиным, который был невероятно груб. Аллилуева в сердцах покинула банкет, с ней ушла Жемчужина. Они минут сорок гуляли по Кремлёвским угольям, потом Жемчужина проводила Аллилуеву домой. Она была, видимо, последней (кроме, возможно, самого Сталина), кто видел Надежду живой. Когда её тело нашли ранним утром, она была уже холодной.

За несколько часов от аппендицита никто не умирает даже в России. Александра Юлиановна наотрез отказалась подписать фальшивый протокол. Отказались его подписать ещё два выдающихся кремлёвских врача, Плетнёв и Левин. Они потом погибли в тюрьме, а Александра Юлиановна умерла при странных обстоятельствах (подробнее об этих событиях вы можете прочитать в моей книге «То ли было, то ли небыло»). Сталин расправлялся со всеми, кто имел хоть малейшее отношение к смерти Надежды Аллилуевой. К Жемчужиной он относился с особой ненавистью, потому что она была ближайшей подругой его жены и наверняка слишком много знала.

В конце тридцатых годов Сталин начал охоту на Жемчужину. Берия арестовал двадцать пять человек, которые должны были подписать, что Жемчужина была шпионкой. Среди этих двадцати пяти были дочери Александры Юлиановны Канель, Диночка и её сестра Юлия (Ляля). Самой Александра Юлиановны уже не было в живых. От Диночки и Ляли требовали подписать, что их мать была шпионка и Полина Жемчужина была шпионка, и что Ляля с мужем, которым после смерти Александры Юлиановны Молотов организовал поездку в Париж, получали там деньги за шпионскую деятельность матери. Ляля, которую допрашивал сам Берия, всё подписала. В сорок первом году Лялю расстреляли в лесу под Орлом вместе со ста шестьюдесятью другими узниками Гулага, среди которых были Сергей Эфрон, Ольга Каменева и жёны расстрелянных ранее военачальников. Из двадцати пяти арестованных по делу Жемчужиной в живых – совершенным чудом – осталась только Диночка. Вот как это произошло.

Когда Диночку арестовали, она была беременна. В тюрьме её заставили сделать аборт. Для этого её перевезли из Лубянки в Бутырскую тюрьму, куда вызвали специально приглашённого вольного гинеколога. После аборта (проведенного, конечно, без всякой анестезии) Диночку вернули на Лубянку и тотчас привели на допрос. До аборта она отказывалась подписать протокол, что её мать и Жемчужина были шпионками, и её, беременную, били, но тогда она выдержала и не подписала. Теперь, почти сразу после аборта, её снова начали бить, боль была невыносимая, и она закричала – перестаньте меня бить, я всё подпишу. Но от побоев и страшной боли она потеряла сознание и не успела ничего подписать. Её оттащили в камеру, где у неё открылось маточное кровотечение. Её соседка по камере, немецкая коммунистка, подняла тревогу, и Диночку снова повезли в Бутырку – очищать после неудачного аборта, и она провела пять дней в Бутырской больнице. Оттуда её вернули на Лубянку, но вызовы на допросы и побои внезапно прекратились. Диночка получила очень лёгкую, почти невесомую

статью: пять лет за недонесение об антисоветской деятельности родственников. Что же произошло за минувшие пять дней? Почему прекратились допросы и побои? А произошло вот что. Пока Диночка лежала в Бутырской больнице, Советский Союз подписал с Германией Пакт о Ненападении, известный также как Пакт Молотова-Риббентропа, и Сталин решил отложить охоту на жену Молотова Жемчужину (её арестуют почти через десять лет, в 1948 году). А раз отложили охоту, отпала необходимость выбивать из арестованных показания, что Жемчужина шпионка. Так получилось, что Диночку били «всего» два раза, она никаких ложных показаний не подписала, и уцелела.

Когда в сорок восьмом году начался новый этап охоты на Жемчужину, Диночку снова арестовали. На этот раз, из арестованных по делу Жемчужиной двадцати пяти человек, четверо, включая Диночку, уцелели благодаря смерти Сталина. В общей сложности сорок шесть человек погибло по «делу Жемчужиной». Парадоксально, но сама Жемчужина, главный объект Сталинской охоты, уцелела в этой переделке и умерла своей смертью. Если бы это не звучало так дико, я бы сказала, что они с Диночкой родились «под счастливой звездой».

Так историческое событие огромного геополитического значения – подписание Пакта Молотов-Риббентроп – спасло две маленьких жизни.

Дело врачей

Для трёх миллионов советских евреев и многих миллионов других сталинских жертв пятое марта 1953 года стало событием вселенского масштаба. Для евреев – особенно.

Тринадцатого января 1948-го года зверским убийством Соломона Михоэлса был дан пусковой сигнал к безудержной антисемитской пропаганде. Стыдливый эвфемизм «безродные космополиты» никого обмануть не мог. День в день пять лет спустя, тринадцатого января 1953 года, сталинская охота на

евреев достигла апогея. Эти события вошли в историю под названием «дело врачей». В этот день страна – и весь мир – были ошеломлены сообщением ТАСС о разоблачении в СССР преступной организации крупных работников медицины, совершавших чудовищные преступления: заведомо неправильным «лечением» они умерщвляли своих пациентов и осуществляли шпионскую деятельность по заданию западных спецслужб. Кроме четырёх или пяти русских фамилий (личный врач Сталина Виноградов, Василенко, Егоров, Майоров и Зеленин), все остальные «преступники» были евреями, включая «примкнувшего к ним посмертно» артиста и режиссёра Соломона Михоэлса и умершего задолго до ареста профессора М. Б. Когана. Страна застыла в ужасе перед злодеяниями «извергов рода человеческого», «убийц в белых халатах». Мне было четырнадцать лет. Я тоже застыла в ужасе, но по иной причине. Многие из перечисленных в сообщении ТАСС «злодеев» были друзьями или близкими знакомыми моих родителей, они бывали у нас дома, я в детстве сидела у них на коленях, они вырезали мне миндалины, слушали сердце и щупали суставы. С главным «убийцей в белом халате» – Мироном Семёновичем Вовси – мы несколько лет жили на соседних дачах практически без забора, и я от них не вылезала. Жена Вовси Вера Львовна учила меня вышивать гладью, а двухлетний внук Боря не ел, если я не сидела рядом.

В свои четырнадцать лет я была типичной советской школьницей с промытыми мозгами. Как большинство, я была одурачена пропагандой, грязным потоком лившейся со страниц газет, из радиоточек, из уст школьных учителей, а родители, опасаясь моей общительности и болтливости, никогда ничего ей не противопоставляли. Я привыкла верить всему, что читала в газетах или слышала по радио. Но сообщению ТАСС от 13-го января я поверить не могла. Почти всех перечисленных в нём врачей я знала лично. Они совершенно не годились на роль шпионов и убийц. До сих пор поражаюсь, как мои мозги уцелели в этой катастрофической «сшибке»: впервые в жизни я не верила газетам и

радио! «Это ошибка! – кричала я онемевшим родителям, – бегите скорей, скажите, что это ошибка!» Куда бежать, кому сказать – этим вопросом я не задавалась. Но родители как будто приросли к полу. «Да, это ошибка, – помертвевшими губами сказала мне мама, – но ты никому, ты меня слышишь? – никому не должна говорить, что ты этому не веришь. Ты можешь очень подвести меня и папу. А тебя – тут последовала страшная угроза – тебя могут выгнать из комсомола». В комсомол меня приняли совсем недавно, и я тогда очень ликовала.

Момент истины окончательно открылся мне двумя неделями позже, когда в ночь со второго на третье февраля арестовали моего папу, и я, наконец, поняла, что живу в стране, где человеческая жизнь ничего не значит и ничего не стоит, и с любым человеком можно сделать всё, что угодно.

Тут надо сказать, что мама сначала носила папе передачи (сто тогдашних рублей). Но в двадцатых числах февраля передачу не приняли. Дежурный сказал маме: «Передачи больше не носите, они больше не нужны». Мама вернулась совершенно почерневшая и сказала мне, что папы, видимо, больше нет. Жизнь не давала большого простора для иных интерпретаций. Позже, когда папу выпустили, он объяснил, что поскольку он не подписывал нужных следствию ложных показаний, его перевели «на особый режим», который не предусматривал передач, и перевезли из Лубянки в Лефортово.

А поток антисемитской пропаганды в стране всё нарастал и нарастал. Евреев массами увольняли с работы. К врачам-евреям боялись ходить на приём. Распространялись слухи, что лекарства в аптеках отравлены евреями-фармацевтами. Народный гнев рос и ширился: страну готовили к «окончательному решению еврейского вопроса». Сценарий был ясен и кое в чём уже успешно опробован. Акт первый – показательная казнь «убийц в белых халатах», согласно слухам – через повешение на Красной площади. Акт второй – организованные погромы руками разъярённых народных масс, направленные

в первую очередь против семей арестованных и казнённых злодеев, но затронувшие и других, непричастных к медицине евреев. Акт третий: для «спасения» остальных, невиновных в преступлениях евреев от народного гнева – депортация их из больших городов в лагеря Сибири и северного Казахстана. При этом на эшелоны с депортируемыми по пути их следования должны были нападать разъярённые толпы, и только половина или треть депортируемых должна была добраться до предназначенных лагерей. То, что не удалось сделать Гитлеру, готов был завершить Сталин.

Папин следователь говорил ему, что суд над врачами назначен на четырнадцатое марта. Где-то у Хрущёва я вычитала, что суд готовили к девятому марта. Приговор и последствия сомнений не вызывали.

Но произошло непредвиденное. Первого марта у Вождя народов случился обширный инсульт. Четвёртого марта советский народ оповестили о тяжёлой болезни товарища Сталина. Дыхание Чейна-Стокса! Моя мама застыла в кухне у репродуктора. В её глазах впервые появился какой-то свет. Пятое марта: сбылось!!! Сталин умер. Наступил конец эпохи.

«Если папа жив, сейчас многое может измениться», – сказала мне мама. Как в воду глядела! Колесо «дела врачей» мгновенно начало вращаться в обратную сторону. Сталина ещё не похоронили, он ещё лежал в Колонном зале, а в нашей квартире раздался телефонный звонок. Мужской голос сообщил, что звонит по поручению профессора.

Профессора!!! Не изверга рода человеческого, не убийцы в белом халате – профессора! «Профессор просит передать, что он жив и волнуется за семью». Он жив! Страна в горе, в слезах и соплях, а у нас – праздник! Через месяц, четвёртого апреля, всех арестованных врачей освободили с полной реабилитацией.

За шестьдесят пять прошедших лет мы в нашей семье не пропустили ни одного пятого марта и ни одного четвёртого апреля. Пятого марта мы пьем водку и надеемся, что Вождь на-

родов жарится на сковородке в Преисподней, а четвёртое апреля празднуем, как день нашего общего второго рождения.

Страшно подумать, что было бы со всеми нами, проживи Сталин всего на две недели дольше... Так внезапная смерть одного дракона спасла жизнь нескольких миллионов.

Напоследок я хочу рассказать вам несколько частных историй из собственной жизни. Я не обижусь, если вы мне не поверите, потому что если бы эти истории рассказали вы мне, а не я вам, я бы вам не поверила.

Случай в Дебрецене

Дело происходило в середине восьмидесятых годов в Дебрецене – небольшом городе в центре Европы, в Венгрии. В результате кровавой битвы с околонучными властями, продолжавшейся три года, в конце концов я получила разрешение поработать три месяца в Университете Кошута Лайоша, где меня все эти три года терпеливо ждали. Иностранцев на нашей дебреценской кафедре в это время было двое – французский вьетнамец Хунг Нгуен и я. Через какое-то время к нам с Хунгом присоединился английский профессор Питер Плеш (Peter Plesh) с супругой, прилетевший с недельным циклом лекций. Плеш был похож на лорда – высокий, породистый, величественный. Жена его Труди тоже была высокая и величественная. Английская королева, оценив её заслуги перед обществом, пожаловала ей титул Дамы, и Труди вполне ему соответствовала по статям и поведению.

Наш венгерский хозяин Тибор Келен пригласил своих иностранных гостей на ланч. Таким образом, за столом небольшой отдельной комнаты в столовой дебреценского Университета собралось пять человек, встретившихся впервые и ничем внешне между собой не связанных. Мне выпало сидеть рядом с Труди Плеш. Я заметила, что она меня пристально разглядывает. Потом она сказала:

– По-моему, Вы еврейка.

Я рассмеялась:

– Вы очень наблюдательны.

Труди оживилась:

– Вы первая советская еврейка, которую я встретила в жизни!

Ходите ли Вы в синагогу?

Я опять рассмеялась:

– Знаете ли, в стране, где я живу, мне надо выбирать, куда ходить: в синагогу или в Институт химической физики. Туда и туда ходить невозможно. Я хожу в институт химической физики.

Труди:

– Нет, Вы не понимаете. Синагога – это не только религиозный институт, даже и не столько религиозный институт, это скорее клуб. У меня вся жизнь вертится вокруг синагоги, и титул Дамы был мне пожалован за мою активность в международной еврейской жизни.

Я сказала:

– Я про Вашу жизнь кое-что понимаю. У моей дочери был приятель, английский славист, он стажировался в Москве. Его родители дважды прилетали его навестить. Во второй раз они привезли кучу подарков для какого-то мальчика, семья которого была в списках отказников. Они ему заочно отпраздновали бармицву, потому что он родился в один день с их племянником. Мне пришлось отыскивать для них эту семью, с риском лишиться работы. Мне страшно не хотелось их искать. Ни адреса, ни телефона мои английские гости не знали — ничего, кроме фамилии, которая числилась в каких-то списках. Впрочем, как потом оказалось, номер телефона всё равно не помог бы, потому что телефон был у них обрезан.

Труди вдруг перестала жевать салат, уставилась на меня и полуспросила – полуконстатировала поражённо:

– Вас Наташа зовут?

– Да, а что?

– А Ваших друзей – Яблонски?

– Да, Яблонски. Откуда вы...

– Я о Вас в газете читала, – заключила Труди торжествующе.

Я насторожилась:

– В какой газете?!

– В газете Манчестерской синагоги! Ваши друзья, вернувшись из России, описали подробно всю историю, как Вы отыскиали для них семью отказников, для которых они справляли бармицву.

Увидев выражение моего лица, Труди поспешила меня успокоить:

– Да Вы не волнуйтесь, Вас не найдут! Они написали в газете, что помогала им прелестная женщина Наташа из Московского университета!

– Конечно, по таким признакам кто ж меня отыщет!

Отказников я тогда действительно каким-то чудом нашла и, проклиная всё на свете, повезла к ним английских благодетелей, представляя, как будут смущены эти люди визитом неожиданных гостей и как на следующий день меня выгонят из Института химической физики. Ни того, ни другого, однако, не случилось. Отказники совершенно не удивились нашему визиту и без всякой аффектации приняли подарки – Яблонски оказались чуть ли не пятыми западными евреями, справлявшими бармицву их отпрыску.

Из химфизики меня не выгнали – то ли наш визит к отказникам прозевали, то ли климат уже начинал теплеть.

Труди очень разволновалась: я была первая и единственная советская еврейка, которую она встретила в жизни – и вдруг оказывается, что она уже читала обо мне в уважаемом печатном органе Манчестерской синагоги! Она доложила об этом профессору Плешу. Плеш вежливо поинтересовался, кто я, из какой семьи. Я ответила, что семья медицинская, папа – патологоанатом, большой учёный, а мама была профессор-физиолог и всю жизнь работала с Линой Штерн (имя Лины Штерн было тогда широко известно в европейских научных кругах).

Тут настал черёд профессора Пляша. Он буквально до потолка взметнулся, услышав это имя:

– Вы знали Лину Штерн?!

– Я её не просто знала: она была частью нашей жизни. Мама с ней работала. Папа с ней сотрудничал, иногда конфликтовал. Он написал о ней воспоминания.

– Мой отец был в неё влюблён, – сказал профессор Плеш. – Они были помолвлены и должны были пожениться – я мог оказаться её сыном! Но Лина расторгла помолвку и уехала в Советский Союз. Мой отец потом женился на моей матери. Кстати, он был личным врачом Эйнштейна и написал о нём воспоминания.

Я знала, что единственный роман в Лининой жизни был с английским профессором. Мой папа писал об этом в своих воспоминаниях. Жених возражал против того, чтобы Лина работала после свадьбы, поэтому она расторгла помолвку. У моего папы были какие-то совместные научные интересы с бывшим Лениным женихом, они переписывались. Папа рассказывал, как однажды разволновалась Лина, увидев на папином столе письмо и мгновенно узнав знакомый почерк – как я теперь понимаю, почерк отца профессора Пляша! Вот как неожиданно материализовался след Лининой любви!

– Мой отец следил за Лениными публикациями, – продолжал Плеш, – но они вдруг прекратились в конце сороковых годов, и мы ничего не могли о ней узнать. Расскажите же, расскажите о ней!

И я рассказала профессору Плешу о Еврейском антифашистском комитете, о Ленином аресте и ссылке. Рассказала, что незадолго до ареста Лине удалось через жившего в Америке брата достать несколько ампул только что изобретённого стрептомицина; что в это время у друзей моих родителей заболела туберкулёзным менингитом дочь, и в соответствии с Лининой теорией гемато-энцефалических барьеров, Лина с мамой начали лечить девочку инъекциями стрептомицина непосредственно в спинномозговую жидкость. Девочка выздоровела, но, к сожалению, оглохла. И всё-таки это был первый в истории медицины случай выздоровления от туберкулёзного менингита, считавшегося раньше стопроцентно смертельной болезнью. Случай этот стал

широко известен в Москве, и к Лине пришла Светлана Сталина с просьбой дать стрептомицин для дочери её подруги, заболевшей воспалением лёгких, но Лина отказала, сославшись на то, что стрептомицина у неё очень мало и он только для научных целей. Вскоре Лину арестовали как члена Еврейского антифашистского комитета – ей тогда было ровно семьдесят лет. Следовательно грязно ругал её, а она ему говорила: «Я понимаю, что Вы хотите как-то оскорбить мою маму, но зря стараетесь – я не понимаю Вашей лексики». Рассказала я и о том, что Лина – единственная из членов Еврейского антифашистского комитета, кто по каким-то неизвестным причинам не был расстрелян двенадцатого августа 1952 года; Сталин лично вычеркнул её из расстрельного списка. После тюрьмы она была в ссылке в Джамбуле, а первые дни после возвращения из ссылки жила у нас и многое рассказала моим родителям. Лине вернули лабораторию, но у неё начал быстро прогрессировать склероз... Одним словом, много чего я рассказала профессору Плешу, а он слушал, как заворожённый.

...Поражённые невероятными совпадениями, мы как-то забыли о нашем третьем иностранце. А ему, между прочим, тоже было, о чём рассказать. Они с сестрой бежали из северного Вьетнама в уютной лодчонке, чудом спаслись и, в конце концов, оказались на Западе, где добрые люди их усыновили-удочерили и дали образование. Теперь Хунг Нгуен живёт и работает в Париже, а сестра замужем в Америке под Вашингтоном.

– В моей семье тоже есть вьетнамцы, – сказал профессор Плеш. – Мой племянник женат на вьетнамке, у неё очень похожая история.

– Конечно, похожая, – согласился Хунг. Он полез во внутренний карман пиджака, достал какую-то фотографию и протянул Плешу:

– Ваш племянник женат на моей сестре. Вот фотография с их свадьбы, Вы там были.

Хунг – единственный среди нас – с самого начала знал, что они с Плешем связаны родственными узами, но в силу восточного характера не спешил выкладывать карты на стол.

Теперь подведём итоги. В небольшом городе в центре Европы за обеденным столом случайно встречаются несколько коллег: один, с супругой – из Англии, второй, ныне живущий в Париже, – из Вьетнама, третья – из Москвы, чудом вырвавшаяся на три месяца из железных объятий советского режима. А через час, в традиции романов Агаты Кристи, выясняется, что все эти люди связаны между собой отнюдь не виртуальными, а вполне осязаемыми связями. Я знаю из своей науки, как мала вероятность тройных соударений – но вот же они произошли, словно земной шар не больше футбольного мяча!

...Я начала этот рассказ с того, что не обижусь, если вы мне не поверите. Не обижусь, но огорчусь, потому что каждое слово здесь – правда.

P.S. Мне удалось найти в интернете кое-какие сведения об отце Питера Плеша¹. После разрыва с Линой он выгодно женился на дочери богатого предпринимателя. В тридцатые годы он действительно дружил с Эйнштейном и лечил его, удивляя медицинские круги Берлина, которые считали старшего Плеша модным шарлатаном. Сам Эйнштейн, который выздоровел благодаря – или вопреки – доктору Плешу, заметил дружески: «Он, конечно, свинья, но он мой друг». Кстати, воспоминания Плеша-старшего об Эйнштейне, включая его медицинские анализы, опубликовал Питер Плеш после смерти отца.

Случай в Амстердаме

Эта история произошла в 1989 году. За несколько месяцев до описываемых событий журнал «Дружба Народов» опубликовал журнальный вариант книги моего отца, а журнал «Юность» опубликовал мой рассказ. То и другое сразу же перевели и издали под одной обложкой во Франции, Италии и Голландии. Французские издатели и голландская переводчица прислали мне

1 <https://harvardmagazine.com/2004/01/janos-plesch.html>

приглашения на презентацию книги. Это было как сон. Я хотела взять с собой дочь Вику, и мы сравнительно легко получили необходимые визы, но оказалось, что об авиабилетах в Париж в обозримом будущем нечего даже и мечтать.

– Попробуй достать через «Дом Дружбы», – посоветовала мне Татьяна Никитина: они с Сергеем как раз летели на концерт в Париж и приобрели билеты через эту контору.

Я пришла в «Дом Дружбы», представилась секретарше, назвала свою фамилию и объяснила, что мне нужно два билета в Париж для себя и для дочки и вылететь желательно через неделю.

– Будут, – пообещала сладкая, как патока, секретарша, – зайдите послезавтра.

Я поразилась вежливости секретарши и простоте решения проблемы. Но когда я, как было назначено, явилась вновь, от приветливости и вежливости секретарши не осталось и следа. Она метала громы и молнии:

– Как Вы посмели сюда прийти?! Вы самозванка! Вы никто! Вы меня подвели!

Я опешила:

– Чем подвела? Почему самозванка?

– Вы не родственница Виталия Рапопорта!

– Какого Виталия Рапопорта?

– Как какого! Члена Бюро «Дома Дружбы»!

– Да разве я Вам сказала, что я родственница Виталия Рапопорта?!

– Но если ко мне приходит человек и говорит, что ему нужно два билета в Париж – для себя и для дочки – может мне прийти в голову, что она не родственница члена Бюро?! Я ему позволила сказать, что не смогла достать билеты в Париж, и взяла в Брюссель, так он на меня всех собак спустил!

От этой информации я насторожилась:

– Вы всё-таки достали нам билеты?

– Да, но я не могу отдать их Вам – они куплены по безналичному расчёту – я же думала, что Вы – родственница Виталия

Рапопорта. К тому же, в Париж билетов не было, и я взяла в Брюссель, чтобы вы оттуда ехали поездом. Теперь переводить билеты на наличный расчёт — целая огромная проблема. Для этого нужно специальное разрешение директора «Дома Дружбы»! Вы меня страшно, страшно подвели!

– Я получу разрешение от директора! – всколыхнулась я. – Клянусь, получу! Я же не самозванка! Я лечу на презентацию своей книги! Я сожалею о Ваших неприятностях! Я буду Вам очень, очень благодарна!

Я пришла на приём к директору «Дома Дружбы» с официальными приглашениями от французского издательства и от Сорбоннского Университета. В результате мы с Викой полетели таки в Брюссель, а оттуда поехали поездом в Париж. Всю дорогу я ждала, что самолёт рухнет, а поезд сойдёт с рельсов – я просто не могла поверить, что не во сне, а наяву окажусь в Париже... На Парижском вокзале нас встречали наши издатели. В тот же вечер в маленьком кафе на Монмартре я попробовала первую в своей жизни устрицу и до сих пор храню её ракушку.

На следующий день мы отправились в гости к нашим издателям. Вошли и остолбенели на пороге: громадный зал, в который с высокого потолка сквозь стеклянную крышу льётся дневной свет, на диване в центре зала две больших рыжих собаки-колли, а на стенах нет живого места от ковров и художественных плакатов с многочисленных выставок. Я не успеваю ахнуть, как довольная эффектом Ирэн произносит:

– Я совсем забыла вам сказать. Мы купили мастерскую Сальвадора Дали...

Так начался наш первый визит в Париж.

Я получила небольшой гонорар за французское издание книжки, и после Парижа мы с Викторией отправились к друзьям в Лондон, откуда должны были ехать дальше в Голландию к переводчице моего рассказа Элс де Грааф. Элс жила в небольшом городке на восточной границе Голландии, в четырёх часах езды от Амстердама.

Тут, собственно, и начинается то, из-за чего я затеяла вам всё это рассказывать.

Денег у нас с Викой было в обрез – едва-едва хватило на автобусные билеты из Лондона в Амстердам, где нас должна была встречать Элс де Грааф и меня ждал небольшой гоно-рар за голландское издание книжки. Но произошло непред-виденное.

Чтобы дальнейшее было понятно, необходимо объяснить, что маршрут автобусного путешествия из Лондона в Амстердам слегка задевает север Франции. Пассажиров сначала везут до Дувра, там пересаживают на паром Дувр – Кале, в Кале их снова подбирает автобус, делает несколько шагов по Франции – и вы в Бельгии, потом в Голландии.

Планируя поездку и предусмотрев повторный въезд во Францию, я получила в наши советские паспорта многократные французские визы, но английская виза была у нас только на один въезд. В Дувре английский чиновник проштемпелевал наши английские визы и тем самым мы покинули Англию. Чемоданы по транспортёру уехали на паром, мы поднялись вслед за ними. Ждём, а паром всё не отходит. Вдруг английский паспортный чиновник появляется снова и – прямо к нам. Вид у него озабо-ченный:

– Разрешите ещё раз взглянуть на ваши паспорта!

Посмотрел и схватился за голову:

– Я так и знал! Ваши визы недействительны! Французы вас не впускают!

– Что Вы, у нас действующие многократные французские визы, они действительны ещё несколько месяцев.

– Да, – согласился чиновник, – но вы не можете въехать во Францию через Кале! У французов для советских граждан пред-усмотрено пять пунктов въезда – Орли, Шарль де Голль, и ещё три – они перечислены у вас в визе очень мелким шрифтом. Кале среди них нет – советские граждане обычно не въезжают во Францию из Англии!

Да мы же не во Францию едем! Мы в Голландию! Нам по Франции и ехать-то всего полчаса! – взмолилась я, начиная понимать, что надвигается катастрофа.

– Вполне согласен с вами, но вы не знаете этих негодяев французов! Они вас не пустят! Пойдемте со мной, пошлём им телекс и вы убедитесь сами.

Той порой среди багажа находят и сбрасывают с парома наши чемоданы. Мыходим с парома в сопровождении английского чиновника. Паром отплывает и тает в дымке, и с ним вместе тает надежда когда-нибудь добраться до Амстердама, где на автобусной остановке ждёт нас Элс де Грааф.

От французов действительно приходит по телексу быстрый ответ: не пустим!

– Вот видите, – комментирует английский чиновник, довольный тем, что французы оправдали его ожидания, – я же вам говорил, французы – страшные мерзавцы!

Мне не сразу удаётся охватить глазом окончательные размеры бедствия. Дело в том, что мы не только не можем въехать во Францию – мы не можем и вернуться в Англию, потому что в нашей однократной визе уже стоит штамп о нашем выезде! Нас забирают в экстерриториальный полицейский участок, и наш чиновник, смущённый тем, что во-время не заметил проблемы и проштемпелевал наши визы, приносит нам кофе с булочками, телефон и телефонную книгу. Ему приятно продемонстрировать контраст между французским и британским отношением к человеку.

– Звоните хоть по всему миру, пытайтесь разрешить вашу ситуацию, – говорит он.

Я первым делом звоню, чтобы предупредить Элс де Грааф, но её уже нет дома – она уехала встречать нас в Амстердам. Элс понапрасну проедет четыре часа и будет, бедная, метаться в наших поисках по автобусной станции, но я уже ничего не могу изменить.

Положение наше аховое. Даже если бы каким-то чудом нам удалось вырваться из западни и вернуться в Англию, денег на обратную дорогу в Лондон у нас нет. Звонить лондонским друзьям бесполезно – сразу же после нашего отъезда они уехали на несколько дней в лесной дом, и у меня нет их телефона. Я ничего разумного не могу придумать и от отчаяния звоню во Французское Посольство в Лондоне. На смеси плохого английского с ещё худшим французским объясняю какой-то секретарше, что произошло.

– Ничем не могу вам помочь, – отрезает высокомерная секретарша. – Мы не можем впустить вас во Францию.

– Мне не надо во Францию! Мне туда всего на полчаса! Пожалуйста, соедините меня с Господином Послом!

– А то Господину Послу больше делать нечего, как с Вами беседовать, – отвечает секретарша, правда, в более аккуратной формулировке.

В конце концов в ответ на мои мольбы, она как будто соглашается что-то для нас предпринять и исчезает на полчаса, оставив меня на телефоне – наверное, пьёт кофе. Наконец возвращается и сообщает издевательски:

– Господин Посол сказал, что вы действительно можете получить разрешение на въезд во Францию через Кале. Это займёт месяц.

Всё. Запас моих идей исчерпан, и я понимаю, что мы с Викторией, две советских гражданки, остаёмся до конца дней в экстерриториальном полицейском участке между Англией и Францией. Впрочем, при полном отсутствии средств к существованию и возможности покинуть пределы полицейского участка, конец дней, видимо, не за горами. Это же понимает и наш полицейский чиновник. Он вдруг приносит нам два билета на паром, идущий в Бельгию, и в очередной раз демонстрирует различие между английским джентельменом и французским сукиным сыном:

– Голландские визы действительны в Бельгии. Доплывёте на пароме до Остэндэ, оттуда поедете в Амстердам на поезде. Вот

вам пять фунтов на билеты от Остэндэ до Амстердама. Пойдёмте, я провожу вас на паром.

...Кстати, о голландских визах. В те годы в Голландском посольстве в Москве нашло себе приют Израильское консульство; перед входом в Голландское посольство всегда бушевала огромная толпа мечтающих об отъезде евреев. Пытаясь пробиться сквозь эту не имеющую ко мне отношения толпу, я пищала:

– Пропустите пожалуйста, пропустите пожалуйста, мне в Голландию!

Высокий малый с усиками обернулся ко мне и сказал с сильным грузинским акцентом:

– Тебе?! В Голландию?! Ты на себя в зеркало-то с утра смотрела?!

И все таки меня пропустили в Голландское посольство, и вот мы с Викой плывём на пароме в бельгийский Остэндэ с голландской визой, чтобы там пересесть на какой-нибудь поезд, идущий в Амстердам.

Чтобы не утомлять вас, не буду описывать муки, которые мы испытали в пути. Без языка и почти без денег, с самыми приблизительными представлениями о маршруте путешествия и западной жизни, мы, в конце концов, к часу ночи добрались до Амстердама. Вы были когда-нибудь ночью на Амстердамском вокзале? Нет? И не ходите! Это по-настоящему страшно.

Мы с Викторией вышли из поезда, в котором были чуть ли не единственными пассажирами, и стояли в полной растерянности на платформе, а вокруг шныряли накурившиеся типы с безумными глазами, пляясь, как вампиры, на нас и наши чемоданы. И никого из приличных людей, кроме нас. И полная тьма. И какие-то бельгийские копейки в кармане, оставшиеся после покупки железнодорожных билетов. И совсем некуда идти.

Стрессовая ситуация обостряет память. Вика вдруг вспомнила, что одна девочка из её художественного училища вышла замуж за голландского слависта и живёт теперь в Амстердаме. Они с Викторией были едва знакомы, но Вика порылась в своей за-

писной книжке и нашла её амстердамский телефон. Забрехала слабая надежда на спасение. Шёл второй час ночи, но положение наше было такое отчаянное, что мы решились позвонить. Телефон-автомат рядом, на платформе, но как позвонить, когда у нас нет ни монетки голландских денег?! Тогда на неверных ногах я подошла к какому-то черному детине и жестами попросила у него монетку позвонить, предлагая взамен бельгийские копейки. Дитина оказался очень доброжелательным и совсем не опасным. Он посмотрел на меня с жалостью, отвёл к автомату, опустил свою монетку и сам набрал номер. И – о, чудо! – Марина и Ришард ещё не спали, у них был гость из Германии. Они долго не могли понять, кто мы такие и чего от них хотим, но, в конце концов, приехали и забрали нас с вокзала. Жили они тогда очень трудно в небольшой квартире, оба были без работы. Хозяева и не пытались скрыть, что мы незваные гости; всё же нам постелили на полу в гостиной какую-то подстилку, и мы заснули как убитые.

Когда я утром проснулась, моя первая мысль была, что я всё ещё сплю и вижу сон. Ришард сидел спиной ко мне в кресле и читал свежую газету. Мне была видна страница, которую он читал. Четверть страницы занимал портрет моего папы.

– Это мой папа, – сказала я, не вставая с пола.

– Что? – не понял Ришард.

– Там, в Вашей газете, портрет – это мой папа.

Ришард явно подумал, что пустил ночевать какую-то аферистку. Он быстро закрыл ладонями заглавие статьи и подпись под фотографией – что было совершенно лишним, потому что ни слова по-голландски, включая нашу фамилию, я прочитать не могла и не могу – и спросил:

– Если это Ваш отец, как его зовут?

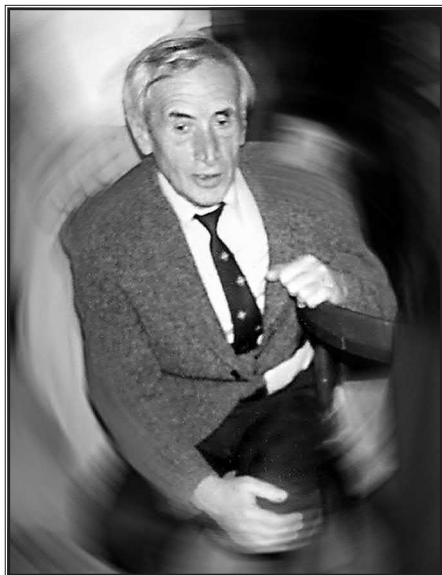
– Яков Львович Рапопорт. Он был арестован как «врач-вредитель» и написал об этом книгу воспоминаний. Я тоже написала свои воспоминания. Маленькую часть папиной книги и мой рассказ перевели и издали здесь в Голландии, поэтому мы с Викой сюда и приехали.

Всё переменялось в одно мгновение. Ришард вскочил и помог мне подняться с пола. На столе появились кофе и бутерброды...

Вскоре Ришард заключил с голландским издательством договор на перевод полной папиной книги, и у него появилась работа.

...В той газете было напечатано интервью с папой, сделанное голландским журналистом уже после нашего отъезда, так что мы о нём не знали.

Прошу вас обратить внимание, что газету с папиным портретом печатали в Амстердаме в ту страшную ночь, когда Ришард и Марина забирали нас с Викой с Амстердамского вокзала.



ВСЕМ ХОРОШИМ НА МНЕ Я ОБЯЗАН КНИГАМ

АРЛЕН БЛЮМ

«Глядя на луч пурпурного заката/ Стояли мы на берегу Невы», – распевали мы с Аликом. Умчался без возврата тот сладкий миг... Наш друг Алик (Арлен) Блюм умер в 2011 году. Крупный российский социолог Андрей Николаевич Алексеев писал о нём: «Если бы меня на высоком Суде спросили: "Что можешь сказать в свое оправдание?", я мог бы ответить: "Я дружил с Арленом Блюмом". Дружба с Арленом – предмет не только радости, но и гордости... Кто бы еще назвал свою очередную книгу: "От неолита до Главлита", а курс лекций по истории цензуры предъявил как собрание исторических анекдотов!.. Кто знал Арлена – тот ни-

когда его не забудет, а кто не знал – пусть узнает. Помянем его чтением. Обогатимся его знанием и улыбнемся вместе с ним».

Кто не знал Арлена Блюма – пусть узнает: в этом цель моих записок. Улыбнёмся и мы вместе с ним.

Мы звали его Аликом. Встречи с ним всегда были праздником. Энциклопедически образованный, с невероятной памятью и замечательным чувством юмора, Алик Блюм был неотразимо обаятельным, блестящим человеком. Книговед, доктор филологических наук, профессор Ленинградского института культуры; по более узкому профилю – специалист по отечественной цензуре (в советские годы по необходимости – царской).

Зимой мы виделись редко, а лето он обычно проводил под Москвой, по соседству с нами, на даче у нашей общей подруги Лены Краснощёковой, известного литературоведа. Лена – любительница хорошо, со вкусом одеться. Алик говорил о ней, перефразируя Максима Горького: «Всем хорошим на мне я обязан книгам». Лена уже много лет живёт в Америке. В бытность её в Советском Союзе она написала и издала несколько серьёзных литературоведческих книг, много критических статей, разнообразные эссе и предисловия. Несмотря на невинную профессию, она долгие годы была «в отказе». Первый отказ совпал с публикацией её книги о творческом методе Всеволода Иванова. «Лену-то почему не выпускают?» – изумлялись друзья. – «Слишком много знает о творческом методе Иванова», – объяснял Алик.

С началом Перестройки Алик получил на какое-то время доступ к архивам Главлита. Оказывается, один экземпляр «красномолы» Главлит сохранял и отправлял в спецхран. Вот на этих-то полях и пасся Алик, заглянув за кулисы нашего, по Орвеллу, «Министерства правды». Одна за другой выходили его статьи и книги о замечательных находках, погребённых в спецхране Главлита.

Статьям и книгам Алик часто предпосылал убийственные эпиграфы. «Человек перестал быть обезьяной и победил обезьяну в тот день, когда была написана первая книга. Обезьяна не

В начале Перестройки Алику было доступно в архивах практически всё, кроме листов с государственными тайнами. Последние, впрочем, охранялись весьма нерадиво: секретные листы были скреплены банальными скрепками. Алика, большого любителя государственных тайн, раздирало любопытство. Однажды, воспользовавшись кратковременным отсутствием в зале надзирательницы, отлучившейся по физиологической надобности, Алик молниеносным движением вытащил скрепки и с замиранием сердца заглянул внутрь. Открывшееся взору так его поразило, что он чуть не забыл скрепить обратно секретные листы. Государственная тайна состояла в спецдонесении о недостатках *случной* кампании в колхозах Ленинградской области. Речь шла о племенных жеребцах, использовавшихся председателями колхозов на тяжелых пахотных и тягловых работах и поэтому неохотно исполнявших свои прямые обязанности. Разумеется, все они (не жеребцы, а председатели) объявлены были «вредителями» и привлечены к ответственности... Приобщаться к государственным тайнам Алик больше не рвался.

Совершенно козырной находкой для наших вечерних чаепитий был обнаруженный Аликом в спецхране «Весёлый архив». Сборник этот был выпущен издательством «Земля и Фабрика» в 1927 году (Библиотека сатиры и юмора. Копилка советских курьезов. Выпуск 1. Тираж 12 500 экз.); составителем его был Борис Самсонов, а предисловие написал Михаил Кольцов. Алик этот сборник опубликовал, что позволяет мне, не доверяясь памяти, цитировать его точно по оригиналу. Вот что пишет Алик в предисловии к сборнику: «“Выпуск первый” этой небольшой и очень забавной книжечки оказался и последним. Вскоре она была конфискована и заключена в библиотечные узилища: сохранилось лишь считанное количество ее экземпляров. Главной причиной ареста послужило, конечно, имя автора предисловия Михаила Кольцова, известного литератора и публициста, расстрелянного в 1938 г. Но и самое содержание сборника могло вызвать неудовольствие цензоров, поскольку в нем они, должно

что я женился по советски. А во-вторых я хоть и Безпартийный но желаю поддержать Энтервенцию. Прошу неотказать.

Пом. Ком. Взвода-3 Удалов.

Постановления

Из постановления Сталинградского Союза деревообделочников.

Исключаются из членов союза на неопределенный срок:

Чебатурин за то, что зажиточно жил.

Елькин за религию.

Бондаренко за разложение масс.

Анисимов – глубокая старость.

Смотритель базара в Артемовске подал Горместкому такой рапорт:

Рапорт

Прошу вашего распоряжения огородить лавку на нижнем базаре городских весов колючей проволокой, ввиду сильного зловония от проходящих граждан. В некоторых некорректностей оправляются на стенку по просьбе и заявлению того же весовщика.

На рапорте резолюция:

Тов. Петрову.

Сообщите, есть ли проволока. Впишите ордер.

Резолюция Петрова:

Проволока есть, но тонкая. Зловоние не задержится.

Мы с друзьями часто цитируем Алика. «Обманутый Врангелем прах» и особенно «Проволока тонкая, зловоние не задержится» стали нашими семейными метафорами к некоторым событиям внутренней и международной жизни...

Неудачные (или, наоборот, удачные) сближения слов или заголовков иногда тоже принимали характер вражеской вылазки.

Алик обладал немислимой работоспособностью. Вскоре после его смерти упомянутый уже друг Алика, социолог Андрей Николаевич Алексеев составил подборку его публикаций – вероятно, неполную, насчитывающую сто восемьдесят два наименования, среди которых пять толстых книг.

Книга была его жизнью. Ещё при советской власти он составил три замечательных сборника: «Очарованные книгой» – русские писатели о книгах, чтении, библиофилах, «Вечные спутники» (советские писатели о книгах, чтении, библиофильстве), «Книжные страсти» – сатирические произведения русских и советских писателей о книгах и книжниках. С кем только вы не встретитесь на этих страницах: Некрасовым и Салтыковым-Щедриным, Зощенко и Аверченко, Булгаковым и Буховым, Цветаевой и Кольцовым, Ильфом, Аркановым, Лиходеевым. Вот только встретиться с ними вам будет нелегко: сборники эти, изданные в восьмидесятых годах (правда, астрономическими тиражами в сотни тысяч экземпляров), никогда не переиздавались. Не знаю, как в Ленинграде, а в Москве их почему-то продавали за твёрдую валюту в магазине «Берёзка», откуда допущенный к кормушке народ пёр, понятно, не «Белинского и Гоголя», и даже не «милорда глупого», а коньяк и джинсы. Аликовы сборники там, думается, большим спросом не пользовались, разве что у заезжих славистов.

...Помимо общих друзей, нас с Аликом роднила замешанная на глубоком уважении любовь к котам. Предпоследний Аликов Кот (к несчастью, забыла его имя-отчество) обладал исключительными умственными способностями и литературным талантом. Когда Алик работал дома, Кот садился на стол рядом с пишущей машинкой и внимательно следил за происходящим. Иногда вдруг вскакивал и бил Алика лапой по руке. «Заметил опечатку, – тревожился Алик. – Или формулировка не понравилась, надо будет отредактировать». Но самое замечательное происходило, когда Алик вставал и отходил от пишущей машинки. Кот немедленно занимал его место и... начинал печатать! Я никогда не видела ничего подобного! И тогда Алику пришла в голову замечательная идея.

черносморудиновым задом кот сидел на вершине сосны на ненадёжной ветке, ему было страшно и одиноко, и он истошно орал. Гость-лингвист со своей колли срочно ретировался, спеша отчистить драгоценную шерсть; хозяева в прострации осматривали место катастрофы, пытаясь оценить размеры бедствия, включая изгаженные туалеты. И только Алик в первую очередь занялся спасением кота. Весь обляпанный чёрной смородиной, он куда-то сбегал и вызвал пожарников. Они приехали с огромной лестницей и сняли Афанасия с сосны.

Добрый к друзьям и котам, Алик умел быть беспощадным. У него была своеобразная манера литературной критики: он принимался хвалить «жертву», но так, что восхваляемый корчился в конвульсиях и наверняка думал, что лучше бы его ругали последними словами. Однажды я и сама стала объектом такой критики. В качестве примера, приведу избранные строки из статьи Алика «Два жука в русской поэзии: Опыт системного прочтения двух стихотворений». Впервые статья была опубликована в журнале «Столица» (1991, № 49). Впоследствии она была переработана автором, и новая версия опубликована в журнале «НЛО» в 2011 г.

«Последнее время наши СМИ активно обсуждают, казалось бы, не самый животрепещущий вопрос: достойна ли Центральная детская библиотека России носить гордое имя Сергея Михалкова? Учитывая несомненные заслуги писателя перед детской литературой, руководство библиотеки всячески настаивает на этом. Но есть и противники... В частности, Эдуард Успенский считает, что такое присуждение выглядело бы кощунственно, поскольку досточтимый писатель известен как литературный и общественный деятель, нещадно разоблачавший и громивший Пастернака, Синявского и Даниэля, Сахарова, да и вообще заслуги его перед отечественной словесностью весьма сомнительны. Он даже считает, что с таким же успехом можно создать "Детский садик имени Малыты Скуратова". Ну, это уж чересчур... Мы все-таки более склонны разделить позицию руководителей библиотеки. И попытаемся сейчас это аргументировать.

*Основал для насекомых
Школу чтенья и наук.*

Сергей Михалков

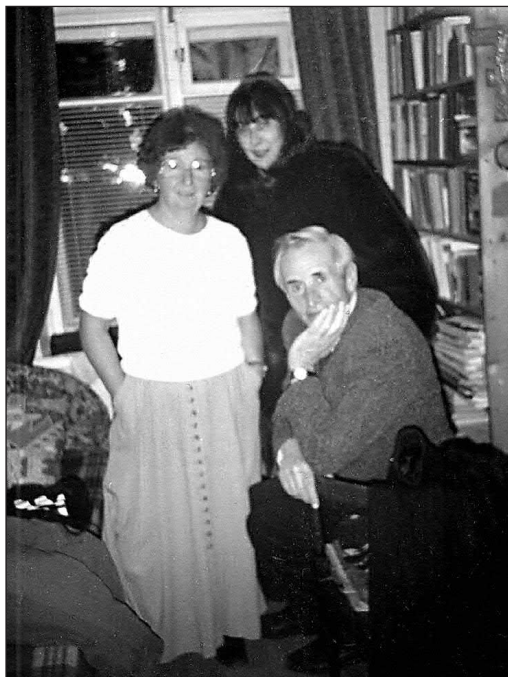
*Как-то летом, на лужайке,
Очень умный Майский Жук
Основал для насекомых
Академию наук.*

Прокомментируем два этих текста. Как мы можем убедиться, оба поэта, не сговариваясь, естественно, обращаются здесь к образу Жука, образу, столь характерному и типологически искони присущему русской литературной традиции. Осмелимся высказать осторожную гипотезу, что восходит этот бессмертный образ еще к 60-м годам XVIII века, когда Александром Сумароковым была написана басня "Жуки и Пчелы". В дальнейшем тема Жука разрастается. Вспомним мы, конечно, и дивно звучащую строку из элегии Василия Жуковского "Сельское кладбище": "Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает..." (обратите внимание на богатую внутреннюю аллитерацию, звучащую в названии нашего симпатичного насекомого и фамилии поэта, воспевшего, думается, его отнюдь не случайно). И уж, разумеется, не пройдем мимо Александра Пушкина, который в 7-й главе "энциклопедии русской жизни", романа "Евгений Онегин", не мог обойти вниманием наш персонаж:

*Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.*

Но, сравнивая эти тексты, мы видим, что С. Михалков наполняет этот традиционный образ совершенно новым и, не побоимся этого слова, классовым содержанием. В самом деле, К. Льдов называет жука-учителя "господином" как бы унижаясь и заискивая

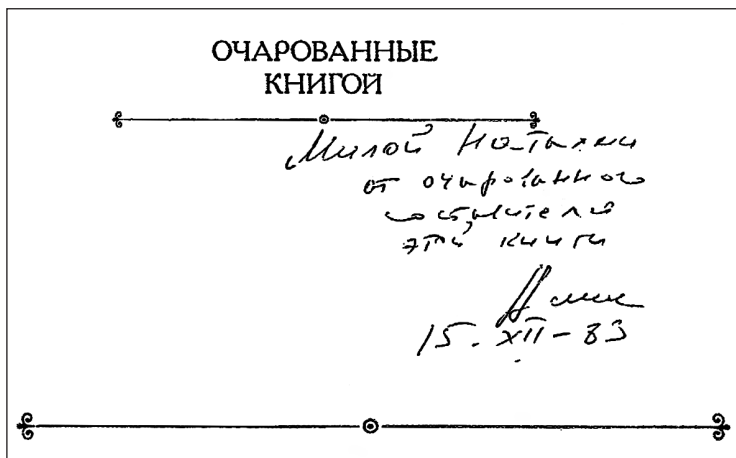
*Автор
с Арленом
Блюмом*



Нас не должно смущать некоторое сходство этих четверостиший; оно кажется таковым только при первом приближении...

Мы могли бы продолжить эти сравнения... Но оставим это для желающих. Заметим лишь, что такими ненавязчивыми изменениями советский поэт добивается высочайшего художественного (и педагогического!) эффекта, оставляя далеко позади своего предшественника на этом поприще.

Итак, надеемся, что наш скромный опыт прочтения двух стихотворений прибавит аргументов сторонникам присуждения Центральной детской библиотеке имени Михалкова и рассеет наветы и сомнения отдельно взятых злопыхателей (или уже взятых?). С другой же стороны, он может пригодиться литературоведам-текстологам и комментаторам будущего Полного собрания сочинений С.В. Михалкова».



*«Милой Наташе от очарованного составителя этой книги.
Алик»*

Не могу не поделиться с вами ещё одним, услышанным от Алика чудным рассказом.

В когда-то существовавшей Карело-Финской республике, как полагалось, был Союз Писателей, и у вышеупомянутого Союза был съезд. Всякий уважающий себя съезд кончается банкетом, и съезд писателей Карело-Финской республики в этом отношении от остальных не отличался и другим не уступал. Банкет проходил в ресторане гостиницы, в которой жило большинство делегатов. Почетным гостем съезда был Карело-Финской министр культуры. Дабы никого не обидеть, он пил, не пропуская, все тосты, в результате чего ему в какой-то момент срочно понадобилось выйти. Поскольку в гостинице он не жил, с ее географией он знаком не был. Министр культуры несся по коридору, заглядывая в разные комнаты, и наконец, ему показалось, что он нашел искомое, потому что в глубине комнаты что-то белело. Он с облегчением справил малую нужду, но оказалось, что это белело лицо известного Карело-Финского писателя, который давно уже крепко спал,

«Дорогой Наташе
стрррастно... Алик»

КНИЖНЫЕ СТРАСТИ

Сатирические произведения
русских и советских
писателей
о книгах и книжниках

*Дорогой Наташе
стрррастно...*

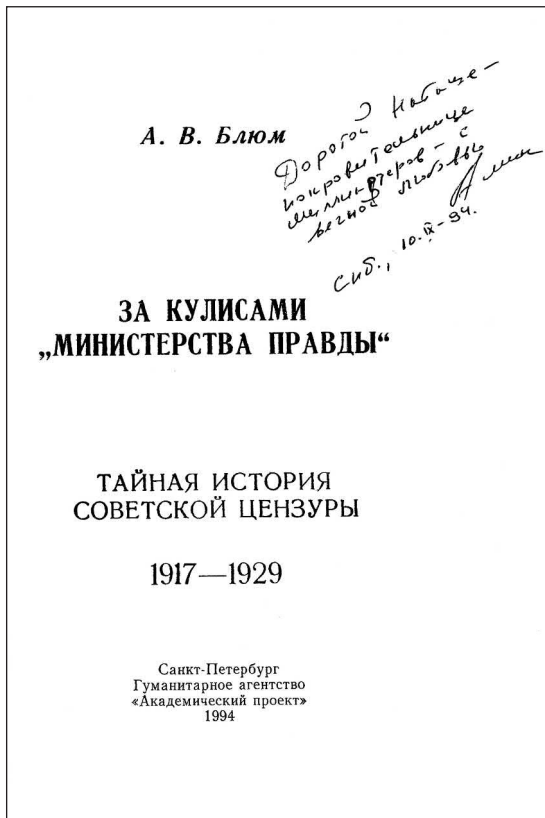
*Алик
Ленинград
14.7-88*



МОСКВА «КНИГА» 1987

будучи мертвецки пьян. От брызнувшей на него невесть откуда струи он проснулся, разом протрезвел и очень обиделся. Он написал заявление на министра культуры в Центральный Комитет и в Союз Писателей СССР. Дело, возможно, обошлось бы, но в Союзе Писателей на это заявление кто-то наложил замечательную резолюцию: «Описанному верить!». История в результате получила широкую огласку, и писатель был отщён: министр культуры лишился портфеля...

К великому сожалению, в своё время я упустила возможность прочитать многие статьи Арлена Блюма. По большей



«Дорогой
Наташе – по-
кровительни-
це миллиар-
деров – с веч-
ной любовью
Алик»

части они были опубликованы в журналах «Звезда» и «Новое литературное обозрение»; что-то можно найти в журналах «Наука и жизнь», «Иностранная литература». Привожу ниже короткий, избранный мною список его журнальных публикаций.

«Искусство идет впереди, конвой идет сзади: дискуссия о формализме 1936 г. глазами и ушами стукачей: (По секретным донесениям агентов госбезопасности)»;

«Как было разрушено “Министерство правды”»: советская цензура эпохи гласности и перестройки (1985–1991)»;

«Буржуазная Курочка Ряба и православный Иван-дурак: [Архивные документы 1924—1925 гг. о цензуре детской литературы]»;

«Благонамеренный и грустный анекдот, или Путешествие в архивный застенок»;

«Как выбирали в академики (по секретным сообщениям госбезопасности)»;

«Рукописи не горят? К 80-летию основания Главлита СССР и 10-летию его кончины»;

«"Если Троцкий не возьмет, выйду за Чичерина...". Запрещенные частушки из спецхрана»;

«Запрещенные романы в репертуаре Федора Шаляпина»;

«Склад микробов коммунизма: "Нежелательная персона", "клеветнический факт", "политический дефект", "люди хуже родственников — однофамильцы". Любое из этих определений отправляло книгу в вечную ссылку»;

«Собачье сердце» глазами Шарикова: советская цензура 20-х годов»;

«Index librorum prohibitorum русских писателей 1917—1991: [Фрагменты списка запрещенных книг русских писателей XX в.]»;

«Начало II мировой войны: настроения ленинградской интеллигенции и акции советской цензуры по донесениям стукачей и цензоров Главлита»;

«Псевдопереводы на русский как литературный и политический прием»;

«Удивительный барон Мюнхгаузен»;

«Каратель лжи, или Книжные приключения барона Мюнхгаузена» М., Книга, 1978, 61 с.



ЛЫСЫЕ РОМАНТИКИ, ВОЗДУШНЫЕ БРОДЯГИ

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ

Я любила песни Городницкого задолго до того, как услышала фамилию их автора. В те годы, когда не только авторских прав, а вообще никаких прав в стране не было, бардам, то и дело исполнявшим песни друг друга, просто не приходило в голову сообщать, кто автор; по умолчанию считалось, что исполнитель и автор – одно и то же лицо. Когда вдруг в конце восьмидесятых возникли из небытия авторские права, оказалось много сюрпризов.

О Городницком я впервые услышала от моего друга, барда Саши Дулова. Попросила его спеть одну из моих любимых песен – «Деревянные города», а он сказал: «Я её не пою. Это

песня Городницкого. Он – ленинградский автор, но вообще-то ни в Ленинграде, ни в других цивилизованных местах почти не бывает, потому что он то ли геолог, то ли геофизик: изучает океан и ходит на научных судах».

С этого момента информация о Городницком покатила, как снежный ком. Вдруг оказалось, что и эту мою любимую песню, и эту, и ту написал Александр Городницкий. Я узнавала всё больше его песен и стихов, и росло моё восхищение их автором. И вдруг в один прекрасный день, в начале девяностых годов, Городницкий оказался на расстоянии вытянутой руки, в моём собственном доме: каким-то бардовским ветром его занесло в Солт-Лейк-Сити. Я встречала его в аэропорту. По дороге доложила, что только что проводила гостившего у нас Евтушенко. Войдя в дом, Городницкий замер на пороге своей комнаты и произнёс: «Приезжий! Затаи свой дух! На этой койке спал Евтух!».

Так началась наша дружба. Щедрый друг Городницкий несколько раз вёл в Центральном доме литераторов презентации моих книг.

...Городницкий подгадал очень удачно родиться: в двадцатых числах марта я обычно бываю в Москве на научной конференции и, можно сказать, убиваю двух зайцев одним рейсом «Дельты». День рождения Городницкого – это скорее не «день», а «месячник», особенно когда дата круглая: с Городницким празднуют его даты Москва, Петербург, провинциальные города, близкое и дальнее зарубежье – словом, весь русскоязычный народ.

Свои «экспромты» ко дню рождения Городницкого я готовлю заранее. На 75-летию, которое отмечали в Центральном доме литераторов, мне очень повезло: Лев Аннинский поздравлял Городницкого незадолго до меня и в своём выступлении прочитал его стихотворение, последние строчки которого использованы в моём посвящении, так что мне не пришлось ничего объяснять залу.

Вот последняя строфа этого стихотворения Городницкого:

*Воровская, варнацкая, ссыльная,
Всё гуляет да плачется Русь.
Ну, а в чём сторона её сильная,
Я другим объяснить не берусь.*

Вот моё посвящение:

*С каждой песнею сердцу милей
Этот маленький тихий еврей.
Восхищаться мне им не резон:
Не Киркоров, поди, не Кобзон.
Не богат, хоть работа не пыльная,
Не из тех, кем пузырится Русь.
Ну, а в чём сторона его сильная,
Я другим объяснить не берусь!*

Плюс к этому тексту, я написала песенку на мотив широко известной «Канады». Петь в присутствии кого бы то ни было, даже самых близких, я не решаюсь: наша малолетняя дочь, одарённая абсолютным слухом, однажды заявила, что если я ещё раз открою рот в её присутствии, она уйдёт в детский дом. За кулисами ЦДЛ коротали время Юлий Ким, Галина Хомчик и другие великие, но в поисках исполнителя для моей «Канады» я, конечно, потерпела фиаско. Пришлось мне самой зачитывать свой текст в стиле «рэп», я назвала этот стиль «рэпапорт». Тут надо объяснить, что, хотя Городницкий был у нас в Юте несколько раз, к общему огорчению нам так и не удалось вместе съездить в наши каньоны с красными скалами или Лас-Вегас.

Итак, моя «Канада»:

*Над Канадой, над Канадой
Солнце всходит и садится,
Что подметил острым взглядом
Александр Городницкий.*

*На дорогах стынут лужи
И дожди косые сеют.
В мире есть места не хуже,
Александр Моисеич.*

*Приезжай, к примеру, в Юту,
Где без лишнего пижонства
Можно жить совсем не худо
В цитадели многожёнства.*

*Иль в Лас-Вегас, в самом деле,
Где, свои раскинув сети,
Ждут в распахнутых постелях
Жёны всех послов на свете.*

*Пусть поля там не родные,
А лесов и вовсе нету,
Светят радости иные
Потрясённому поэту.*

Завершающий куплет звучал аллюзией на одну из его самых популярных песен:

*Твою душу, склонную к печали,
Я б от наваждения спасла.
Ты б навек забыл о Сенегале
И жене французского посла!*

Публика одобрила моё творчество бурными и продолжительными аплодисментами.

Стихотворный текст, сочинённый к следующему, 80-летнему юбилею Городницкого, был примитивен, но понравился публике и, что ещё важнее, юбиляру.



*Живи ты Алик,
Лет, скажем, дв́ста,
Не стану долго мучиться:
Люблю тебя я до девяноста,
А дальше – как получится.*

На этот юбилей мы подарили Городницкому перламутровый глобус с сопроводительным текстом, который здесь привожу. «Ходила когда-то по Москве такая байка. Старый еврей приходит в ОВИР и просит оформить его в Израиль. Ему говорят: зайдите послезавтра за документами. Но он приходит завтра и говорит, что передумал: не хочет в Израиль, хочет в Штаты. Ему говорят: зайдите послезавтра за документами. Но он опять приходит завтра и говорит, что не хочет в Штаты, а хочет в Австралию. Работнику ОВИРа это надоело, он протягивает ему глобус и говорит: "Выберите уже себе место, где вы хотите жить, и мы вас оформим". Тот крутанул глобус, долго на него смотрел, потом спросил неуверенно: "А другого глобуса у вас нет?"».

Вот мы и подарили Городницкому «другой глобус», и надеемся, что всё у него будет хорошо.

«В Бардселоне»

...В 2007 году под Барселоной проходил международный фестиваль русскоязычных бардов (они прозвали этот небольшой курортный городок «Бардселоной»); в нём участвовала вся бардовская элита и Губерман. О будущем фестивале мне сообщил наш общий с Городницким друг Володя Фрумкин, крупнейший музыковед и писатель, специалист по бардовской песне, записавший для потомков ноты песен Галича и Окуджавы. Вы, безусловно, слышали фрумкинский голос: в течение двадцати лет он был ведущим на «Голосе Америки». Первым из музыковедов он признал авторскую песню как полноправный музыкальный жанр. Именно Фрумкин вёл когда-то в новосибирском Академгородке первый вечер Галича, получивший скандальную известность. Городницкий написал о нём (цитирую по памяти):

Кто были мы? Лишь горстка лоботрясов.

Забвение – печальный наш удел.

*И только Фрумкин – современный Стасов –
«Могучей кучкой» сделать нас сумел.*

Фрумкин сообщил, что они с женой Лидой летят на Барселонский фестиваль, и спросил, не соблазнюсь ли и я. Смешной вопрос – я, конечно, соблазнилась. Это были очень счастливые дни. Днём мы купались или ездили на экскурсии, вечером барды пели, а мы слушали. Городницкий меня очень тронул. Я хилый, но легкомысленный пловец. Как-то в волну не могла выгрести сквозь прибой, выбилась из сил, и меня начало относить от берега. Нашего народа на пляже было много, но Городницкий был единственный, кто это заметил. Он рванул в море, вытолкал меня на берег и даже не обругал.

На фестивале были два замечательных традиционных конкурса: конкурс рисунка и «поют непоющие». Я в них не участвовала, чтобы не отнимать лавры у глухого к мотиву Губермана.



«Могучая кучка» и примкнувшие к ней



Автор с Городницким, Фрумкинм и Кимом

Кстати, Губерман устроил на фестивале классную мистификацию. С большой таинственностью, но так, чтобы все знали, была объявлена лекция Губермана о поэтике Баркова. Лекция была назначена на ночь, начало было то ли в полночь, то ли в час ночи – сейчас не помню. Народ, конечно, ломился. Места занимали чуть ли не с обеда. И вот, жестоко обманув ожидания аудитории, Губерман прочитал лекцию о Баркове на высочайшем литературоведческом уровне, ни разу, ни разу(!), даже в цитатах из «Луки...», не употребив неформальной лексики! Это был высочайший класс!!!

На фестивале мэтров короновали. Корону Городницкого я узурпировала. Вот несколько фотографий с фестиваля.



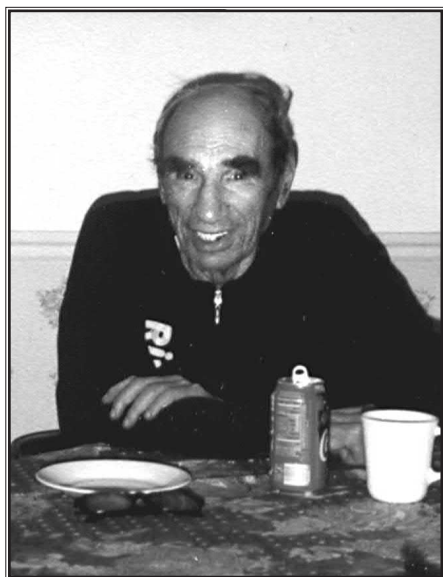
С королём фестиваля



Владимир Фрумкин и Александр Городницкий



Конкурс рисунка



ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК

ЗАПИСКИ О ЛЬВЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ БЛЮМЕНФЕЛЬДЕ

*Я прожил жизнь. Не мне судить,
Как прожил – хорошо иль плохо,
Но не смогла совсем убить
Меня во мне моя эпоха.*

Лев Blumenфельд

Некоторые явления или события жизни удивительно рифмуются или, правильнее сказать, создают неожиданную симметрию. К примеру, в Ленинградском университете проходят чтения памяти Арлена Блюма, а симметрично в Московском – чтения памяти Льва Александровича Blumenфельда, которого все – друзья, коллеги, недруги (а были и такие) – звали Блюм.

Блюм был создателем и руководителем кафедры биофизики на физфаке Московского университета. Талантливый, остроумный и яркий учёный и поэт, он высоко взлетал и, случалось, больно расширялся, если романтическая натура заносила его в заоблачные выси, в разреженной атмосфере которой он был один и не на кого было опереться.

Блюм основал кафедру биофизики на физфаке МГУ и заведовал ею в течение тридцати лет. Школа российских биофизиков, которую он создал, рассеяна сейчас по всему миру. Широта творческого диапазона его учеников соразмерна, пожалуй, только его собственной. К примеру, знаменитый бард Сергей Никитин, по узкой физической профессии – специалист по ультразвуку, творит свои песни в более низком, звуковом диапазоне, любимом миллионами слушателей; другой ученик Блюма занимается предсказанием биофизического будущего нашей планеты на тысячелетия вперёд (работа, абсолютно неуязвимая с точки зрения проверки сделанных предсказаний).

Блюм возник в моей жизни довольно поздно, но мгновенно занял очень важное место. Иначе и быть не могло. Кто, кроме него, мог позволить себе с незаурядным поэтическим нахальством – и столь же незаурядным талантом – дописывать за Пушкина «десятую главу» Евгения Онегина или за Алексея Константиновича Толстого «Историю Руси от Гостомысла...», протянув эту историю в самые наши дни? Не знаю, как Пушкин, но граф Толстой безусловно пожал бы ему руку; я ещё приведу оттуда несколько строф.

Блюм вообще многое себе позволял. Возможно, вы слышали песню Сергея Никитина «*Раб, который стал царём*»; поёт её Никитин не часто. Поразительно, что слова этой песни написал англичанин Редьярд Киплинг, живший в стране, где раб не имеет ни малейшего шанса стать царём, потому что корона и гены передаются «в пакете». Конечно, эта песня – не об Англии. Вот в России, в какой бы час, день, десятилетие её ни исполнили – она всё к месту. Блюм перевёл стихи Киплинга на русский язык.

Перевод Блюма, музыка Никитина: отношения профессор – студент плавно перешли в дружбу и творческое сотрудничество. Вот текст песни: *Раб, который стал царём.*

«От трех трясется земля, четырех она не может носить: раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей».

Книга притчей Соломоновых, Гл. 30, стихи 21-23.

*Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвертой – не снести.
В великой Книге сам Агур
Их список поместил.*

*Все четверо – проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех Раба,
что стал царем.*

*Коль шлюха выйдет замуж,
что ж – родит, и грех забыт.
Дурак нажрётся и заснет,
Пока он спит – молчит.*

*Служанка стала госпожой,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царем!*

*Он в созиданье бестолков,
А в разрушенье скор,
Он глух к рассудку – криком он
Выигрывает спор.*

*Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»*

*Он был рабом, и он привык,
Что, коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.*

*Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет, на кого
Свалить свою вину.*

*Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится – и друзей,
И близких, и врагов.*

*Когда не надо – он упрям,
Когда не надо – слаб,
О, раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.*

У Блюма была своеобразная манера говорить – медленно, веско, так что самая невинная фраза вроде «Сейчас я буду есть яичницу (далее пауза, со значением): со сковороды» была, казалось, исполнена какого-то тайного и важного, неуловимого для собеседника смысла. Мельком, пунктиром и издали, я встречалась с Блюмом больше полувека, но дружили мы только последние двенадцать лет его жизни. О предыдущих годах я знаю по его рассказам и автобиографической книге «Две жизни», изданной в 1996 году Сергеем Никитиным тиражом в две тысячи экземпля-

ров. Главы из романа Блюм читал мне вслух в начале девяностых, задолго до публикации, мы много спорили и даже ругались. Критики от меня Блюм не терпел, спорил и сердился и, конечно, всё оставил без перемен. На книжке сделал мне такую надпись: «Рыжей Наташке. To the first science lady of the Utah. From Russia with love. Lev. 27.06.96».

О Блюме написано много статей и замечательная книга – Симон Эльевич Шноль, «Л. А. Блюменфельд. Биофизика и поэзия»; его упоминает Гранин в романе «Зубр»; не забудем и его собственный роман «Две жизни». Кажется, всё уже сказано и добавить нечего, тем более что у меня никогда не было с Блюмом общих профессиональных интересов. И тем не менее я хочу рассказать вам о своём Блюме и его друзьях, но начать рассказ придётся издалека.

Мошковские

В одно из первых послевоенных лет – мне было лет восемь или девять – с нами на даче жили друзья моих родителей – Юлия Яковлевна и Шабсай Давидович Мошковские, для меня – тётя Юля и Папсик. Шабсай и его братья – мне известно о троих – были родом из Пинска. Все они стали знамениты или по крайней мере очень известны. Младший, Яков Мошковский, был лётчиком и парашютистом, начальником Высшей парашютной школы, летал вслед за Водопьяновым на Северный полюс, за героизм был награждён Орденами Ленина и Красной Звезды. Он стал жертвой своей профессии и трагически погиб при выполнении пятисот второго прыжка, не дожив до тридцати четырёх лет; о его гибели сообщала газета «Правда». Второй брат, Михаил Давыдович Машковский (свою фамилию и даже отчество братья писали по-разному), академик-фармаколог, был тоже очень знаменит. По его двухтомнику «Лекарственные средства», переиздававшемуся несчётное число раз, занималась самолечением вся страна. Третий брат, друг моих родителей Шабсай Давидович

Мошковский был паразитолог, крупнейший в мире специалист по малярии, член Всемирной организации здравоохранения, член-корреспондент Медицинской академии. Поскольку он руководил моей мамой при изгнании из меня аскарид, в детстве я искренне считала его узким специалистом по глистам, пока не обнаружила, подростки, что он – учёный мирового класса и куда более широкого диапазона. Родители звали его Шабсик, я – Папсик. Это позволяло мне избежать коварной шипящей, которая не давалась мне в детстве, не даётся и сейчас. Меня за мои дефекты беспощадно дразнили мои сверстники. Они звали меня «Фурка» (Шурка) и «Рывая» (Рыжая), и я старалась, поелику возможно, заменять слова с шипящими подходящими синонимами. У меня Шабсик звучало бы как Фапсик, бессмысленно и неэстетично. Кроме того, Мошковские меня очень любили; Шабсай баловал меня почти как папа, так что имя Папсик, с моей точки зрения, ему вполне подходило.

С начала пятидесятых мы жили с Мошковскими в одном доме, и родители с ними очень дружили: то Мошковские вечером у нас, то мама с папой у них. Шабсай был человек со странностями: не брал в рот ни капли спиртного, вместо чая пил слегка подкрашенные «писи сиротки Хаси», тщательно мыл руки, и вообще производил впечатление очень осторожного человека. «Дело врачей» показало, что отпущенная Мошковским отвага ушла, по-видимому, брату-парашютисту (Михаила Давыдовича справедливости ради «вынесу за скобки», я о его поведении в тот период ничего не знаю). После папиного ареста Шабсай, встречая нас с мамой во дворе, перестал нас узнавать, никогда не звонил и ничем не помогал. Тётя Юля, напротив, при первой же возможности (Шабсай был на работе) привела меня тайком к ним домой, накормила и дала еды для мамы. Она вообще была другой человек: не отказывалась от чая и кофе и охотно выпивала рюмку-другую за дружеским столом. Их сын-первоклассник в ответ на вопрос школьной анкеты, пьют ли родители, написал: «Отец – непьющий, мать – пьющая».

Я думаю, осторожность Шабсаля вряд ли отвела бы от него неминусимое аутодафе, проживи Сталин недели на две-три дольше. А впрочем... может, его осторожное поведение действительно как-то оттянуло расправу, а тут и Сталин умер. Не знаю: прошлое ведь не имеет сослагательного наклонения. После папиного освобождения родители продолжали с тётёй Юлей и Шабсаем дружить, как прежде. Только я перестала называть его Папсиком.

У Мошковских был сын Юра, в ту пору – то ли дипломник, то ли свежий выпускник химфака МГУ. Юра, весёлый и ироничный выпивоха, был полной противоположностью Шабсаю. Много лет спустя тётя Юля объяснила мне, что никакой генетической аберрации тут не было: Юра родился в Геттингене, где тётя Юля стажировалась по истории средневековой Германии, и был сыном молодого немецкого профессора. Тётя Юля неосторожно приехала в Россию показать Юргена родным, но тут мышеловка захлопнулась, и она навсегда осталась в России. Шабсай в неё влюбился и усыновил Юру, осчастливив его отчеством Шабсаевич, в определённые периоды нашей истории ни капли не лучшим, чем, скажем, Куртович или Адольфович. А потерявший тётю Юлю и сына немецкий профессор, ставший в Германии известным учёным, был безутешен всю жизнь. Незадолго до своей трагической смерти (Шабсай ошибся лекарством), тётя Юля увидела – кажется, в «Шпигеле» – его рассказ «Юлия». Она переводила его мне и плакала.

Не знаю, на каком жизненном этапе Юре рассказали о его происхождении. В советских анкетах, кто не помнит, был вопрос: бывали ли за границей? Если да, следовало указать «цель поездки». В перестроечные времена на этот вопрос Юра стал отвечать положительно: за границей был; цель поездки: для рождения.

По возрасту Юра был ближе ко мне, чем к нашим с ним родителям, я считала его приятелем и была с ним запанибрата, за что однажды получила серьёзный втык от папы. Юра часто приезжал к нам на дачу со своими друзьями, такими же выпивохами, как он сам. Они устраивались в «беседке» (эвфемизм открытого

всем ветрам колченогого деревянного стола со скамейкой), выпивали, трепались и хохотали, а я ошивалась рядом: мне было очень интересно. Меня не прогоняли, меня просто не замечали.

Из Юриных приятелей я запомнила четверых. У двух были смешные прозвища – Шляпа и Энтеля, но лица их в памяти не сохранились; два других – Пашка, или Павлик, и Лёвка, или Блюм, крепко врезались в память.

Пашка, высокий парень с добрыми подслеповатыми глазами, постоянно таскал под мышкой какой-то свёрток. Свёрток однажды заорал и, будучи распелёнут, оказался обкакавшимся Егором Бутягиным. Ничто тогда не предвещало, что через двадцать пять лет я буду оппонентом на его защите кандидатской диссертации в Институте химической физики; на банкете по поводу Егоровой защиты я познакомлюсь с замечательными людьми и окажусь одним из узелков в сложном переплетении их взаимоотношений и судеб. Но до этого ещё четверть века, а пока Юрка Мошковский и его однокашники выпивают под сосной, а я, хоть в их беседах ничего не понимаю, кручусь рядом, чтобы, боже упаси, чего-нибудь важного не пропустить.

Лёвку (Блюма) я запомнила, потому что он был очень некрасивый: жутко худой, с выдающейся вперёд грудной клеткой, высоким лбом, небольшими, близко посаженными глазами и огромным носом, казавшимся, наверное, ещё больше на измождённом лице; к тому же хромой. Я уже знала, что Лёвка воевал на фронте и был тяжело ранен. Как позже выяснилось, ногу Блюму его фронтовые друзья-разведчики «купили» за бочку бензина. Вот что написал мне об этом эпизоде блюмовский сын Саша, мой близкий друг: *«Его привезли в прифронтовой госпиталь (рядом с передовой) в самом разгаре крупного сражения на озере Балатон, где раненых был такой поток, что чистить раны и вытаскивать осколки не было никакой возможности. Шли сплошные ампутации. Разведчики, привезшие отца, спросили, что ему (врачу) надо, чтобы спасти ногу. Тот сказал: "Бочку бензина". Через час бочку привезли, и нога была спасена».*

Блюма – это было заметно – в компании Юры Мошковского уважали больше других – вероятно, за то, что воевал. Пашка, к примеру, на фронте не был. Чего я не знала тогда, да и не положено мне было знать, это что Пашку и Лёвку, помимо любви к науке, связывала общая судьба: у обоих отцы были арестованы в конце тридцатых годов.

Павликов отец был до войны крупным военачальником, его расстреляли. Отец Блюма умер от голода в лагере в сорок втором году, когда его сын воевал на фронте.

Пашка и Лёвка сблизилась во время совместных противопожарных ночных дежурств на крышах университетских зданий; потом они вместе рыли противотанковые рвы под Москвой и совершили сорокакилометровый бросок от линии окопов, чтобы избежать немецкого окружения. Не помню, кто кого тащил на себе: то ли Павлик изнемогавшего от усталости Лёвку, то ли Лёвка Павлика. Раздобытая на химфаке самая популярная в России жидкость способствовала откровенным разговорам. Несмотря на юный возраст, оба ясно понимали, кто стоит за их общей бедой, и делились друг с другом этим далеко не безопасным знанием.

Несмотря на неприятие режима, Блюм с первого дня рвался на фронт, ушёл добровольцем, воевал на передовой, был командиром взвода танковой разведки. Из Сашиного письма: *Этот призыв шёл на убой, отец уцелел чудом. Я учился в той же школе, что и он, и знаю, что из его выпуска (39 г.) осталось в живых 2 человека. О том, почему он пошёл добровольцем, он мне как-то сказал: «Чтобы после войны на вопрос "воевал ли?" мог ответить "Да"»*. В этом весь Блюм.

У Блюма много стихов о войне. С моей точки зрения, они не уступают стихам известных профессиональных поэтов. Вот, например, одно из моих любимых:

У телевизора (1985 г.)

*Все спят. Легли сегодня рано.
В квартире тихо и темно.*

*Сажу один перед экраном,
Смотрю военное кино.
Ослаблен звук, и залпов шорох
Не заглушает тишину,
А в телевизоре актеры
Играют в прошлую войну.
От пуль увертываясь ловко,
Берут окопы на ура,
И понимают обстановку
Равно сержант и генерал.
И, танки подпуская близко,
С гранатой к ним ползет солдат,
И пять минут без смены диска
Не замолкает автомат.
Немецкий снайпер очень меток,
Но все ж стреляет лучше наш,
И погибает напоследок
Второстепенный персонаж.
И вот уж он землей засыпан,
И друг, сжав зубы, мстит врагу,
А я гляжу на эту липу
и оторваться не могу.*

Блюм был, между прочим, членом партии. Примерно дня два или три. Помимо боёв, в его военной одиссее был эпизод, который легко мог стоить ему жизни. В своей роте он был единственный беспартийный. В какой-то момент его вызвали к начальству и просто вручили (всучили!) партбилет. Отказаться он не мог и несколько дней таскал этот партбилет в надежде каким-нибудь образом от него избавиться. Тут ему подфартило: он был тяжело ранен. По дороге в госпиталь машина с ранеными ехала по мосту, и Блюм исхитрился незаметно выбросить партбилет в реку. Расчёт его был прост: скорей всего, партия его не хватится, поскольку билет ему выписали на передовой без какой-либо

регистрации; а если хватится, он скажет, что билет выпал, когда санитары выносили его с поля брани. Расчёт оказался верным: партия его не хватилась.

Павлик Бутягин блюмовского энтузиазма не испытывал и защищать сволочной режим не рвался, благо сильная близорукость давала ему индульгенцию. Я с ним подружилась много лет спустя. Мы с Блюмом о нём разговаривали, а как же. И спустя полвека я чувствовала в отношении Блюда к Павлику за то, что тот не во-евал, не осуждение, нет – превосходство.

С Павликом связан забавный эпизод конца тридцатых годов. Когда он поступал на химфак, отец его уже сидел. Ректором университета был в то время тёзка Павлика по фамилии Бутягин. В родственниках он не числился. Но когда осторожный экзаменатор спросил Павлика, не родственник ли он ректору, он проявил чудеса скромности: смущённо потупился и пробормотал: «Ну, какое это имеет значение!». Экзаменатор принял ответ за положительный, в Павликовой родословной копать не стали и приняли его в университет, как он того заслуживал: по знаниям и таланту.

Павлик, Блюм и остальные друзья Юры Мошковского были для меня людьми другого поколения. После того послевоенного лета Юра больше не жил у нас на даче; мы виделись с ним и его женой Таней Антипиной только на семейных праздниках старших Мошковских. Таня, кстати, была членом приёмной комиссии на химфаке, когда я туда поступала, и дала мне много ценных советов. Я ей многим обязана. А друзей Юриных я забыла на грядущие четверть века.

В Химфизике

...В семидесятом году, после серьёзных неприятностей на почве политической неблагонадёжности, счастливая звезда и заступничество двух могущественных академиков привели меня в Институт химической физики, один из лучших в мире научно-

исследовательских институтов. В Химфизике я обнаружила Юру Мошковского и всю его давешнюю компанию в роли тогдашних столпов института. Они заведовали лабораториями и были членами Учёного совета: Пашка (Павлик) был теперь профессором Бутягиным; Лёвка (Блюм) – профессором Блюменфельдом; Шляпа обернулся профессором Шляпинтохом; Энтеля – профессором Энтелисом. Блюма и Бутягина я узнала сразу. Мне показалось, что они совсем не изменились за минувшую четверть века, разве что Блюм стал чуть менее осунувшимся.

Моё появление в Институте не прошло незамеченным. Скажу больше (не сочтите за нескромность), оно стало даже некоторой сенсацией: я была первым «лицом еврейской национальности», принятым на работу в Институт после большого перерыва. Событие это обсуждалось в кулуарах, высказывались разнообразные предположения. Самой популярной была гипотеза, что у меня «рука» в ЦК, и один из членов парткома даже пытался это у меня аккуратно выяснить. Я блефовала по Бутягину: «Ну, какое это имеет значение!».

На этом жизненном витке новая встреча с Юриными друзьями произошла на его дне рождения, куда он пригласил меня уже как коллегу. Были все, кроме Блюма, который оказался в больнице (кажется, с тяжёлым инфарктом). Каждый вновь прибывший в первую очередь после «здрасьте» спрашивал о Блюме, и Юра не уставал повторять: «Блюму лучше, кажется, скоро выпишут».

Я была за столом лицом новым и, как всякое новое лицо в многолетней, тесной, устоявшейся компании вызывала интерес, не всегда чисто профессиональный, особенно когда все хорошо выпили. Прошедшие годы, видимо, мало что изменили в этом отношении: столпы Института по-прежнему выпивали, что не мешало им творить науку мирового класса.

Следующий раз я встретилась с Юриными друзьями в связи с трагическим событием: умерла от рака его жена Таня. На поминках все опять много пили. У Юры было больное сердце, пить ему было нельзя, и Таня за этим всегда строго следила.



У нас на даче, 1955 г. Сидят: жена Юры Таня Антипина, моя сестра Ляля, Юра Мошковский. Стоят: моя школьная подруга Люда Родыгина и автор.

Теперь Тани не стало... Юра тяжело переживал потерю и гасил боль обычным российским анестетиком. В конце концов аккумулятивная доза оказалась летальной. Как-то, вернувшись из очередной лекционной поездки, я вошла в вестибюль Института и остолбенела: с установленного на мольберте большого портрета, декорированного чёрным крепом, смотрел Юра Мошковский. Его смерть меня потрясла. До сегодняшнего дня точно помню место у стены, где стоял портрет, и моё ощущение, что ноги стали свинцовыми и их невозможно оторвать от пола. И мысль: «Какое счастье, что тёти Юли нет в живых и она не видит этого портрета».

Нельзя сказать, что мы с Юрой тесно дружили – у него шла своя жизнь, у меня своя, но он был в моей жизни с самого детства, и вот его не стало. После Юриной смерти встречи с его друзьями в неформальной обстановке надолго прекратились.

Второе знакомство с Блюмом

Прошло – нет, пронеслось – лет десять, а то и больше. Однажды я ехала на электричке в пансионат «Звенигородский» отдохнуть на организованной нашим Институтом конференции по магнитному резонансу. На лавке напротив меня случайно оказался Блюм. Он был одним из самых ярких сотрудников Института, я слушала его доклады, знала, что он пишет стихи и сочиняет остроумные капустники, но близко никогда не подходила. Сейчас он сидел напротив меня и нарочито пристально разглядывал мои коленки и прочие достопримечательности, мотивируя это тем, что с момента нашей предыдущей встречи я как-то неуловимо изменилась, и он никак не может понять, в чём тут дело: то ли причёска другая, то ли фасон юбки (напомню, что предыдущая встреча произошла на нашей даче лет двадцать пять тому назад, мне было восемь лет). Тем самым он задал тон разговору и сразу снял моё обычное напряжение при общении с людьми блюмовского масштаба. Стали вспоминать далёкие годы, дачу, Юрку Мошковского, много смеялись. Дорога была длинная, Блюм был обворожителен, легко и удачно шутил. Потом сообщил, что хотел бы почитать мне очень хорошие стихи одного очень хорошего поэта. Нетрудно было догадаться, чьи именно. Блюм читал стихи очень хорошо. Многие мне понравились, какие-то не очень, но в ту первую встречу я крепко держала язык за зубами и ничего себе не позволила. Поколебавшись, Блюм сказал, что хотел бы прочитать ещё одно стихотворение, но оно со словами. Я сказала: «Обижаете, Лев Александрович! Что ж я, по-вашему, слов не знаю?» – «Знаете? – обрадовался Блюм, – Тогда прочитаю». Потом он довольно долго молчал и наконец сообщил: «Видите ли, в чём дело: слова помню, а стихи забыл!».

Словом, к Звенигороду мы подъехали добрыми приятелями. Я надеялась на конференции поднабраться ума-разума в области магнитного резонанса, но Блюм отыскал меня в конфе-

ренц-зале: «Хватит слушать эти глупости! Погода прекрасная! Пойдём пройдемся».

Я стала звать Блюма в Мозжинку, на бывшую дачу Лины Штерн: мне пришла идея познакомить Блюма с его однофамильцем, моим близким другом Алёшей Блюменфельдом, в ту пору – хозяином Линоной дачи.

В сорок седьмом году Сталин подарил академиком посёлок Мозжинка под Москвой, около Звенигорода: великолепные участки с небольшими двухэтажными деревянными домами, по современным меркам «новых русских» – просто халупами, но тогда они казались (да и были по тем временам) роскошными. Лина Штерн, напомним, была первой советской женщиной-академиком. Моя мама – доктор медицинских наук, физиолог, работала с Линой всю жизнь, была её «правой рукой». У папы тоже были с Линой научные связи, иногда и конфликты. Лина получила сталинский подарок наряду с другими академиками, что не помешало Сталину арестовать её год спустя по делу Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). Лина – одна из немногих членов ЕАК, кто не был расстрелян 12-го августа 1952 года: Сталин лично вычеркнул её фамилию из расстрельных списков. Существует гипотеза, будто страшно боявшийся смерти Сталин думал, что Лина Штерн владеет секретом долголетия. И вот что интересно: Сталин Лину арестовал, но дачу у неё не отобрал, и когда в июне 1953 года, ровно через три месяца после смерти Сталина, Лина вернулась в Москву, дача начала функционировать. Родители ссылали меня туда на зимние и весенние каникулы, в лапы к моему ровеснику Алёшке Блюменфельду. Алёша был сыном личного секретаря Лины Штерн, Олимпиады Петровны Скворцовой. У Олимпиады и Алёши была в доме своя комната, и Алёша жил там, можно сказать, на правах хозяина (каковым впоследствии и стал). В наши школьные годы он был лицемер и тихоня; перед взрослыми делал реверансы, успешно играя хорошо воспитанного мальчика, страшно от этого уставал и отыгрывался на мне,

устраивая всякие мелкие пакости, так что ездить на каникулы в Мозжинку я не любила. Подружились мы с ним позже, окончив школу, и уже на всю жизнь.

Мои детские реминисценции Блюм слушал вполуха; идти в Мозжинку отказался: далеко, нога болит; взял вожжи беседы в свои руки и рассказал мне несколько интересных историй из жизни, часто очень забавных – Блюм был прекрасный, артистичный рассказчик. Я постараюсь передать вам его рассказы, по возможности избегая научных терминов.

Начало научной карьеры Блюма совпало с самым чёрным периодом советской науки. На научном олимпе торжествовали мракобесы Лысенко и Лепешинская. Генетика и кибернетика были объявлены буржуазными лженауками, и тем, кто их исповедовал, грозили аресты, ссылки, гибель. Освобождая себе путь наверх, ушлые проходимцы стали искать крамолу и в других областях науки. В химии козлом отпущения была выбрана так называемая теория резонанса – основополагающая теория в области квантовой химии, выдвинутая Лайнусом Полингом и принятая во всём мире. Блюм увлёкся квантово-механическими расчётами ещё во время войны, лёжа в госпиталях с тяжёлыми ранениями. В ноябре сорок пятого года он вышел из последнего госпиталя и вернулся в Москву, декорированный тремя орденами и многими медалями. Это произвело впечатление на университетскую комиссию, и он получил разрешение окончить университет экстерном. Его приняли в аспирантуру в Карповский институт, к крупному учёному, будущему академику Якову Кивовичу Сыркину, апологету и в какой-то степени соавтору теории резонанса.

Главным борцом с теорией резонанса был философ Бонифаций Кедров. Критика Кедровым теории резонанса, как рассказывал нам блестящий Михаил Исаакович Тёмкин, сводилась в конечном итоге к следующему тезису: поскольку в квантовой механике существует принцип неопределённости, теория резонанса подрывает у пролетариата веру в свои силы. За идейно-философские разногласия с линией партии в оценке теории

резонанса, до которой коммунистической партии было большое дело, Блюма изгнали из аспирантуры.

Народная мудрость гласит, что нет худа без добра. К слову, по интернету гуляет замечательная шутка: «Новое крупное достижение российских учёных! Им удалось получить худо без добра!». В случае с Блюмом худа без добра не было. Ему невероятно повезло: в самый разгар борьбы с космополитизмом его взяли на работу в Центральный институт усовершенствования врачей ремонтировать и настраивать приборы. Именно там возник у него интерес к биологическим проблемам – в частности, к механизму работы гемоглобина крови, доставляющего кислород тканям организма. Используя свои квантово-механические подходы, Блюм высказал смелую гипотезу, несколько лет спустя подтверждённую экспериментально в работах английского учёного Перуца. На основе этой гипотезы Блюм защитил докторскую диссертацию. Защита его проходила в Институте химической физики, директором которого был в ту пору Нобелевский лауреат Николай Николаевич Семёнов (я ещё застала его там).

Блюм очень уморительно рассказывал мне о своей защите, изображая Семёнова, впервые увидевшего на блюмовском плакате сложную и красивую структуру молекулы гемоглобина (к тому времени хорошо известную). В своих исследованиях сам Семёнов имел дело с очень простыми молекулами, и от красоты и сложности молекулы гемоглобина – отправной точки блюмовской работы – пришёл в неопикуемый восторг. Он непрерывно прерывал его доклад восторженными восклицаниями: «Нет, вы только посмотрите! Какая симметрия!», «Нет, вы только посмотрите, сколько двойных связей!», «Нет, вы только взгляните: одних азотов четыре штуки!» Блюм в конце концов возроптал: «Николай Николаевич! Неужели вы не понимаете, что вы мне страшно мешаете!». Семёнов извинился и продолжал восхищаться уже про себя, а в конце защиты якобы сказал, что раз диссертант понимает в такой сложной молекуле, как гемоглобин, он безусловно достоин степени доктора наук.

После защиты докторской Блюм получил маленькую комнату в одном из корпусов Боткинской больницы. Здесь начался новый, звёздный период его жизни. На пару с другом и коллегой Сашей Калмансоном он своими руками, начав с нуля, соорудил спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) – громоздкое и сложное сооружение, включающее много разнообразных узлов, каждый из которых требует тонкой настройки. Саша Калмансон был красивый, остроумный, обаятельный, но очень больной, рано ушедший из жизни человек. Его обаяние играло важную роль в приобретении деталей для будущего спектрометра. Что-то он приворачивал в академических институтах с согласия хозяев, что-то изготавливали там по дружбе, что-то он доставал, как водится, за бутылку. Катушки огромных магнитов Блюм с Калмансоном мотали своими руками. И в декабре 1955 года на экране осциллографа засветился хорошо известный ЭПР-спектр стабильного свободного радикала ДФПГ: прибор заработал!

Слух об этом пошёл по Москве. Необыкновенным прибором и его перспективами заинтересовались великие мира сего – академики Капица, Тамм, Шальников, Семёнов. Постепенно слух об уникальном приборе и приоритетном характере этого достижения дошёл до Отдела науки ЦК КПСС. Блюм очень смешно рассказывал о посещении их маленькой комнатки в Боткинской больнице крупной шишкой из Отдела науки, со свитой. Блюм пытался объяснить гостям принцип работы прибора, рисовал на доске всяческие схемы, а под конец нарисовал характерный спектр ДФПГ и сказал: «Сейчас я опущу вот сюда, в резонатор, этот капилляр, и на экране осциллографа возникнет вот такой спектр». «Действительно?! – изумился представитель Отдела науки ЦК. – Вы в самом деле можете это предвидеть?!» – «Могу», – заверил его Блюм и опустил капилляр в резонатор. На экране возник, как и было обещано, предсказанный спектр. Представитель Отдела науки ЦК пришёл в экстаз. «Товарищи, – торжественным голосом обратился он к своим спутникам, – вы

присутствуете при огромном событии! Вы стали свидетелями победы настоящей Науки! Она обладает даром предвидения!».

После посещения блюмовского подвала аппаратчиками ЦК им с Калмансоном была открыта зелёная улица. Академик Семёнов пригласил Блюма заведовать лабораторией в Институте химической физики, так что Блюм въехал в Институт на белом коне. В отличие от него, много лет спустя я пришла туда пешком в коротких штанишках младшего научного сотрудника и ходила в них пятнадцать лет, вплоть до защиты докторской диссертации, да и это было сущим чудом, за которое я навек благодарна судьбе.

Тимофеев-Ресовский

Блюм и в жизни, и в науке был романтиком и человеком отчаянным. Я называла его Мцыри: «Таких две жизни за одну, но только полную тревог...». В его становлении, научном и человеческом, огромную роль сыграл Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, выдающийся учёный, человек трагической судьбы. Блюм мне о нём много рассказывал. Читатель, возможно, знаком с романом Даниила Гранина «Зубр». Если нет, вот несколько слов о Тимофееве-Ресовском. Он был учеником крупного российского биолога начала 20-го века, Николая Константиновича Кольцова. По рекомендации Кольцова в 1925 году Тимофеева-Ресовского с семьёй послали на работу в Германию, в организованную в берлинском пригороде Бухе лабораторию по исследованию мозга. Он там контактировал с выдающимися учёными мирового класса и создал первую биофизическую модель структуры гена. Но в тридцать седьмом году советское правительство потребовало его возвращения в СССР. Кольцову удалось его предупредить, чтобы не возвращался: у Тимофеева-Ресовского в Советском Союзе оставались три брата, все трое были к этому времени арестованы, двое погибли в лагерях. И Н. В. Тимофеев-Ресовский остался в Германии. Началась война. Его сын присоединился к подпольной антима-

цистской организации, был арестован гестапо и погиб, а сам Тимофеев-Ресовский продолжал работать в Бухе. Перед приходом советских войск ему предложили перевести его отдел на запад Германии, подальше от советской зоны, но он отказался и остался в Бухе. В сентябре 1945 года он был арестован НКВД, обвинён в измене Родине и осуждён на десять лет. Наказание Тимофеев-Ресовский отбывал в лагере в районе Урала. Он бы наверняка умер там от голода, но, к счастью, советскому правительству понадобился его опыт в области радиационной генетики и радиационной безопасности, и через два года его перевели в «шарашку», а в 1951 году вообще освободили из-под стражи. После смерти Сталина с него сняли судимость. Он остался на Урале, заведовал отделом биофизики в Институте биологии Уральского филиала АН СССР в Свердловске. В составе трёхсот крупных советских учёных Тимофеев-Ресовский подписал письмо в правительство, направленное против Лысенко и описывающее катастрофическое положение в советской биологии. Лысенко опирался на Хрущёва, и письмо осталось без ответа. Советскую докторскую степень Тимофеев-Ресовский получил только после смещения Хрущёва в 1964 году. На Урале, на озере Большое Миассово в Ильменском заповеднике, Тимофеев-Ресовский основал биостанцию и летнюю школу. Туда съезжалась замечательная публика, в том числе и молодой Блюм, вскоре тесно подружившийся с Тимофеевым-Ресовским. Блюм посвятил ему такие стихи:

*Известно всем: в начале было Слово.
Важнее Слова вещи в мире нет.
Мы Слово услышали в Миассово
Тому назад – уж двадцать с лишним лет.
Ведь человек и суетен, и грешен,
Не отличает в слепоте своей
Немногие существенные вещи
От многих несущественных вещей.*

*Чему Вы только нас ни обучали,
Но если все до афоризма сжать,
То главное: и в счастье, и в печали
Существенное в жизни отличать.*

В шестидесятые годы Тимофеев-Ресовский работал в Обнинске под Москвой. Приезжая в Москву, он ночевал у Блюма, и они вели долгие беседы о науке, людях и жизни. Блюм бесконечно его уважал и говорил мне, что никогда не встречал более внутренне свободного и порядочного человека, при любых обстоятельствах – в гитлеровской ли Германии, в советских ли лагерях – остававшегося только самим собой.

В Советском Союзе контакты Тимофеева-Ресовского с зарубежными учёными были полностью обрезаны. В начале шестидесятых годов в Москве проходил большой международный биохимический конгресс с биофизическим уклоном. Съехалось много западных учёных, среди них бывшие западные коллеги Тимофеева-Ресовского. Они интересовались им и хотели с ним встретиться. Блюм услышал, как один из организаторов конгресса ответил, что Тимофеева-Ресовского нет на конгрессе, потому что он тяжело болен. Не помню точно: то ли Блюм привёз «больного» Тимофеева-Ресовского на конгресс, то ли объяснил западным коллегам, чем «болен» Тимофеев-Ресовский. Этого ему, конечно, не простили: на его заграничные поездки был наложен десятилетний «карантин». При резком дефиците зарубежной научной литературы это было равносильно перекрытию кислорода. Блюму потом «по дружбе» показали донос, на основании которого он был наказан. Он долго не хотел открывать мне имя его автора, но в конце концов под моим давлением сдался. Это оказался человек, сыгравший огромную спасительную роль в моей личной судьбе: облечённый большой властью, он боролся за меня с системой и победил, и я благодарна ему по гроб жизни. И правда, лучше бы Блюм мне не говорил. Что водило его рукой в случае с Блюмом? Воистину, бывали хуже времена, но не было подлей...

История о том, как я чуть не осиротила мировую биофизику

По-настоящему мы подружились с Блюмом после моего переезда в Америку. Блюм навещал меня несколько раз. Я много работала, но вечера были наши – время прогулок и бесед. История о том, как я, в первый приезд Блюма ко мне в Юту, чуть не осиротила российскую, да и мировую биофизику, заслуживает отдельного рассказа.

Мы втроем – Блюм, мой муж Володя и я – отправились на юг Юты в Национальные парки посмотреть наши невероятные красоты. Это была моя первая большая поездка на выдавшей виды «субару», моей первой американской машине, купленной незадолго до этого за две тысячи долларов.

Виды у нас феерические! Осмотрев всё что положено, под занавес мы отправились к петроглифам: Юта славится своими наскальными рисунками, они включены во многие археологические книги мира.

Тут следует объяснить, что в описываемое время я была бедна, как церковная крыса. Не имела ни статуса (у меня ещё не было даже грин-карты), ни постоянной работы, получала лишь жалкие гроши за преподавание, про которое к тому же никогда не было известно, будет ли такая возможность в следующем семестре. Мы с Володей в самом прямом смысле сэкономили каждую копейку. А бензин в районе Национальных парков стоит почти вдвое дороже, чем за их пределами. Бензин был у меня на исходе, но Володя решительно противился заправке в Парке: петроглифы, по карте довольно близкие, были последней туристической точкой на нашем пути; после них – сразу на хайвэй, где, стоит чуть отъехать, полно дешёвых заправок. Бензин на нормальных заправках стоил в те идиллические времена чуть больше доллара, а в Парках – около двух.

Но, как сказано, это была моя первая поездка на юг Юты. Я плохо ориентировалась и, как видно, проскочила какой-то

указатель и нужный поворот. Мощёная дорога кончилась. Нас вынесло на сумасшедший узкий серпантин над глубокой пропастью. Туда пускают, как позже выяснилось, только специальный транспорт: два или три раза в день проезжают джипы от Национального парка. Джипы, а не моя выдавшая виды «субару»! Назад пути не было: дорога – шириной в одну машину, развернуться никакой возможности; в скале, на довольно большом расстоянии друг от друга, вырублены ниши для пережидания встречной машины, буде такая вдруг появится (нам за долгий день пути не попалась ни одна). Блюм, видя мой мандраж, стал проситься за руль, но не так чтобы очень уверенно и настойчиво. Он сидел рядом со мной, со стороны пропасти, и ему было, наверное, ещё страшнее.

Тут по законам жанра в очень страшном месте, на повороте серпантина, у нас кончился бензин. Мы стоим над пропастью, машина мёртвая, дорога слегка наклонена в сторону обрыва, страховки – какого-нибудь там барьерчика – никакой: это ведь не туристская дорога, да и вообще дорогой не назовёшь. Я до смерти боюсь высоты. Села, прижавшись к скале, но не реву, хотя впервые попала в такой переплёт. Володя с Блюмом тихонько обсуждают ситуацию. Мобильников тогда ещё в помине не было. Да если бы и были – из этого каньона уж точно не было бы никакой связи.

Володя предложил, что пойдёт один вперёд пешком, потому что раз есть дорога, она должна куда-нибудь привести. Будет идти до темноты, и если никуда не придёт, переночует на дороге и завтра двинется дальше. Блюм, слава Богу, ему категорически возражал. Володя Блюма очень уважал, послушался и остался с нами. Так мы сидели у мёртвой машины, и Блюм, чтобы отвлечь меня от тяжёлых мыслей, рассказывал какие-то военные истории.

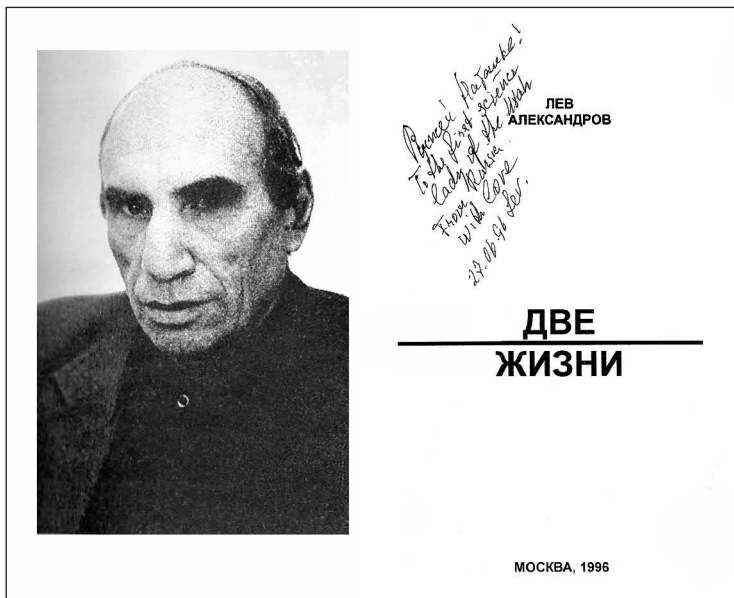
К вечеру подъехал джип с рейнджером. Может, кто-то нас увидел с пролетавшего вертолёта, может, рейнджер просто всегда проверяет эту дорогу перед заходом солнца – не знаю. У него была канистра с галлоном бензина (пять долларов за галлон!).



Автор с Л. Блюменфельдом

Рейнджер сказал, что проехать нам осталось миль семь или десять (не помню), что он будет ехать за нами (а куда ещё ему было ехать!), и что я должна ехать очень медленно, потому что это очень нехороший участок дороги. Когда съедем на твёрдую землю, я должна остановиться, и он даст нам указания, как жить дальше.

В результате ночевали мы в индейской резервации, в ночлежке для сезонных рабочих с полатами в два этажа, с матрасами, но без белья. Кроме нас, там было ещё человек десять. Блюм с Володей спали на верхних полатах, а мне кто-то уступил нижнюю койку. Жаль, не было у меня в ту пору камеры, чтобы запечатлеть украшение мировой биофизики, спящее на верхних полатах в индейской ночлежке.



Утром рейнджер привёз нам ещё бензина (те же пять долларов за галлон!), и мы двинулись в обратный путь. Петроглифов мы так и не увидели.

...Блюм присылал мне из Москвы чудные письма и стихи, некоторые грустные, другие забавные, смешанные русско-английские:

...

*Идя сквозь жизнь по перекресткам сплетен,
Под грудой тяжкою незавершенных дел,
Какую женщину в Америке я встретил,
Какую женщину в России проглядел...*

...

*Когда возможностей поменьше,
Смотри придирчиво на сорт.
Я не люблю ученых женщин,
Которые не Рапопорт.*

14.10.91

Н. Рамопорт.

Иде свобода мысли и широкое
слухом,
Подруги держат неавторитарных слух,
Кому то женщины в Англии с ветрами,
Кому то женщины в России уроды!

Л.

14.10.91.

Воса возможности полетели,
И Сидри предприняло на суд---
И не только звуки те же,
Возраст не Рамопорт.

Л.

Заполотымаюць мёрзавыя,
 там зноў жаўтавыя мёрз.
 Он прымерзвеш, прымерзеш,
 Целенаправлен, как сафёр. (!)

Под уграмаючымі карысам
 Бюджета хліпкіе зыбы.
 Я сямому мёрзкіе згрозы,
 Я вынесу — харае цуц! аз Гомель.

Но все тее мёрзоты вядо сафітэ, —
 В сядз я вярнуся зноў,
 И по дэпютацкай адрэ
 Стрыцця памікарае кроў.

Араб Абодух Сім урадзецк: вонюваеця,
 званым Пагровскою. Мат — хараура
 Шматмалева. Выжамым мелея. Я само
 Худсе, чым 50:50.

Сейчас мизинило каталою тудура кингу.
 Пили ите, конгасуиета, сохраняя
 ивжидельное сго к мюемю вярзачу, мюо-
 тельно и митквом высквом кависувем.
 Проведет и вездеские конгасуиет Вонюсе.
 Миле клависетя

А. А. Пингвинцевич.

...
*Устав от химфизических морд,
От бардака и неюта,
I came to charming Panopom
First Science-Lady of the Utah.
I stay here only one short week
И раз в два года или реже,
Но кажется, уже привык
Быть рядом с нею - what a pleasure!*

...
*Нет на свете ни чужих, ни наших,
Все преграды на пути круша,
Борется отчаянно Наташа
В одиночку против США.*

*Я пришёл, и только время отнял,
Только сбил с привычного пути.
Это всё кончается сегодня.
До свиданья, милая, прости.*

Последнее стихотворение имеет свою грустную историю. Чтобы выжить в Штатах, я работала как бешеная. Блюм приезжал ко мне не часто и считал, что во время его визитов я могла бы уделять ему больше внимания и меньше работать. Он давно уже находился совсем в другой весовой категории, лекций не читал и был полным хозяином своего времени. Он попросту забыл, как работают люди, которые ходят на службу каждый день.

А я хозяйкой своего времени не была. Я много преподавала – преподавание было тогда основным источником моего скудного дохода, и судьба моя зависела от отзывов, которые студенты пишут на каждого педагога по окончании курса, а эти сукины дети не прощают педагогу ни опоздания на полминуты, ни недостаточной подготовки к уроку. Для них и смерть педагога не

является уважительной причиной для неявки в класс: умри, но приди! Блюм этого понять не хотел и обижался на меня, а я, в свою очередь, обижалась, что он не хочет понять мою ситуацию. Так между нами пробежала единственная тень взаимонепонимания... Я об этом очень жалею.

...У Блюма вышла книга стихов. Чтобы заранее меня обезвредить, надписал он мне её так: «Наташке. Эти стихи нравятся людям с сильно развитым художественным вкусом. Помни это, читая. Л.». Я помню. И могу сказать без малейшего преувеличения: Блюм был Поэтом. Я обещала вам привести некоторые строфы из «Истории Государства Российского от Гостомысла до наших дней», дописанные Блюмом через сто тридцать лет после завершения поэмы графом Алексеем Константиновичем Толстым. Выполняю это обещание:

...

*Итак, собравшись с духом,
Рассказ начну я свой
С того, о чём так глухо
Поведал граф Толстой.*

...

*Ни капельки порядка
Ни дома, ни в стране,
А если очень гадко,
То, значит, быть войне.*

...

*Царь слаб, жесток и гадок.
Поверил весь народ,
Что без него порядок
В Россию сам придёт.*

*И на девятом месяце,
Холодную зимой
В российском страшном месиве
Родился новый строй.*

*И на Российской сцене
Верховный принял чин
Ульянов, он же Ленин,
Симбирский дворянин.*

*Своё имея кредо,
На радость всей страны,
Пред самую победой
Он вышел из войны.*

...

*Все, впрочем, слепы были.
То лаской, то кнутом
Иосиф Джугашвили
В три года стал вождём.*

*И правил конопатый
Россией тридцать лет.
Земля уж не богата,
Порядка тоже нет.*

*О том, что дальше было,
О том, что есть сейчас,
Я попросту не в силах
Продолжить свой рассказ.*

...

*Но помня обещанье,
Вполне в своём уме
Я выдам на прощанье
Такое резюме.*

*Не знаю, как другие,
Но я могу сказать:
Не надобно в России
Порядок насаждать!*

В надежде разобраться
Хотя б на склоне лет
Писал всё это, братцы,
Не граф, а Лёвин дед.

Награди же.
Эта стихи переводятся
могу же с самых изыскан
Хорошо выполнен
Коллекция 2001 г.
18.12.01.

Лев Блюменфельд

СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Москва • 2001



УРСС

В одном из стихотворений Блюм писал: «Придёт последняя минута, и не окончится она»... Это произошло 3-го сентября 2002 года.



ПАШКА, ПАВЛИК, ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ БУТЯГИН

Павел Юрьевич Бутягин был близким другом Мошковского и Блюма, а на каком-то отрезке жизни и моим.

Снаружи его жизнь казалась таинственной и прекрасной. Павлик умел напустить туману. Прошло время, прежде чем я поняла, что за пышным занавесом разыгрывалась тяжёлая трагедия. Трагедия – не мой жанр, она останется за кадром. Я просто расскажу вам несколько эпизодов из жизни этого обаятельного человека, большого учёного и великого мастера розыгрыша (далеко не всегда безобидного).

В своей научной области Павлик был корифей мирового масштаба. К корифеям я отношусь с придыханием и внутренне ахнула, когда Павлик неожиданно появился в моей лаборатории

и сказал, что ему надо со мной поговорить. Речь пошла о его сыне Егоре, чьи обмаранные пелёнки Павлик менял у нас на даче лет двадцать пять тому назад. Я, конечно, знала, что сын Бутыгина работает в Химфизике в лаборатории Шляпинтоха («Шляпы» моего детства), но эта информация за ненадобностью хранилась где-то далеко на периферии сознания. Мне пришлось её оттуда экстренно извлекать, потому что Павлик сообщил, что Егор написал кандидатскую диссертацию и готов к её защите. Диссертации требуется оппонент, и выбор пал на меня как на наиболее подходящую фигуру, способную разобраться в тонкостях работы. Я изумилась и ахнула уже вслух. Оппоненты диссертаций, которых я повидала на своём веку, были солидными, маститыми учёными в больших очках, я же со своей копной рыжих волос и весёлым нравом выглядела молодо и несолидно. «Что вы, Павел Юрьевич, как можно! Посмотрите на меня. Какой я оппонент?! Это несерьёзно. Я никогда не оппонировала и не готова». – «Во-первых, надо когда-то начинать. То, что вы не член учёного совета – это только вопрос времени. Во-вторых, мы всё серьёзно обсудили с Виктором Яковлевичем («Шляпой») – лучшего, чем вы, оппонента для Егоровой работы не найти. Вы специалист в этой области, получали премии на конкурсе научных работ института, вас знают, вы на хорошем счету. Завтра Егор принесёт вам работу, и вы сможете его о ней расспросить. В какое время вам удобно?». Я не была готова к такой стремительной атаке. Свои аргументы я уже исчерпала, новых не нашла и сдалась. Выходя, Павлик на секунду обернулся, ослепил меня своей фирменной лукавой улыбкой – словно подмигнул – и сказал: «Я рад, что мы с вами снова встретились».

Назавтра, как условились, пришёл Егор со своей диссертацией. Высокий, темноволосый и до ужаса худой. Был бы, наверное, по-настоящему красив строгой мужской красотой, если бы не глубоко запавшие щёки и тревожные глаза. А впрочем, он и такой был красив. Меня тронуло, что он смотрел на меня то ли с великим уважением, то ли с ужасом, при этом страшно волновался и,

рассказывая о работе, захлёбывался словами. В таком состоянии я его больше не видела никогда в жизни.

Работа была прекрасная. А чего ещё ожидать, если помимо Егора к ней приложили руку два таких гиганта, как Шляпа и Павлик! Но они перестарались, а у меня не хватало опыта найти в диссертации положенные «замеченные недостатки», и я страшно мучилась, пытаюсь их отыскать. Я волновалась, наверное, не меньше, чем Егор. Сбегала в парикмахерскую, отсидела очередь, урезонила рыжие патлы и обзавелась на затылке уродливым кукишем старой девы. Защита, исход которой был, конечно, предрешен, прошла без потерь для диссертанта и оппонента.

Потом был банкет. Там я впервые увидела весь бутягинский клан и не могла, конечно, предполагать, что эти люди, вчера ещё далёкие и незнакомые, уже стали частью моей жизни.

Полная красивая громкоголосая дама – Марианна Таврог, жена Павлика (для домашних и друзей просто Марьяна) – царила на банкете. Она мне не понравилась. Её было слишком много, словно это она, а не её сын Егор, защитила сегодня кандидатскую диссертацию. В какой-то степени так оно и было, но тогда я этого ещё не понимала. По мере развития наших отношений, моё первое впечатление о Марианне не изменилось, разве что усугубилось: она выглядела самоуверенной и властной, иногда на грани высокомерия. Внутренним взглядом я видела её крупным комсомольским деятелем или, скажем, кавалерист-девицей на жеребце в Первой конной, с шашкой наголо, а она оказалась режиссёром документального кино. Интересно, что моё первое интуитивное впечатление нашло потом неожиданное подтверждение в памятном всем друзьям эпизоде из её с Павликом ранней молодости. Влюбившись, Павлик привёл Марианну к Фёдоровым-Рошалам (о них ниже) на встречу Нового года. Об отношении Павлика и его друзей к советской власти объяснять ничего не надо. У многих отцы сидели или были расстреляны. И вот бьют куранты, встаёт Марианна и провозглашает первый тост Нового года за... товарища Сталина. Наступила гробовая тишина. Все взоры обратились

на Павлика. «Ничего ребята, я её перевоспитаю», – сказал ошарашенный Павлик. И, надо отдать ему должное, перевоспитал, но повадка комсомольского лидера в ней осталась. Может быть, без таких качеств невозможно работать человеку её профессии.

Марианна снимала хорошие фильмы. Даже замечательные. Я бывала на её вечерах в Доме кино и видела фильмы о Маршаке, Чуковском, Светлове, Шагале, Тышлере, Раневской, старой гвардии МХАТа, художниках еврейского театра. После одного такого вечера я сказала Юлику Даниэлю (я всегда делилась с ним своими восторгами и сомнениями): «Не пойму, как Марьяне удаётся снимать такое хорошее кино. В жизни она, по-моему, не видит дальше поверхности. Взгляд упал на поверхность и отразился, как в физике Пёрышкина для шестого класса: угол падения равен углу отражения. А фильмы при этом снимает хорошие. Это для меня – парадокс». – «Милый друг, – возразил мне Юлик, – нет никакого парадокса. Марианна – крепкий профессионал. Хорошо понимает, кого снимать и, кстати, с кем снимать. Вы обратили внимание на её сценаристов? Нет? – напрасно. Она работает с Натальей Крымовой, с Майей Туровской. Но и они работают с ней. Это о многом говорит». Я не могла с ним не согласиться. Но теплоты в наших с ней отношениях не было никогда.

Дом Даниэлей и дом Марьяны (ибо дом Бутягиных был, конечно, домом *Марьяны*) – занимали большое место в моей жизни. В моём представлении это были антиподы. В доме Даниэлей было принято и обласкано всё молодое, свежее и талантливое. В дом Марьяны, как мне казалось, пускали только по предъявлению лауреатского значка или удостоверения народного артиста. «Не сходитесь! – скажете вы. – Ты тоже там бывала!» – «Ну, бывала, – отвечу я вам. – Потому что меня любили "дети", и я любила их и с ними приходила». И, значит, пора мне познакомить вас поближе с Егором и его женой Таней. Вернёмся на банкет.

Хотя царила на банкете Марьяна, моё внимание привлекла незнакомая девушка, хохотавшая в компании молодых Шляпинтоховских сотрудников. Густые длинные волнистые во-

лосы дивной красоты. Лицо... не скажу, что красивое – во всяком случае, не в банальном голливудском понимании красоты, но такое, что раз увидишь – не забудешь. Хотя я точно знала, что вижу её впервые, это лицо казалось мне смутно знакомым. Я протиснулась к Павлику: «Вон та девушка – кто это?» – «Та девушка? Тебя что, не представили? – удивился Павлик. – Это Танька, жена Егора. Между прочим, внучка Якова Кивовича Сыркина, дочка Флоры Сыркиной. Флора была замужем за Тышлером, Танька выросла в его семье», – сообщил Павлик и посмотрел, произвело ли это на меня должное впечатление. Ещё как произвело. – «Танька – художница. Пойдём, я тебя познакомлю». Павлик говорил с откровенной гордостью – и за Танькину родословную, и за саму Таньку. Он был навеселе, и легко и естественно перешёл со мной на «ты», от чего в душе моей запели скрипки.

«Выросла в семье Тышлера». Вот оно что. Вот почему мне кажется, что я её раньше видела. Незадолго до того, как я вылетела из Карповского института, у нас была там выставка Тышлера: в те годы в научно-исследовательских институтах, бывало, устраивали несанкционированные выставки замечательных художников, не признанных властью. Тышлер меня поразил. Даже мне, тёмной и неискущённой, было ясно, что у него рука гения. После окончания выставки его картины долго стояли у меня перед глазами. И сейчас меня осенило, что на них как-то неуловимо присутствовала Танька.

Павлик представил меня церемонно, со свойственной ему хитрецей и подтекстом: «Тань, познакомься с нашим оппонентом: Наталья Яковлевна». Я поправила: «Наташа». У Таньки был прямой взгляд и крепкое рукопожатие. Я люблю людей с крепким рукопожатием. Меня поразило её самообладание. Егор напился, его развезло. Он волочился за каждой юбкой, не исключая и мою, оппонентскую. Мне было за него ужасно стыдно, я бы его убила. А Таня даже не смотрела в его сторону. Во всём её облике читались сила и независимость. Она мне очень понравилась.

– Павел Юрьевич сказал, что Вы – художница.

– От слова худо, – захохотала Таня. – Я делаю «какашки» из керамики. Приходите к нам, я их вам покажу.

– Когда?

– Да хоть завтра. А правда, приходите завтра!

Я пришла на следующий день. Таня с Егором жили на улице Горького, в старой московской квартире – попал туда, я вспомнила квартиру булгаковского профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Квартира была большая, Таня даже оборудовала там свою керамическую мастерскую.

Егор был уже в полном порядке: обаятельный, интеллигентный молодой человек, с мягким юмором. Я поняла тогда, за что Таня его полюбила и почему вышла за него замуж. Этому браку было на тот момент около десяти лет. Мы провели чудный вечер втроём и незаметно перешли на «ты», а вскоре и на «Танька» – «Наташка».

В квартире висели и сидели замечательные театральные куклы. Я сразу обратила на них внимание, потому что моя подруга Ирина Уварова, жена Юлия Даниэля, работала художником кукольных театров, и у меня развился на кукол специальный «глаз».

– Чьи это куклы?

– Мои. Я работала у Образцова.

– Потрясающие куклы! Почему ты ушла?

– Там надо было ходить на работу. Художник не может заниматься подённой работой от восьми до пяти, это его убивает.

Танька перешла на керамику, на вольные хлеба, и отныне в своей работе принадлежала только себе. Её керамические «какашки» оказались тонкими и изящными серёжками и подвесками, имевшими среди знакомых и эстетический, и коммерческий успех. Танька «на них жила». Я их неосторожно похвалила, и Танька мне немедленно много надарила, невзирая на мои протесты. Я люблю их и ношу по сей день: они вне моды и времени.

После этого вечера мы стали часто встречаться. Я познакомилась с нашей дочерью Викой и с Ириной Уваровой.

Как искусствовед Ирина была хорошо знакома с живописью и театральными работами Тышлера и ставила его на высочайший пьедестал. Мне она сказала, что когда-то очень хотела написать статью о Тышлере, но убоялась Танькиной матери Флоры, которая эту тему «приватизировала».

Ирина встретила Таньку с радостным интересом и тотчас взяла их с Викой в оборот (Вика была тогда на третьем курсе Художественного училища, на театральном отделении). В то время Ирина работала художником на постановке спектакля «Макбет» в Тюменском кукольном театре. «Макбет», если помните, довольно кровавая история. Горы трупов и лужи крови. По замыслу режиссёра и Ирины, в спектакле должны были действовать равно куклы и люди. В костюмах основных персонажей были сделаны ниши, в которые помещались «куклы-души». Когда героя убивали, куклы-души выпадали из своих ниш. Этим кукол надо было придумать, нарисовать и изготовить, и Ирина попросила об этом Таньку. Лучшего кукольного художника для такого проекта она вряд ли нашла бы. Таньку зацепило, и она по уши ушла в работу. Куклы получились поразительные! Раз в десять меньше по размеру, чем сам персонаж, они сидели себе в глубокой костюмной нише, но непостижимым образом жили своей жизнью – играли.

В свою очередь Вика делала для «Макбета» какие-то маски, но её вклад был небольшим, потому что как раз в это время у неё возникли крупные неприятности с эскизами и макетом к опере «Нос» Шостаковича, опрометчиво выбранной ею для курсовой работы в Художественном училище. Прослушав партитуру, она соорудила любопытный макет из стеклянных трубочек, колбочек, спиралек и прочего алхимического реквизита, который я натаскала ей из своей лаборатории. Мосты, река, Невский проспект – почти всё было сооружено из стекла и зеркал. Приёмная комиссия приказала немедленно разобрать этот «перегонный аппарат». Эскизы тоже пришлись не ко двору. Вике пришлось брать другую пьесу и начинать всё сначала. Она впала в глубо-

кое уныние и готова была бросить училище, так что «Макбет» был ей под настроение, но не ко времени... К слову сказать, чуть больше года спустя те же самые эскизы к «Носу» были приняты на престижную Молодёжную художественную выставку на Кузнецком мосту.

...Тот Новый год мы встречали у старших Бутягиных. Я написала каждому участнику небольшое посвящение, отразившее какое-то важное событие года.

Вике:

*Сто лет я мучился вопросом,
Как быть мне с гоголевским «Носом».
Но, посмотрев Ваш вариант,
Я в восхищении.*

Рембрандт

Таньке:

*Борьба таланта с ленью
Кончается Тюменью.
И так уж триста лет.
Приветик!*

Ваш Макбет

Замечу в скобках, что слово «лень» в первой строке этого четверостишия (в отличие от слова «талант»!) не имеет никакого отношения к объекту воспевания, истинному трудоголику. Я не устояла перед соблазнительной рифмой «ленью – Тюменью». Мой друг Марк Копелев написал как-то, что слова «враньё» и «ложь» теряют негативный оттенок, стоит лишь заменить «враньё» на «вымысел» да прибавить эпитет «художественный». Копелеву хорошо, он пишет рассказы, а какой рассказ без вранья. Но мемуарист не имеет права на вымысел,

даже художественный. Поэтому если я сочинила что-то для красного словца – как в случае с Танькой – сразу в этом признаюсь. И дальше буду, можете не сомневаться.

Марьяна и Павлик тоже получили по четверостишию. В них обыграно, помимо прочего, бутягинское семейное слово «приветик».

Марьяне:

Фильмов – два, шедевров – пара.

Вам приветик от Оскара.

Я в восторге аж до крика.

Ваш сердечно.

Федерико

Павлику:

Я шлю привет и ласку.

Спасибо за подсказку.

Без вас допёр бы я навряд,

Что E равно Эм Цэ квадрат.

Письмо кладу в конверт.

Приветик.

Ваш Альберт

...После защиты я видела Егора в Институте всего несколько раз. Вскоре он исчез. Я спросила об этом Таньку.

– Егор больше в Институте не работает.

– Куда он перешёл?

– Никуда.

– Как никуда? Чем же он занимается?

– Извозом. На машине ездит. Людей на улице подбирает и развозит. Как частное такси.

Это сообщение меня ошеломило.

– Зачем же надо было защищать диссертацию?! Он что, своим пассажирам предъявляет кандидатский диплом?!

– Он плохо себя чувствует. Ему надо передохнуть. И вообще диссертацию он сделал не для себя, а для Марьяны и Павлика. Им это было важно, и он выполнил свой сыновний долг.

То, что у Егора не атлетическое здоровье, было видно невооружённым глазом ещё при первой встрече. Я поняла, что он надорвался, но мне всё равно трудно было это переварить. Я выросла в семье, где все работали с утра до ночи, днём – в государственных учреждениях, вечерами дома папа редактировал медицинскую энциклопедию или смотрел в микроскоп какие-то препараты, а мама писала научные статьи со своими аспирантами. Я знала, что и мне уготована та же участь, и другой жизни себе не мыслила. И вдруг тут, совсем рядом, Танька, живущая на вольных хлебах, а теперь и Егор туда же. В художественной среде, где выросла Танька, никто никогда не служил от звонка до звонка: творческим людям это противопоказано. Отец Таньки был драматург и писал пьесы дома; отчим – художник Тышлер – работал в своей мастерской; мама – искусствовед – ходила в свой Институт истории и теории изобразительного искусства раз в неделю, в присутственный день. Это был совсем другой и, что греха таить, чрезвычайно привлекательный для меня стиль жизни, но мне, привязанной к лаборатории, такая жизнь, увы, не светила...

Кстати, в девяностых годах егоровские занятия извозом уже никого бы не удивили. Учёным тогда перестали платить зарплату и просили не включать приборы, ибо институтам нечем было платить за электричество. Сотрудникам рекомендовали уйти в безразмерный неоплачиваемый отпуск. Чтобы выжить, кандидаты и даже доктора наук сели за руль, стали развозить по магазинам японские зонтики или стоять за кассой. Егор просто на полтора десятка лет опередил своё время. Открыл, можно сказать, новое научное направление.

Между тем в семье у него назревали тяжёлые проблемы. В конце концов Танька с Егором расстались. Для Марьяны и Павлика это была потеря, близкая к трагедии.

После развода Танька довольно быстро вышла замуж, на этот раз за сына Павликова близкого друга. И если Егор ушёл «в свободные художники» только после защиты кандидатской диссертации, то Коля – новый Танин муж – не работал нигде и никогда, и даже в институте не доучился. Ему это было не нужно: у него были золотые руки и золотая голова. Он мог вернуть к жизни часы любой марки и сложности, независимо от их размера, типа, красоты и века изготовления; хорошо разбирался в ювелирных украшениях и был не промах в бизнесе. Такой род деятельности в Советском Союзе вполне мог быть квалифицирован как тунеядство и был чреват судом и ссылкой. И вот, когда в 1986 году я защитила докторскую диссертацию, Танька, к моему удивлению, начала вдруг трогательно беспокоиться о её судьбе: часто звонила, интересовалась, утвердил ли меня ВАК. Наконец это свершилось.

– Замечательно! – обрадовалась Танька, – поздравляю! Теперь ты – доктор наук, и тебе нужен секретарь.

– Что-что мне нужно? – не поняла я. – Зачем мне секретарь?

– Затем, что ты теперь доктор наук и имеешь право завести себе секретаря. По закону. Подумай сама: какой ты доктор наук без секретаря?

Я начала наконец понемногу въезжать в тему:

– Я правильно поняла, что у тебя есть кандидат на эту должность?

– Да, и с самыми хорошими рекомендациями. От меня. Мы всё уже выяснили. Вы с Колей должны съездить вдвоём в профсоюз и подписать контракт. Всё остальное Коля берёт на себя.

Деваться мне было некуда, и мы оформили контракт. Моим единственным условием было, чтобы больше ко мне ни с какими бумажками не приставали. Так у меня появился научный «секретарь». Коля исправно платил профсоюзу налог со своей несуществующей зарплаты, плюс какие-то копейки от моего имени за право иметь секретаря.

В 1990-м году я навсегда улетела в Америку. В один из моих редких приездов в Москву, году, кажется в 1997-м, Коля меня отыскал.

– Наталья Яковлевна? Говорит ваш научный секретарь. Наташ, у меня для тебя плохая новость: я увольняюсь!

Перестройка позволила Коле открыть забрало и отказаться от престижной, но не слишком хлебной профессии моего «секретаря».

...В конце восьмидесятых Танька полетела в Штаты навещать сестру Любу, улетевшую из России в незапамятные времена с американским мужем. Америка пришлась Таньке по душе, и в Россию она не вернулась. Живёт теперь недалеко от Чикаго, продолжает ваять замечательные керамические плитки и «какашки» дивной красоты и счастлива. Коле Америка не понравилась, он вернулся в Москву.

Егор в конце концов женился ещё раз. Он был тяжело больной человек и умер, не дожив до шестидесяти двух лет.

Но я-то ведь хотела написать о Павлике, а всё хожу вокруг да около. Писать о нём трудно. Павлик был очень закрытым человеком. Бесконечно обаятельным, безупречно порядочным, безгранично доброжелательным – и очень закрытым. Наши профессиональные отношения сразу выношу за скобки: Павлик был гигант – я рядом с ним если не пигмей, то человек нормального среднего роста. Я слушала его лекции для студентов физтеха дважды (!) – и старательно у него училась и предмету, и педагогической технике. Это потом очень помогло мне в Штатах. Но связывавшая нас профессиональная нить была, так сказать, на авансцене. Была вторая нить, протянутая за кулисами. Я дружила с Егором и Таней, была принята в семье и многое, происходившее за пышным фасадом и скрытое от постороннего глаза, видела и понимала. Павлик это знал. Мы об этом никогда не говорили, но молчали оба об одном и том же. Одно-два слова, и те полунамёками, успешно заменяли ненужные разговоры. Марьяна, по-моему, до конца жизни так в чём-то важным и не разобралась.

Павлик был, конечно, Марьяне очень предан, что не мешало ему позволять себе маленькие плотские радости. Это, как я заметила, у сильного пола случается сплошь да рядом, почти как норма жизни: семья – святое, а подруги – их никто не неволит; сами летят на огонёк, сами и обжигаются. Как-то я болтала с Юликом Даниэлем на эту тему, как раз в связи с Павликом и его мимолётным романом, произошедшим у меня на глазах, и Юлик сказал: «Милый друг, от такой женщины, как Марьяна, уходят только через окно девятого этажа!».

У Марьяны были свои радости – светские, Павлика они не слишком интересовали, он спасался от них работой. Но – что греха таить – любил он, как бы между прочим, легко, вскользь, как бабочка крылом, намекнуть о застольной встрече с какой-нибудь знаменитой персоной из Марьяниного мира или о фильме, показанном сугубо узкому кругу в закрытом зале Дома кино.

На лето Бутягины обычно снимали сарайчик в Пахре, где у меня было много друзей, и я довольно часто к Бутягиным заскакивала. И всегда заставляла одну и ту же картину:

Марьяна общалась, Павлик работал. Наука была его жизнью. Но подозреваю, что был тут и дополнительный фактор: погружаясь в работу, Павлик отгораживался от Марьяниного комсомольского задора, и не «тонкой проволокой» из «Весёлого архива», а надёжной крепостной стеной. Ибо, когда Павлик работал, тревожить его было не положено. Единственное исключение – если предполагалось застолье: в этом случае Павлик был «всегда готов». Выпивший Павлик держался крепко, его не развозило, как Егора, он себя контролировал и был, в зависимости от дозы, либо лёгок и обворожителен, либо засыпал.

Меня Марьяна терпеть не могла, потому что начало моей дружбы с Таней совпало по времени с концом Таниного брака с Егором, и она считала меня ответственной за это несчастье. Но совпадение во времени и причинно-следственная связь – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Причина лежала, конечно, гораздо глубже, и я была абсолютно ни при чём.

...Самыми близкими Павликовыми друзьями были Блюм и Жора Фёдоров. К Марьянинному кругу оба не принадлежали.

О Георгии Борисовиче Фёдорове я должна рассказать особо.

Жора Фёдоров и эффект Бутягина¹

– Наташа, приезжайте немедленно. У нас в гостях Боря Носик. Такой, знаете ли, французский писатель и большой шалун. Вы читали его «Коктебель». Так вот, вы имеете сегодня шанс стать его девятьсот шестой пассией. Как, вы еще не выехали?! Милочка, вы не одна на свете. Если не поторопитесь, рискуете стать девятьсот седьмой! — так в воскресный день зазывал меня приехать в город Климовск Георгий Борисович Федоров.

Это был замечательный дом: безалаберный, теплый, гостеприимный, с мебелью, изодранной многочисленными кошками и просиженной бесчисленными гостями. Ситуацию в доме контролировал огромный лохматый дворовый пес Петька, которому любящие хозяева присудили какую-то редкостную породу. Дом стоял около реки, отгороженный густым лесом от загазованной московской суеты. Формально он принадлежал городу Климовску, который легко сошел бы за большую деревню, если б не мешали этому многоэтажные каменные здания горкома партии и Дворца культуры да гигантский Ленин с вытянутой рукой, указующей на расположенный рядом военный завод. Город, собственно, и вырос вокруг этого завода и потому считался закрытым. Чета Федоровых — профессор-археолог Георгий Борисович Федоров и его жена, кинорежиссер Майя Рошаль, переехали сюда в семидесятых годах, спасаясь от повторных инфарктов ГЭБэ, как за глаза называли Георгия Борисовича друзья. Кстати, я не встречала другого человека, который бы так по-детски трогательно хвастался своими инфарктами.

1 Впервые опубликовано в книге «То ли было, то ли небыло», изд-во Пушкинского фонда, 1998 г. Здесь публикуется в отредактированном и сокращённом варианте.

— У меня было семь инфарктов и два отека легких, — сообщил мне ГэБэ при первом же знакомстве. — И два обыска! — добавил он радостно, и я сразу поняла, что этому человеку есть чем гордиться.

ГэБэ был личностью легендарной. Археолог, он много путешествовал, совершал удивительные открытия, а попутно прятал в своих экспедициях диссидентствующих друзей, спасая их от вполне реальных угроз со стороны грозного «тезки». «Скрывался от ГБ в экспедиции у ГэБэ», — не раз и не два слышала я о разных знакомых и незнакомых мне людях. Формально ГэБэ диссидентом не считался, но, как всякий русский интеллигент, имел внушительный счет к «Софье Власьевне». ГэБэ знал множество интереснейших историй, замечательно их рассказывал, его можно было слушать часами, даже когда он повторял в десятый раз знакомую историю. Очень любил рассказывать, например, как он делал предложение своей будущей жене. Году, кажется, в сорок пятом, гуляя с красавицей Майей Рошаль по берегу Волхова, ГэБэ произнес: «Я вас люблю и сейчас сделаю вам предложение. Но сначала я должен открыть вам страшную тайну: я ненавижу Сталина!». То ли это ее не испугало, то ли любовь оказалась сильнее страха, но только они поженились и счастливо прожили вместе около пятидесяти лет...

Друзья молодости (и я за глаза) звали ГэБэ Жора.

...Переехав из Москвы в Климовск, Жора Фёдоров совершенно изменил лицо города. Перед его обаянием спасовали даже работники отдела культуры горкома партии, и в Климовск начали наезжать Жорины друзья. Жора устраивал в Климовске такие концерты и выставки, о которых в Москве и мечтать не приходилось. Чуть ли не первым экраном в климовском Дворце культуры показывал свои фильмы Рязанов. Однажды, приехав к Федоровым, я увидела во дворе невысокого раскосого человека, безуспешно боровшегося с пинг-понговой сеткой. Он курсировал вокруг стола, пытаясь и так и сяк пристроить непослушные стойки, но всё как-то не выходило, и я уже открыла было рот, чтобы

дать ему через окно какую-то рекомендацию, как незадачливый Жорин гость замурлыкал что-то себе под нос, и меня вдруг осенило: ёлки-палки, да это ж Юлий Ким! Рекомендацию давать расхотелось. Лучший в моей жизни концерт Кима я слышала в климовском Доме культуры.

Жора с Павликом любили розыгрыши и постоянно друг друга разыгрывали. Иногда эти розыгрыши были чреваты тяжёлыми последствиями. Жора написал об этих розыгрышах прелестный рассказ и опубликовал его в какой-то местной газете. К сожалению, рассказ у меня не сохранился, и я восстанавливаю описанные там события по памяти.

Тут надо сначала объяснить две вещи. Павлик и Марьяна были большие любители путешествовать. Это раз. Марьяна была очень ревнива («ревнует солонку к перечнице», – говаривала Танька). Это два. На этом и сыграл Жора, готовя Павлику подарок от общих друзей к докторской защите. Когда огласили результаты голосования (разумеется, единогласного), в глубине сцены раздвинулся занавес, а за ним оказались прекрасная туристская палатка и надутая резиновая лодка. Восхищенный Павлик бросился к палатке, и тотчас оттуда, покачивая бедрами, выплыла ему навстречу красотка-блондинка в очень смелом купальном костюме (ее играла одна из лаборанток).

– Чур меня, чур, – закричал Павлик в притворном ужасе. Он не зря обеспокоился: прошло какое-то время, прежде чем ему удалось восстановить семейный мир и утрясти отношения Марьяны с Жорой.

Павлик отомстил. Жора был в экспедиции в Молдавии, когда туда неожиданно пришла телеграмма, подписанная заместителем директора Института археологии Академии наук, где Жора работал. В телеграмме сообщалось, что Институт выдвигает Жору в члены-корреспонденты Академии наук СССР и ему надлежит срочно вернуться в Москву для сбора необходимых документов, которых требовалось представить штук двадцать пять. Жора принял все за чистую монету, оста-

вил экспедицию, вылетел в Москву и довольно долго собирал перечисленные в телеграмме документы. Наконец, он принес их ученому секретарю института. Тот несказанно удивился, и только тут обнаружился подвох.

Теперь очередь была за Жорой, и он не остался в долгу. Незадолго до описываемых событий в Москве по приглашению Академии Наук СССР побывал лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг, автор уже упомянутой теории резонанса. Его принимали на самом высоком уровне, и, конечно, в торжествах по поводу приезда Полинга активно участвовал Нобелевский лауреат с советской стороны, директор Института химфизики академик Семенов. И вот Семенову приходит телеграмма из-за рубежа. Латинскими буквами написан короткий русский текст: «Москва. Академику Семенову. Сердечно поздравляю замечательным открытием – эффектом Бутягина тчк Полинг тчк». Семенов рассвирепел. Как! Он, директор института, последним узнает о совершенном в институте открытии?! И как посмел Бутягин дать информацию об открытии за рубеж прежде, чем работа была доложена на ученом совете института и по достоинству оценена советскими коллегами?! Семенов вызвал Бутягина и страшно на него кричал. Тот никак не мог понять, в чем дело, и только когда разъяренный Семенов швырнул ему телеграмму, Павлик сообразил, «откуда дровишки»... Он попытался объяснить Семенову, что это розыгрыш, но тот был настолько разъярен, а невразумительные объяснения Павлика звучали столь нелепо, что потребовалось время и все Марьянино обаяние, чтобы утрясти конфликт Павлика с директором института... Вот так подшучивали друг над другом Жора Фёдоров и Павлик.

...После внезапной смерти Марьяны на даче на Николиной горе – Павлику было хорошо за восемьдесят – в его жизни очень быстро появилась другая женщина. Он довольно долго скрывал её от близких. Она была на несколько десятков лет моложе его и замужем. О ней говорили разное. Я её никогда не встречала и лучше промолчу.

Павлик умер, когда я летела над океаном из Солт-Лейк-Сити в Москву. Вышло, что я прилетела на похороны и поминки. На поминках вспоминали разные истории. Художник Рубен Васильевич Сурьянинов рассказал о двух розыгрышах, которых я не знала. Во время какой-то вечеринки, где было большое скопление друзей и все, конечно, хорошо выпили, Павлик, как часто бывало, исчез минут на двадцать, но этого никто не заметил. Оказалось, что он спустился во двор и поменял местами номера всех автомобилей. Ночью подвоха никто не заметил. Проблемы вскрылись утром, и немалые: каждой жертве пришлось обзванивать всех участников вчерашнего застолья, чтобы найти, на чьей именно машине сидит его номер. Прямо скажем, не слишком безобидная шутка.

Вторая история связана с «новосельем» Сурьянинова: он получил новую мастерскую на верхнем этаже большого дома. Весь верхний этаж был отдан художникам. Снаружи тянулся балкон, на него выходили двери мастерских. Как обычно, Павлик на какое-то время исчез с застолья. Вернулся очень довольный. А через несколько дней к Рубену Сурьянину стайками потянулись соседи-художники за телефоном его друга, профессора-психиатра, который забегал к ним познакомиться и каждого обещал устроить в психиатрическое отделение академической больницы недалеко от Николиной горы, что было эквивалентно бесплатному отдыху в санаторных условиях на свежем воздухе. Профессор был навеселе и своего телефона не помнил, но обещал, что телефон они смогут получить у Сурьянинова.

Меня попросили выступить на Павликовой панихиде. Годы и расстояние многое изменили. Павлик не написал мне в Штаты ни строчки. В гробу лежал человек, которого я совсем не знала, и речь моя получилась пустой и невнятной.

Флора Сыркина

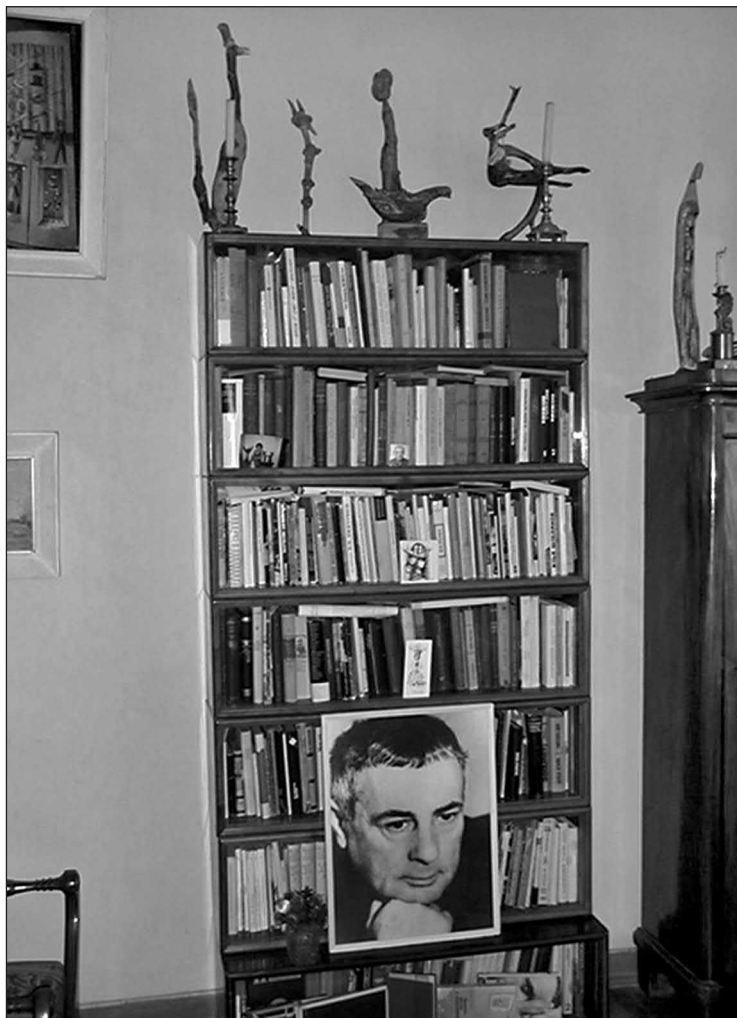
Как мама Тани, жены Егора, Флора Сыркина в течение десяти лет номинально принадлежала к Бутягинскому клану,

но находилась, если можно так выразиться, снаружи. Большой теплоты между Марьяной и Флорой я не замечала. Обе дамы были ЛИЧНОСТИ (все буквы заглавные): авторитарные, властные, уверенные в себе, с трудным характером. Друг к другу относились с уважением, но я ни разу не видела Флору на семейных праздниках Бутягиных. Её не было даже на банкете по поводу Егоровой защиты. У каждой из дам по роду деятельности был потрясающий круг друзей и знакомых, но эти круги не пересекались и даже, по-моему, не соприкасались. Из Флориного круга я запомнила Бориса Мессерера, Беллу Ахмадулину и Наума Гребнева – переводчика стихов и составителя книги еврейской народной поэзии «Песни былого», опубликованной с иллюстрациями Тышлера.

Во Флоре – какой я её знала – не было Марьяниного снобизма. С ней было легко дружить. Нас познакомила Танька, и мы с Володей бывали у неё довольно часто: она звала нас в гости. Приглашения особенно участились, когда Танька улетела в Штаты. У Флоры была очень красивая квартира на Беговой улице, обставленная старинной мебелью красного дерева. На полках и шкафах – тышлеровские деревянные скульптуры. На стенах – картины Тышлера. Вот идёт по дороге ангел, несёт в руке сломанное крыло. Я не могла оторваться от этой картины, смотрела и смотрела. Мне казалось, что это – портрет целого поколения художников, друзей и современников Тышлера, которым советская власть пыталась сломать крылья.

Помимо счастья встречи с картинами Тышлера, визиты к Флоре были праздником гурманства. У Флоры через её отца – академика Сыркина – сохранились связи в академической «кормушке»: Флору там хорошо знали. И на стол Флора ставила немислимые деликатесы: консервы из крабов, икру, сёмгу, балык – и следила, чтобы мы не комплексовали и всё это ели.

Оказалось, кстати, что Флора была знакома с моим папой (ровесником Тышлера): папа за ней безуспешно приударял, о чём она с удовольствием вспоминала. Я ничуть не удивилась: папа



Фотопортрет А. Тышлера в квартире Флоры

не пропускал красивых женщин, а Флора была очень красива и в молодости, и в старости. Этот эпизод прошлого как-то сблизил нас по-семейному.



Флора и автор

Флора много рассказывала мне о Тышлере – главном мужчине её жизни. Они познакомились в эвакуации в Ташкенте, Флора была совсем юная, Тышлер на двадцать два года старше и женат, и связь на долгое время прервалась. Флора вышла замуж и родила двух дочек, Таню и Любу, но этот брак нельзя было назвать счастливым, и через семь лет она с мужем рассталась по обоюдному согласию. Связь с Тышлером тогда возобновилась, но поженились они только после смерти Анастасии Степановны, первой жены Тышлера.

Флора была известным искусствоведом. Как-то она предложила мне поехать вместе с ней на развеску картин Бориса Мессерера, у которого открывалась выставка, по-моему, в МОСХе, где-то в начале восьмидесятых. Я до той поры не подозревала, что развеска картин – настоящая наука. Или искусство. Какие картины можно, а какие нельзя вешать рядом, какой картине



Театральный эскиз Александра Тышлера в квартире Флоры

нужен свет, какая может без него обойтись – всё это понимала Флора, обсуждала с Мессерером, и он, как правило, соглашался.

Не могу не похвастаться и своим звёздным часом: Мессереру понравился цвет моих волос, и он сказал, что хотел бы меня написать. Но вот не сбылось. Зато в конце девяностых, прилетев на неделю в Москву из Штатов, я застала в Музее личных коллекций выставку его необыкновенной графики. Он был в зале, узнал меня и подарил каталог с трогательной надписью.

...В начале девяностого года Флора заболела. Танька была уже в Штатах. Флору оперировали в Онкоцентре на Каширке, я её навещала, и персонал принимал меня за её дочку. Потом я тоже улетела в Штаты. К счастью, Флора в это время была уже дома и здорова.

Дорогая Наташенька!

Боснию тебе скорее всего с того
места „дословного Комсомольца“, на
котором была напечатана небывалого
объёма и энциклопедическая подбурка, повиднен-
ная Тышлеру.

Я счастлива, что здесь есть не только
слова благожелательного репортёра и
пристрастной вдовы, но и голос самого
художника.

Целую тебя и все твоё семейство,
моя мама

Надеюсь, что на это письмо ты
уже ответишь.

Твоё фото

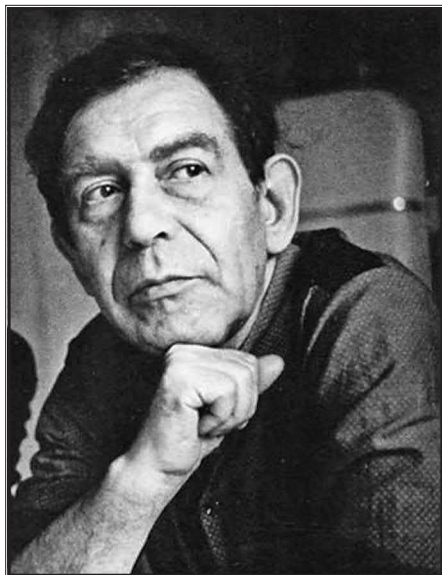
...В 1994 году в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке была выставка русского авангарда. Тышлеру было там отведено почётное место. Флора пригласила меня на вернисаж, и я, конечно, прилетела, хотя меня очень смущало предупреждение о «чёрном галстуке», которого у меня, отродясь, не было, а если бы и был, я бы не знала, куда его пристроить. На вернисаж пришёл Иосиф Бродский, они с Флорой там познакомились. Оказалось, что во время войны Бродский и Тышлер встречались в Ташкенте. Тышлер даже рисовал портрет мамы Бродского. Маме не понравился нос, и она его перерисовала! Портрет висел на стене в Ленинградской квартире родителей Бродского, когда его вы-



*Флора с афишей
к выставке, посвя-
щенной 85-летию
Тышлера*

бросили из страны. О дальнейшей судьбе портрета он ничего не знал...

...В Музее личных коллекций есть большой зал, посвящённый Тышлеру: Флора передала туда много картин. Я прихожу к ним, как на долгожданное свидание, когда прилетаю в Москву. Флора умерла в Москве, в 2000-м году.



ВСПОМИНАЙТЕ МЕНЯ, Я ВАМ ВСЕМ ПО СТРОКЕ ПОДАРИЮ

ЗАПИСКИ О ЮЛИИ ДАНИЭЛЕ¹

От автора

Для моего поколения имя Юлия Даниэля слито воедино с именем его «подельника» Андрея Синявского. Даниэль и Синявский познакомились где-то в середине пятидесятых годов. Молодые и отчаянные, они возродили сатирическую традицию в русской литературе – традицию, которой в изнасилованной советской словесности не было места. Они были внутренне

¹ Впервые опубликовано в книге «То ли быть, то ли небыль», Изд-во Пушкинского фонда, 1998 г. Здесь печатается в сокращённом варианте.

свободны, независимы и авантюры. В результате во Франции появились произведения двух новых, никому ранее не известных русскоязычных писателей: Николая Аржака и Абрама Терца. Произведения были во Франции, но сами писатели – в России, и в конце концов их выследили. В феврале 1966 года в зале Московского областного суда разыгралась драма, на многие годы предопределившая нашу общую судьбу, открывшая эпоху застоя и породившая диссидентское движение. Впервые открыто под уголовным судом была литература и впервые в советском судопроизводстве обвиняемые не признали себя виновными. Это стало воистину переломным моментом в нашем сознании. Даниэль получил пять лет лагерей, Синявский – семь.

После освобождения пути их разошлись: Юлий остался в Москве, Синявский уехал в Париж. Сегодня ни того, ни другого нет в живых, а о диссидентском движении в России, которое они породили, врут много и смачно. Мне хочется напомнить вам о необыкновенно обаятельном, талантливом и красивом человеке, с которым мне повезло дружить.

Возможно, там была магнитная аномалия, потому что меня туда постоянно затягивало. Из зловонной мертвечины брежневского болота – сюда, в миниатюрную московскую кухню, где даже густо пропитанный никотином воздух кажется живительным кислородом. В этот особый замкнутый мир, в этот маленький космический корабль, летящий по своей причудливой орбите, бесконечно далекой от столбовой дороги кровавой эпохи. Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе? – бросьте, какая разница! Здесь идет свое летоисчисление. Здесь живут Даниэли – прозаик и поэт Юлий Даниэль и его жена, художница и искусствовед Ирина Уварова.

Юлий Даниэль был человеком особенным. Он обладал уникальным даром делать счастливыми всех вокруг – близких, друзей, собак, котов и женщин, которые любили его когда-то или любили сейчас. И все, кто любил Юлия, любили друг друга. К вечеру на

крохотной Даниэлевской кухне становилось накурено, душно и тесно – сюда не зарастала народная тропа. Вокруг Юлия существовало братство, вроде масонской ложи, и Юлий был его паролем.

«Одноделец» Даниэля, Андрей Донатович Синявский – человек громкой, часто скандальной славы, хорошо знакомый интеллектуалам всего мира по книгам, статьям, лекциям, выступлениям и интервью. В отличие от него, Юлий был человеком домашним, «камерным» (простите за каламбур). Большую часть жизни он проводил на диване – лежа работал, лежа читал; из дому выходил редко, ходить вообще не любил – болели ноги с поврежденными на войне и в лагере сосудами. На мои попытки вытащить его зимой хоть ненадолго из прокуренной комнаты в заснеженный, сверкающий перхушковский рай неизменно откликался: «Что вы, друг мой! Там же свежий воздух!» – и шел. Я заметила, что свежий воздух вообще отталкивает бывших лагерников. Губерман как-то пояснил, закашлявшись: «Свежий воздух попал мне в дыхательное горло».

Талантливый поэт, великолепный мастер короткого рассказа и замечательный переводчик стихов, Юлий никогда не называл себя ни поэтом, ни писателем. Он говорил: «Нет, мой друг, я – литератор», – и сердился, когда я оговаривалась. А какой был рассказчик! С Ириной они составляли неповторимый дуэт, и, купаясь в волнах юмора, насмешки, шутки, иронии, гротеска самой высокой пробы, я ликовала, принимая этот посланный судьбой драгоценный подарок.

Преподнесла мне этот подарок дочь Виктория.

В одиннадцатилетнем возрасте она тайком сдала экзамены в художественную школу. Я не на шутку разволновалась. Занятия искусством три раза в неделю не могли не пойти в ущерб приоритетным направлениям – химии, физике, математике, с которыми и так было не без проблем. Серьезный выбор профессии в одиннадцать лет?!

– У нас в доме, в третьем подъезде, живет художница, Ирина Павловна Уварова. Покажи ей Викины рисунки, посоветуйся, –

подказали друзья, знавшие, что, как нормальная еврейская мама, я сохраняю Викины шедевры.

Я узнала Ирнин телефон, договорилась о встрече и в назначенный час стояла с ворохом Викиных почеркушек на пороге пятьдесят второй квартиры. Начиналась самая яркая глава моей жизни.

В гнезде опасных государственных преступников

Дверь открыл невысокий худощавый сутуловатый человек. Я мгновенно поняла, что уже встречалась с ним однажды – такие лица не забываются. В семьдесят седьмом году, прогуливаясь по двору на сломанной ноге, я увидела на лавочке незнакомого человека с удивительным и прекрасным лицом. Кооперативный дом наш был построен в начале пятидесятых годов медицинской профессурой. Дом большой – пять подъездов и сто четырнадцать квартир, но мы – мое поколение – в нем выросли и знали наперечет всех его обитателей, если не по именам, то в лицо. Этого человека я видела впервые. Он качал коляску и очень нежно, серьезно и уважительно приговаривал орущей малютке:

– Потерпи еще минут пятнадцать, дружок! Я, между нами, тоже не прочь подкрепиться. Но нам с тобой раньше трех возвращаться не велено. Я бы и пошел, но нам влетит...

На коленях у незнакомца лежала тоненькая, в детском издании, книжечка: «Рассказы о Ленине» Зоценко. Я поразилась. Странно не вязался весь облик этого человека с рассказами о Ленине, пусть даже Зоценко. А у меня дома на полке стояла редкостная по тем временам драгоценность – зоценковская «Голубая книга». Слегка поколебавшись, я подковыляла к незнакомцу:

– Здравствуйте. Я живу в этом доме. У меня есть «Голубая книга», тоже Зоценко. Но совершенно другой – куда лучше. Хотите, я вам вынесу почитать?

Незнакомец глянул на меня изумленно и ледяным тоном отрезал:

– Спасибо. Не надо. Меня *эта* книга вполне устраивает.

И вот теперь мне предстояло обнаружить, что почитать Зоценко я рекомендовала... Юлию Даниэлю!

Незнакомец тоже меня узнал, в первый момент удивился, потом спросил дружелюбно-насмешливо:

– Принесли почитать «Голубую книгу»?

– Да нет, на этот раз принесла другие шедевры. Их разглядывают и восхищаются.

– Ну что ж, пойдем, попробуем.

– Девочка способная, – посмотрев Викины почеркушки, сказала Ирина вежливо. – Но путь тернистый. Выбирать его должен только тот, у кого вопрос о выборе вообще не стоит. По-моему, это не тот случай².

Меня усадили пить чай. Было очевидно, что перед моим приходом хозяева навели обо мне кое-какие справки. Они заинтересованно расспрашивали о папе, о маме, о нашей жизни во время папиного ареста, а я все еще не знала, с кем разговариваю. Тут зазвонил телефон.

– Юлик, это Наташа Горбаневская из Парижа, – позвала Ирина.

Известную диссидентку Горбаневскую тогда с энтузиазмом проклинали во всех средствах массовой информации.

Я почувствовала себя страшно неловко. Как я не ко времени! Как должно быть неприятно хозяевам, что совершенно чужой человек стал свидетелем такого звонка. Но они ничуть не обеспокоились и непринужденно по очереди болтали с Парижем.

– Извините, – сказал Юлик, вернувшись, – мы вас бросили. Наташа звонила из Парижа. Там сейчас, знаете ли, собралась такая компания... Синявский, Некрасов, Галич, Максимов, Гинзбург, Горбаневская...

От неожиданности и смущения я ляпнула:

– Вы с ними знакомы?!

2 Это оказался как раз тот случай, и всего через пару лет Ирина крепко взяла Вику под своё крыло.



Юлик глянул на меня изумленно. Ирина бросилась мне на помощь:

– Извините, я вас не познакомила. Это мой муж, Юлий Даниэль.

Юлий Даниэль!!! Я не могла поверить своим ушам и своему счастью. Когда Юлия арестовали и судили, я в муках рожала Викторию и ни в каких акциях протеста не участвовала. И вот теперь у меня появился шанс сказать Юлию, какую важную роль процесс Даниэля-Синявского сыграл в моей жизни, какие камеры внутренней тюрьмы распахнул, какие погнутые стержни распрямил... Ничего этого я не сказала, потому что в доме Даниэлей разговаривали совсем в другой тональности, и бурливший во мне текст на эту музыку не ложился. Но, видимо, все это легко читалось на моей физиономии, потому что Юлик предложил:

– Приходите завтра утром пить кофе, поболтаем, – и я зашла от радости.

С этого дня началось мое служебное грехопадение. Утром обычно звонили Юлик или Ирина и предлагали забежать. Я за-

бегала и застревала. Мы пили кофе, болтали. Юлик, бывало, говорил, взглянув на часы: «Милый друг, являться на работу в такое время просто неприлично. Оставайтесь!».

Официально это называлось «писать дома докторскую». Сжав волю в кулак, я вырывала себя из Даниэлевской кухни и отправлялась на работу, с сочувствием поглядывая на прохожих, не пивших по утрам кофе с Даниэлями...

«Конспи'ация, конспи'ация, и еще раз конспи'ация» в семье Даниэлей была поставлена довольно слабо. Едва со мной познакомившись, почти еще меня не зная, они вручили мне ключ от своей начиненной самиздатом квартиры и попросили доставать почту во время их отъезда, а если захочу – приходить сюда работать или читать. Я была на седьмом небе: какие люди мне доверяют!

У Даниэлей была замечательная библиотека. Большинство книг в ней было с посвящениями авторов.

Искандер, например, писал Юлику так:

*Сердце радоваться радо
За тебя– ты все успел,
Что успеть в России надо:
Воевал, писал, сидел!*

Ему вторил Давид Самойлов:

*Милый Юлик, сколько пулек
Просвистало – ни одна
Нас с тобой не миновала –
Вот об этом «Времена».*

Я стала часто бывать у Даниэлей, но поначалу страшно зажималась в их присутствии, понимая масштаб собеседников и не умея разгадать, чем заслужила их дружбу. Проницательный Юлик, конечно, это видел.

Однажды, лютым зимним днем, я увидела в окно Юлия, вышедшего во двор в легкой летней рубашке с короткими рукавами (Даниэли тогда жили в другом подъезде). Он отправился в нашу сторону. Вскоре хлопнула дверь лифта, и раздался звонок в дверь.

– У вас нет молотка?

Я ужаснулась:

– Вы с ума сошли! Мороз же! Вы что, в своем подъезде не могли попросить молоток?

Юлий обиделся:

– Я что же, по-вашему, похож на человека, который станет у кого попало просить молоток, который ему, кстати, совершенно не нужен?

И мне стало с ним легко и весело.

Когда мы подружились, Юлик с удовольствием изображал в лицах сцену нашей первой, «зощенковской» встречи, каждый раз расцвечивая ее новыми убийственными подробностями, которые тут же на месте выдумывал.

– Почему вы меня тогда так решительно отшили? – спросила я однажды.

– Милый друг, от меня же тогда все шарахались, как от чумы. Заговорить со мной на улице по доброй воле мог только стукач.

– Так я же понятия не имела, кто вы такой!

– А если б имела, подошла бы? – прищурился Юлик.

– Наверное, нет, постеснялась бы. Ела бы вас глазами издали. Но уж если подошла бы, то почитать предложила бы не Зощенко, а Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Вам бы, я слышала, не повредило...

Освободившись из лагеря, Юлий жил один в ссылке в Калуге. Друзья приезжали к нему из Москвы каждый день, праздновали с ним его освобождение. А он работал на заводе, вставал в шесть утра. Был похож на тень. Праздник освобождения грозил окончиться трагически.

Однажды навестить Юлика приехала Ирина, знакомая с ним по долагерным временам.



Древний идея
Ю. Петров желает
Матане хорошего
Нового года и про-
сить поздравить с наступаю-
щим годом (с утра на 1 (или
2) часа)
Юлии Даниэле
31/XII - 1983г.

– Ты себе не представляешь, на кого он был похож, – рассказывала Ирина. – Если бы я его не увезла, он бы погиб.

Когда окончился срок ссылки, Юлик переехал к Ирине в Москву. Они поженились. Необыкновенно одаренная, красивая, наделенная какой-то магической силой, Ирина из тех избранных, кто «беседует с Богами». Трудно описать степень их близости – они были единым существом с общей системой кровообращения.

У Ирины был редкий дар принимать и любить всех, кто любил Юлия.

Однажды, на минутку забежав к Даниэлям, я увидела на кухне небольшую женщину с изможденным лицом, которое показалось мне знакомым.

– Это наша рыжая Наташка, – представила меня Ирина. – А это Лара. Вы, кажется, встречались.

И тут меня как током пронзило: это же Лариса Богораз, первая жена Юлика! Мы не то чтобы встречались, но я видела ее однажды в Доме ученых на традиционной ежегодной встрече ученых с представителями КГБ. Служители режима приходили пощекотать нервы служителям науки, поиграть с ними, как кошки с мышками, а главное – пострадать. Из любопытства я пошла на одну из таких встреч. Было это в брежневское время, в шестьдесят шестом году, вскоре после процесса Синявского-Даниэля. Представитель Лубянки бойко врал о положительных переменах в нашем процветающем обществе. Предупреждал об отпоре, который общество обязано дать гнусным отщепенцам, пытающимся эти перемены опорочить. Его прервал женский голос, откуда-то из первых рядов:

– Юлий Даниэль – инвалид войны с тяжелым ранением обеих рук. У него язва желудка. Почему вы поставили его в лагере на тяжелейшую физическую работу, постоянно держите в ШИЗО и порвали ему горло принудительным кормлением, когда он объявил голодовку? (Для непосвященных: ШИЗО – это штрафной изолятор, страшное место, откуда самые здоровые и крепкие выходят калеками).

Страж государственной безопасности явно растерялся:

– Это клевета! Откуда вам это известно?

– Я его жена. Я только что оттуда.

В этот диалог ворвался вопль из ложи дирекции:

– Безобразия! Кто ее сюда пустил! Дежурных уволю! Убрать ее из зала немедленно!

Она ушла сама.

Так я впервые увидела и услышала Ларису Богораз. Я бросилась из зала вслед за ней, но пока пробиралась между рядами, она исчезла. Исчезла на долгие годы, потому что вскоре Лара вышла на Красную площадь протестовать против советского вторжения в Чехословакию. Вслед за этим, натурально, отправилась в ссылку, оставив в полном сиротстве шестнадцатилетнего сына Саньку. Занятную анкету получил в наследство от родителей этот ребенок: отец – Даниэль, мать – Богораз.

В лагере Юлий подружился с Анатолием Марченко, автором книги «Мои показания». Срок Марченко кончался раньше срока Юлия, и Юлий попросил Марченко навестить Лару. Марченко выполнил просьбу, в результате чего возникла новая семья – Марченко-Богораз – и родился сын Павел Марченко. Вскоре, однако, Марченко опять арестовали. Проведя большую часть жизни по лагерям, в ШИЗО и голодовках, он не отличался атлетическим здоровьем, и время от времени возникали слухи о его смерти (последний из них, к сожалению, подтвердился). Незадолго до этого Ирине позвонил незнакомый человек:

– Есть сведения, что Марченко умер в лагере. Он ваш родственник?

– Нет, – ответила Ирина. – А впрочем... у нас общий пасынок (речь, конечно, шла о Саньке Даниэле, но ведь не сразу и сообразишь!).

В тот раз слух о смерти Марченко оказался ложным – к несчастью, ненадолго...

Лара часто бывала у Ирины и Юлика, они очень дружили.

Из близких друзей Юликовой юности мне хочется рассказать о двух – Мише Бурасе и Алене Закс. С Бурасом Юлика разлучила

война. На фронт они ушли прямо из школы. Юлик был солдатом-связистом; он куда-то полз, тянул провод, когда автоматной очередью ему тяжело повредило обе руки. На левой практически не было ни мышц, ни мяса – только покрытые тонким слоем кожи поврежденные косточки. Вдоль правой тянулись длинные страшные шрамы (не потому ли гуманисты-перевоспитатели поставили его в лагере на тяжелейшую физическую работу, а когда из одной раны стал выходить осколок, обматерили: «Нарочно щепку загнал под кожу, сволочь!»)... А Бурас на фронте угодил в штрафной батальон: врезал комбату за антисемитскую выходку.

С тяжелым ранением обеих рук Юлий попал в госпиталь. Как-то, проходя по коридору, он увидел нового раненого. Юлика поразило, что человек этот занимал на койке до странности мало места. Юлик не сразу понял, что у раненого нет ног. Подойдя спросить, не нужна ли какая-нибудь помощь, Юлик с ужасом узнал в этом молоденьком безногом солдате своего друга Мишу Бураса. Бурас рассказывал мне, что он не хотел жить, и, наверное, не стал бы, если бы не Юлий. На своих искалеченных перебинтованных руках щуплый Юлий носил безногого крепыша Бураса в туалет и ванную, кормил, утешал...

Много лет спустя именно Бурас приехал на своем инвалидном «Запорожце» забирать Юлика из Владимирской тюрьмы. Когда они отъехали от ворот тюрьмы километров на пять, Юлик попросил остановить машину, вышел, вдохнул полной грудью свежий, не пахнущий парашей воздух и задумчиво сказал:

– Хорошо в Большой Зоне...

...Близкую подругу Юликовой юности Алену Закс вызвали в КГБ сразу после ареста Юлия, когда никто еще ничего не знал и не понимал. Там ей объяснили, что Даниэль обвиняется в публикации за рубежом клеветнических произведений, порочащих советскую власть.

– Ах, так вот что вы ему инкриминируете, – обрадовалась Алена. – Боже, какое счастье! Это же ошибка! Безусловная ошибка! Юлий так ленив, что никогда не смог бы написать ни одного

законченного произведения, а уж о том, чтобы передавать что-то за границу, и речи быть не может. Для этого надо суетиться, выходить из дому, куда-то ехать. Он на это категорически не способен, я ручаюсь!

КГБ потребовало, чтобы Алена дала расписку о неразглашении.

– Ну что вы, – сказала Алена, – как же я могу дать вам такую расписку, если через час пол-Москвы будет знать о нашем разговоре?!

– От кого будет знать?!

– Так от меня же, – объяснила Алена, и с этим ушла. Вот какие все-таки наступили вегетарианские времена: и Алену не загребли, и подсудимых не расстреляли...

Версии

История ареста Даниэля и Синявского чрезвычайно запутана и таинственна.

Синявский в течение десяти лет печатал свои произведения во Франции под псевдонимом Абрам Терц; к нему присоединился Даниэль, печатавшийся под псевдонимом Николай Аржак. Десять лет, десять долгих лет КГБ стояло на ушах, пытаюсь разгадать, кто из ныне живущих писателей скрывается под этими псевдонимами. Была создана специальная комиссия из филологов и литературоведов, призванная проанализировать язык этих «пасквилей» и сравнить его с языком русских писателей, живущих и печатающихся в СССР или за рубежом: «клеветников России» необходимо было найти и обезвредить. Синявский, работавший в Институте мировой литературы и бывший в курсе инспирированной КГБ охоты, десять лет успешно водил КГБ за нос. Потом грянул гром.

Историю эту я расскажу так, как слышала ее от друзей. Сам Юлик говорить на эту тему не любил, но многие события предвосхитил в повести «Искушение», написанной еще до ареста.

Одного из главных персонажей этой истории впоследствии описал Синявский в романе «Спокойной ночи».

В литературной компании, куда входили Синявский и Даниэль, был некто С. Х., яркая и одаренная личность. Синявский когда-то учился с ним в одном классе. «В школьной, веснушчатой россыпи он выглядел сердоликом, не нуждающимся в шлифовке и ждавшим лишь с годами подобающей оправы... Смазливый, акмеистического типа мальчик, немного чопорный, конечно, из достаточной еврейской семьи, он был бы, возможно, моим кумиром, если б я осмелился когда-либо полностью ему доверять... Талантлив был, гениален, вражина», – писал Синявский. – «Блаженный Павлик Морозов ходил среди нас живцом, подобно бесплотному отроку с юродской картины Нестерова... Я ему прямо сказал, когда запахло скипидаром: – Если меня посадишь, мы сядем вместе. Учти!».

«Ну что ты, – поспешил он заверить, – какой разговор?! И потом, ты же знаешь, мы на одной веревочке... И ведь не обиделся, не возмутился, бестия... Шантаж, вы скажете? Согласен. Каюсь. Но чем еще, посоветуйте, оградиться от убийцы?».

В начале шестидесятых годов С. Х. защищал диссертацию. На защиту неожиданно пришли два литератора, два привидения, канувшие в преисподнюю много лет назад. Можно ли было предвидеть, что они когда-либо воскреснут! Они попросили разрешения выступить и рассказали, что отсидели в лагерях по десять лет, и что посадил их С. Х.

Вскоре после этого Юлий встретил С. Х. на улице и не подал ему руки, но тут же догнал и извинился:

– Я с тобой не объяснился, я не имел права так поступать.

На этом материале Юлий написал свою самую пронзительную прозаическую вещь – повесть «Искупление».

Именно С. Х. подарил когда-то Юлию идею знаменитой повести Даниэля «Говорит Москва». Бери, дескать, – твой сюжет, тут нужен Гоголь, а мне не справиться. Юлик принял подарок и блестяще его обработал. Повесть была опубликована во Франции

под уже знакомым нам псевдонимом Николай Аржак. И вот однажды обычная компания собралась праздновать день рождения Алены Закс. В положенный час включили послушать «вражьи голоса». По «Свободе» в литературной программе читали повесть Николая Аржака «Говорит Москва». С. Х. как подбросило!

– Теперь я знаю, кто Аржак!!! – заорал он торжествуяще. – Это Юлька Даниэль! Я сам подарил ему этот сюжет!

Вскоре их арестовали, сначала Синявского, потом Даниэля: вычислить цепочку Даниэль – Синявский не составляло труда.

Подозрение, скорее даже уверенность в предательстве легла на С. Х. После скандала на защите он уехал из Москвы в Душанбе и впоследствии эмигрировал в Германию.

Так в 1964 году окончилась одиссея Абрама Терца и Николая Аржака, и начался процесс Синявского-Даниэля. Это был по всем статьям необыкновенный процесс: впервые под уголовным судом была литература, и впервые в истории советского судопроизводства из обвиняемых не удалось выжать признания вины. С великолепным достоинством отстаивали они свое право на свободу творчества, давая пораженной советской интеллигенции урок стойкости и мужества. И интеллигенция усвоила этот урок: именно тогда, как реакция на процесс, зародилось в стране диссидентское движение.

Юлий дал мне как-то «Белую книгу», в которую Александр Гинзбург собрал все материалы о процессе Даниэля и Синявского, за что и отправился вслед за Юлием в тот же мордовский лагерь. Я читала книгу, не отрываясь всю ночь. Я читала ее и раньше, по свежим следам процесса, но тогда это было совершенно иное, отстраненное чтение. Теперь за упомянутыми в книге именами стояли знакомые и родные лица, я слышала их голоса, восхищалась их мужеством. Утром, как всегда, позвонил Юлик:

– Приходите пить кофе.

– Не приду, – ответила я. – Не люблю пить кофе стоя.

– ???

– Не могу себе позволить сесть в вашем присутствии.

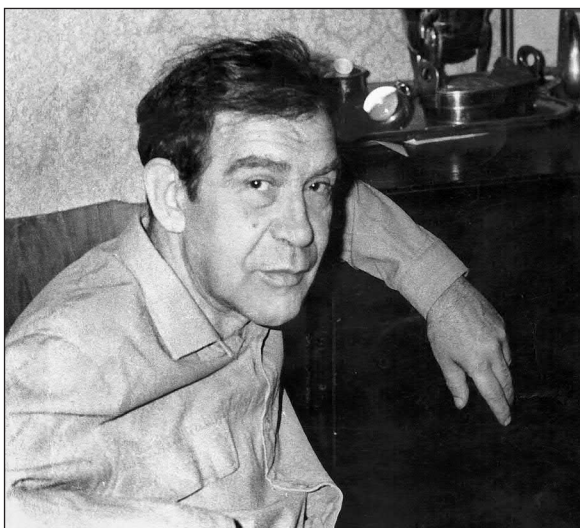
Суд приговорил Синявского и Даниэля соответственно на семь и пять лет заключения в трудовом лагере строгого режима. Что тут началось во всем мире! На советское начальство покатила мощная волна протеста со стороны международной и советской интеллигенции. Протестовали международный Пэн-клуб, деятели культуры Италии, Дании, Индии, Чили, Мексики, Филиппин, Франции, Германии, Италии, США и Великобритании. Протестовали Арт Бухвальд и Луи Арагон. Шестьдесят два советских писателя слали телеграммы советскому правительству, съезду партии и Михаилу Шолохову, просили разрешения взять Даниэля и Синявского на поруки. «Процесс над Синявским и Даниэлем причинил больший вред, чем все ошибки Синявского и Даниэля», – писали они.

...Нобелевский лауреат по литературе Михаил Шолохов выступал на XXIII съезде КПСС от имени советской литературы. Большую часть своей речи он посвятил Даниэлю и Синявскому. Он сокрушался о том, что приговор слишком мягок, что «этих предателей» судили, опираясь на Уголовный кодекс, а не на доброй памяти революционное правосознание, когда ставили к стенке за куда меньшие проступки. Выступление Шолохова проходило под бурные аплодисменты аудитории...

Даже ко всему привычная советская интеллигенция была ошеломлена речью Шолохова. «Речь Вашу на съезде воистину можно назвать исторической, – писала ему в открытом письме Лидия Чуковская. – За все многовековое существование русской культуры я не могу припомнить другого писателя, который, подобно Вам, публично выразил бы сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок... Литература уголовному суду неподсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря... А литература сама отомстит Вам за себя, как мстит она всем, кто отстывает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника, – к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, оте-



Ирина Уварова-Даниэль и Лена Платонова смотрят на портрет Юлия. 1994 г.



Ю. Даниэль

чественные и международные премии не отвратят этот приговор от Вашей головы».

...Шли годы. Даниэль отсидел свой срок и вернулся, сначала в ссылку в Калугу, потом в Москву. Синявский вышел из лагеря и вскоре уехал в Париж, чтобы стать профессором Сорбонны и безнаказанно писать свои статьи и романы. Юлий остался в России.

В «культурном заповеднике»

Была волшебная ночь. Мы сидели втроем — Ирина, Юлик и я, пили коньяк. Юлик был в несвойственном ему приподнятом настроении, вспоминал разные лагерные истории, потом прочитал сделанный им в лагере блистательный перевод поэмы «Эвридика» его лагерного собрата Кнута Скуениекса. В лагере у Юлия было отменное общество: советский тоталитаризм создал культурный заповедник за колючей проволокой, стараясь изолировать от мира все самое яркое, талантливое и творческое, что рождала эпоха. Юлик рассказывал, что Кнут Скуениекс отбывал семилетний срок за «особо опасные государственные преступления»: написал одно сомнительное стихотворение, держал дома «Британскую энциклопедию» и не донес на знакомых.

С «Эвридикой» Скуениекса связана замечательная лагерная история. Я уже упоминала, что вслед за Юликом в тот же лагерь отправился автор «Белой книги Синявского и Даниэля» Александр Гинзбург. Этот «русский народный умелец» славился тем, что замечательно соображал во всякой домашней электронике. Однажды у начальника лагеря сломался магнитофон. Мордовские лагеря не назовешь центрами цивилизации — мастерских по ремонту магнитофонов не было в округности километров в пятьсот. Начальник лагеря отдал магнитофон на починку Гинзбургу. Гинзбург взглянул — поломка пустячная, выеденного яйца не стоит. И тут Гинзбургу, Юлику и Кнуту пришла в голову блестящая идея.

– Я не могу чинить магнитофон без пленки, – заявил начальству Гинзбург. – Я не могу без пленки проверить, как он работает и работает ли вообще.

Так они заполучили пленку и записали на нее великолепную, интеллигентную, выдержанную в лучших традициях литературную передачу. Кнут Скуениекс читал свои стихи по-латышски, Юлик читал их переводы и поэму «Эвридика» по-русски, Гинзбург сделал какой-то элегантный литературоведческий доклад... Только одно было отличие от обычной радиопередачи. Эта открывалась словами: «Мы ведем эту литературную передачу из трудового лагеря строгого режима номер такой-то, расположенного...» И заканчивалась так: «Передача была организована по недосмотру лагерного начальства».

Трем шутникам удалось передать эту пленку на волю; одна из ее копий есть в Израиле...

Когда Алика Гинзбурга арестовали, он был официально холост. Это не давало возможности его жене Арине навещать его в лагере, а пожениться им не разрешали. Юлик написал об этом «письмо другу» и исхитрился передать его на волю (через зеков, сидевших за религию: с ними в лагере было более мягкое обращение).

Письмо попало в Италию, было опубликовано и вызвало на Западе новую волну интереса к проблеме прав человека в СССР.

– Как письмо попало на Запад?! – в исступлении орало на Юлия лагерное начальство.

– Понятия не имею. Я написал письмо, положил на тумбочку. Ваши надзиратели, видно, сперли и продали на Запад, – объяснял Юлий.

В наказание он отправился из лагеря во Владимирскую тюрьму, в которой и досиживал свой срок...

А Гинзбургам в результате этого инцидента разрешили пожениться. Арина въехала в лагерь на грузовике в подвенечном платье и белых перчатках. Щуплому Алику для церемонии выдали штаны 52-го размера. Заключение украсили лагерь цветами, и

под окном у новобрачных «украинские националисты» всю ночь распевали величальные песни...

Я спросила Юлика, почему он не напишет книгу о лагере.

– Боюсь, никто из моих лагерных коллег тогда не подал бы мне руки: это была бы очень веселая книга! Я нигде столько не смеялся!

Но он написал. Изумительные короткие новеллы – о детстве, о лагере и о фронте.

Мой приятель – оксфордский славист – писал о Юлии диссертацию.

– Что было самым главным в вашей жизни? Что вас сформировало? Лагерь? – спросил он Юлия.

Юлий ответил:

– Война.

Страшная ночь

Днем позвонила из Перхушкова очень обеспокоенная Ирина, сказала, что с Юликом что-то неладное – какие-то странные, скрючивающие судороги рук, через некоторое время проходящие. Это случилось впервые и оказалось началом той болезни, от которой он так рано и так трагически погиб. Я бросилась искать специалиста-невропатолога, который бы согласился поехать со мной в Перхушково. Друзья назвали мне пару имен, и профессор Штульман, которому я позвонила, узнав, кто пациент, сразу же отозвался на мою просьбу. Мы приехали в Перхушково в середине дня. Осмотрев Юлика, профессор тихо сказал мне и Ирине: его надо немедленно везти в клинику, иначе разовьется обширный инсульт, и мы можем его потерять.

Для Юлия слово «больница» – я это уже знала – было страшнее слова «лагерь». Но доктор настаивал – Юлия могут спасти только в больнице. Договорившись с Ириной, что постараюсь организовать перевозку, я повезла профессора обратно в Москву. От Перхушкова до Москвы путь не близкий, выеха-

«Я все сбиваюсь на литературу...»

Наташе — с любовью.
06.12.00

A.D.

Юлий Даниэль
письма из заключения. стихи



Общество «Мемориал»
Издательство «Звенья»
Москва, 2000

ли мы в сумерки и в Москву приехали затемно. Пока я искала «скорую», которая согласилась бы частным образом съездить в Перхушково, пока договаривалась с кликой, чтобы его туда приняли, наступила ночь. Я страшно нервничала, профессор ведь сказал – нельзя терять времени. Наконец мы со «скорой» двумя машинами рванули в Перхушково.

Домчались мы часам к трем утра. В совершенно темном доме все, включая Юлия, мирно спали. Я была готова развернуться и

ехать обратно, оплатив «скорой» услугу, но сопровождавший ее врач твердо возразил, что не имеет права уехать, не осмотрев пациента, и принялся стучать в дверь.

Узнав, зачем мы приехали, Юлик пришел в совершенное неистовство.

– Кто дал вам право распоряжаться моей жизнью, – кричал он на меня первый и единственный раз в жизни. – Ни в какую больницу я не поеду, я категорически отказываюсь!

Видно было, что у него резко подскочило давление, дрожат руки, дергается лицо. Я была в ужасе.

– Если он сейчас умрет, виновата будешь ты, – сказала Ирина, совершенно забыв в эту минуту, что сама просила меня как можно скорее привезти перевозку. Я ее не осуждаю: момент был очень страшный.

Врач стал уговаривать Юлию и что-то ему объяснять. Включилась и Ирина, умоляя его поехать в больницу ради ее спокойствия. В конце концов Юлий сдался, но лечиться на предложенные ему носилки отказался категорически и гордо шел к машине сам. Мы тронулись – «скорая» с Юлием и Ириной впереди, я в своей машине – за ними. Страшный это был путь. Мне ж было неизвестно, что там происходит, в этом головном автомобиле. Он ускорит ход – у меня падает сердце, он замедлит ход – у меня падает сердце. Несколько раз, когда мне казалось, что «скорая» особенно резко меняет скорость, я была близка к обмороку. В голове все время стучало: пожалуйста, пусть он выживет, пожалуйста, пусть он выживет – наверное, это была молитва. Наконец, приехали в больницу. Ирина вышла из машины, помахала мне рукой – доехали живые, не волнуйся, и я почувствовала, что скорая медицинская помощь мне нужна сейчас не меньше, чем Юлию. Поднялись в палату, на этот раз Юлик – на носилках. Было часов пять утра. На соседних койках спали больные. Ирина заглянула в Юликову прикроватную тумбочку. Там стройными рядами, чтобы не упали и не вывалились, стояли оставшиеся от предыдущего пациента пустые бутылки:

– Вот видишь, Юлик, а ты ехать не хотел, – сказала Ирина. Дежурный врач, считавший Юликов пульс, оживился:

– Пьете?!

Наличие водочных бутылок в таком стерильном учреждении и живая реакция врача как-то успокоили Юлика. Ему сделали укол, и он уснул. Мы с Ириной поехали домой. Наступало утро. Начинали сказываться сутки чудовищного напряжения.

– Выпить хочешь? – взглянув на меня, спросила Ирина и принесла бутылку водки.

Остальное я знаю по рассказам. Я пила водку небольшими глотками, стакан за стаканом. Осушила бутылку, немного посидела, потом сказала Ирине: «Ты, кажется, обещала, принести что-нибудь выпить». Ирина удивилась, но принесла еще четвертинку. Очнулась я во второй половине дня на Юликовой постели. Около меня дежурил Гена, секретарь Давида Самойлова, и стояли две пустых бутылки – пол-литровая и четвертинка, оставленные Ириной как вещественные доказательства. Гена смотрел на меня с уважением, я бы даже сказала – восторженно. Когда я пришла в себя, он объяснил: Ирина Павловна вызвала меня около вас подежурить. Она уехала в больницу к Юлию Марковичу. Она сказала, что вы все это одна выпили! Неужели правда?!

– Что вы, – ответила я с достоинством и совершенно искренне, – я водки вообще не пью...

А Юлика тогда в больнице спасли и подарили ему еще несколько полноценных лет. Потом сосудистые кризы стали учащаться.

Юлик был гордый человек и физическую боль старался заглушить иронической фразой. Никогда не забуду: Юлика забрали в больницу с тяжелым инфарктом. Он в интенсивной терапии (по-нашему – реанимации). Туда, конечно, никого не пускают, но я понимаю, что увидеть Ирину, пусть хоть на минутку, для него важнее всех капельниц и лекарств на свете. И делаю то, чего не делала никогда ни прежде, ни потом: надеваю белый халат, представляюсь дочкой своего папы, вызываю в коридор

дежурного врача и, не торопясь, расспрашиваю его о состоянии и перспективах больного. Врач, похожий на викинга или шкипера большого парусника, клюет на эту удочку. Как-то само собой подразумевается, что я его коллега. Ирина тем временем, тоже в белом халате, прошмыгивает в отделение и прикикает к стеклу, которым отгорожена от коридора реанимационная палата. Юлий лежит почти голый, весь усыпанный разнообразными присосками, сигналы с которых подаются на повернутый экраном к коридору монитор.

– Ирка, что он там показывает? – спрашивает Юлик.

– Твой, Юлик, образ мыслей.

– Врешь, Ирка! Эта штука давно бы сгорела!

Так шутит человек, не знающий, доведется ли ему дожить до следующего утра...

...Юлик опять тяжело болен, но лежит дома. У него в спальне колокольчик, чтобы вызывать Ирину. Утро. Я, как всегда, забегаю узнать, как прошла ночь. Мы с Ириной пьем кофе. Звенит колокольчик – Юлик проснулся! Ирина быстро ставит на небольшой поднос красиво сервированный завтрак, объявляет торжественно:

– Завтрак Королю Юлику! – и отправляется в спальню. Через мгновение возвращается и вручает поднос мне:

– Иди. По утрам он, видите ли, предпочитает рыжих женщин!

Цвет моих волос, в те годы натуральный, был постоянным объектом насмешек в этом доме, из чего я заключала, что меня там любят. Как-то приезжаю в Перхушково и читаю на единственной входной двери, почерком Юлика: «Вход Только Для Рыжих и Собак».

Надо ли объяснять, что дом Даниэлей стал моим вторым домом, а позже и домом для подраставшей Вики. Всего-то и было – спуститься с четвертого этажа на первый – и расправлялись легкие, и даже как будто вырастали крылья. Мой остроумный и многотерпеливый муж спросил однажды в субботу:

– Хочешь, я дам тебе задание на весь день и большую часть вечера?

– Что надо сделать?

– Отнеси Ирине ее баночки!

Юлик любил Володины шутки. Я вообще не знаю человека, который бы так благодарно отзывался на чужую удачную шутку. Однажды, не помню в каком году, так случилось, что русская Пасха пришлось на двадцать второе апреля (день рождения Ленина).

– Редкий случай в христианском календаре, – сказал Володя. – Пасха совпала с Рождеством!

Юлик пришел в совершенный восторг и широко Володю цитировал, обязательно со ссылкой на первоисточник.

...Зима. Даниэли в Перхушкове. Неподалеку снимает дачу Окуджава. Ночью у Юлика был тяжелый сердечный приступ, и Ирина послала Марину Перчихину сообщить об этом Булату. Талантливая театральная художница, ученица Таты Сельвинской, Перчихина отказалась от театральной карьеры и большую часть жизни проводила у Даниэлей: днем обычно спала, свернувшись миниатюрным калачиком в углу кухни, ночью читала и общалась. Никаких связей с миром вне Даниэлевской кухни она не поддерживала. С наступлением перестройки Перчихина ошеломила всех неожиданно проснувшейся неудержимой активностью: организовала издательство, открыла галерею. «Маринка проспала советскую власть, потому что ей было скучно», – объяснила Ирина.

Узнав о болезни Юлика, Булат предложил его навестить и попеть ему, если Юлик захочет. Юлик очень обрадовался. А теперь попробуйте представить себе праздных перхушковских обитателей, увидевших Окуджава, идущего куда-то среди бела дня с гитарой в руках! За ним в дом к Даниэлям потянулся бы целый хвост... Поэтому был разработан стратегический план. Перчихина отправилась к Булату с большим одеялом, запеленала в него гитару и с этим невесть откуда взявшимся младенцем, нянькая его и напевая, двинулась обратно. Булат пришел сам по себе и много и щедро пел в этот день Юлику. Это оказалось очень эффективное сердечное средство...

...Когда в апреле восемьдесят восьмого года были одновременно опубликованы отрывок из книги моего отца о «деле врачей» в «Дружбе народов» и мой рассказ в «Юности», от журналистов не стало отбоя. Моя подруга Лена Платонова, журналистка из «Аргументов и фактов», попросила меня:

– Договорись с папой, я хотела бы сделать с ним интервью.

– Ленка, сейчас с моим папой не делает интервью только ленивый. Зачем тебе быть одной из многих? Я тебе другое скажу: сделай интервью с Юликом Даниэлем. Не сможешь опубликовать теперь – когда-нибудь опубликуешь. Этому материалу цены не будет.

– А как?

– Сейчас позвоню Ирине, спрошу, можно ли тебе приехать (сама я в это время лежала с пневмонией в больнице).

Ирина разрешила, и Ленка с Юликом проговорили целый вечер. Это оказалось последнее интервью в его жизни...

Юлик умер вечером тридцатого декабря, накануне нового, восемьдесят девятого года. Мы хотели дать объявление о его смерти в «Литературной газете» или в «Вечерке»: не некролог – просто лаконичное объявление о смерти литератора Юлия Даниэля, но и это оказалось невозможно. Я поехала с текстом объявления в Центральный дом литераторов – там был человек, специально ответственный за объявления о смерти и некрологи, без его подписи ничего не могло быть напечатано. Он объяснил мне, что подписать объявление не может без предварительного согласования в райкоме партии, и что я должна была сначала получить подпись райкома. Я послала его ко всем чертям и отправилась домой: я представила себе, какие слова услышала бы от Юлика, если б он узнал, что за разрешением сообщить о его смерти я обратилась в райком партии... Ирина одобрила мои действия. Объявление о смерти Юлия так и не было опубликовано в советской прессе, но второго января на его похороны на Ваганьковском кладбище пришло более двухсот человек...



Ирина Уварова-Даниэль

Незадолго до смерти Юлия Ирина обращалась в советское консульство в Париже с просьбой разрешить Синявскому приехать в Москву повидаться со смертельно больным другом. Синявским постоянно отказывали в советской визе, отказали и

тогда. Теперь Ирина совершила новую попытку. Телеграммы с просьбой проявить милосердие и разрешить Синявскому попроситься с Юлием были посланы в два адреса: советскому консулу в Париже и Эдуарду Шеварднадзе. И впервые за семнадцать лет Синявские получили въездную визу. Как будет видно из дальнейшего, консул, видимо, взял ответственность на себя. Но это были новогодние дни, оформление виз занимает время, и Синявские прилетели в Москву только третьего января, на следующий день после похорон Юлия.

Я возвращаюсь с работы, смотрю – на тротуаре под окном Даниэлей, почти вросши в стену нашего дома, стоит серая «Волга» с выключенным мотором, а за рулем сидит человек и читает книгу. Я подошла вплотную к машине. Рядом с водителем стояла большая раскрытая сумка с какой-то замысловатой аппаратурой. Мы обменялись долгим взглядом, и я отправилась к Даниэлям. Дверь открыла Марья Васильевна.

– Вы машину сопровождения в Париже заказали или сняли в Шереметьеве? — спросила я вместо приветствия.

– Какую машину?

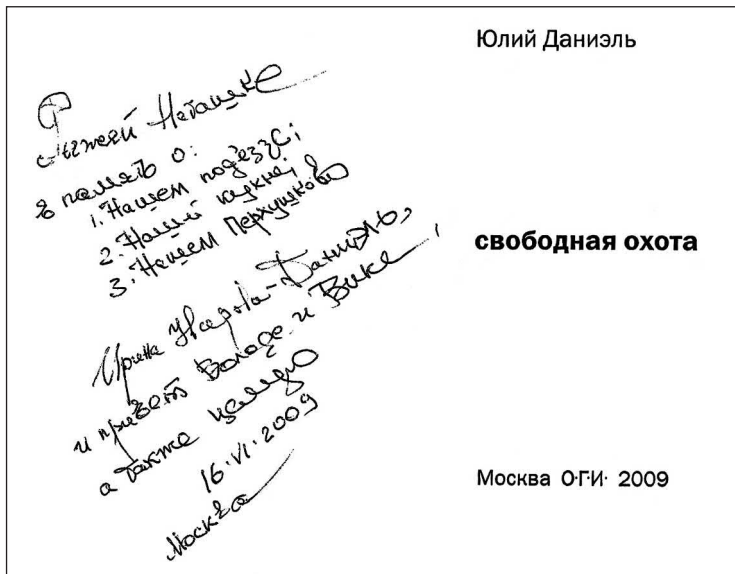
– Выгляните в кухонное окошко!

Все выглянули. Машина исправно стояла под окном на прежнем месте. Так с первой минуты за Синявскими началась открытая слежка. На ночь машина обычно уезжала, и на ее месте дежурил какой-то сидящий на корточках топтун с торчащей из сумки антенной. Маринка Перчихина даже бегала к нему как-то часа в четыре утра стрельнуть папироску.

На следующий день после приезда Синявских Ирине позвонили из канцелярии Шеварднадзе. Я подошла к телефону. Мужской голос сообщил, что в ответ на нашу телеграмму Синявским выдано разрешение на приезд в Москву, и они вот-вот прилетят.

– Большое спасибо, – сказала я, – мы вам очень благодарны.

– Перед кем это вы так раскланивались? – спросила Марья Васильевна.



– У меня для вас хорошая новость. Министерство иностранных дел СССР разрешило вам приехать в Москву, и вы вот-вот прилетите!

– Ну ничего не изменилось! – восхитилась Марья Васильевна. – Правая рука по-прежнему не ведает, что делает левая!

Для Ирины в эти трагические дни приезд Синявских был спасением. Они прилетели в Москву после семнадцатилетнего перерыва, и в московских литературных, журналистских и кагэбешных кругах началось необычайное волнение. Вокруг Синявских все кипело и бурлило, как в многобалльный шторм. Ирина попросила меня отвечать на телефонные звонки и по возможности их фильтровать. Телефон звонил, не умолкая двадцать четыре часа в сутки. Журналисты ломались толпами, расталкивая друг друга локтями. Называлось все это – интервью с Синявским, но на вопросы журналистов отвечала только Марья Васильевна – Андрей Донатович не имел шансов вставить слово.

«Марья Васильевна, мне бы хотелось узнать, что думает по этому поводу сам Андрей Донатович», – не выдержал один бестактный журналист.

– Откуда он может знать, что он думает, пока не услышит, что я скажу, – отрезала Марья Васильевна, и журналист сдался.

Я тогда обогатила литературоведение тезисом, что Синявский пишет, потому что не имеет возможности говорить...

Та первая поездка прорвала плотину, и Синявские стали регулярно ездить в Москву.

...О смерти Синявского я не знала – была в дороге, летела из Солт-Лейк-Сити в Москву. В Москве, как всегда, первым делом помчалась к Ирине.

– Только что кончили передавать по телевизору похороны, – сообщила Ирина.

– Чьи похороны?

– Андрея...

Ушли Даниэль и Синявский, оставив нам Аржака и Терца.

Байки Даниэлевской кухни

Ленинград – Явас через Хельсинки

С Юликом в лагере сидел простой русский парень, сбежавший в Финляндию из Ленинграда через леса и болота. Бедняга не знал, что между СССР и Финляндией существует договор о выдаче таких перебежчиков. Парня арестовали финские власти, и полицейский повел его как бы в советское посольство. По дороге он остановился и сказал на ломаном английском языке:

– Видишь, вон советское посольство, куда я тебя веду. А вон там – шведское посольство. Вон – американское. Там, правее – голландское. А у меня жажда. Я хочу выпить кружечку пива. Я зайду в эту пивную, а ты меня тут подожди.

Выйдя из пивной, полицейский был совершенно ошеломлен, застав парня на том же месте, где оставил. Ему ничего другого не оставалось, как передать его советским властям.

– Он мне так доверял. Не мог же я обмануть его доверие, – под общий хохот оправдывался парень в лагере...

Пока такой человек – герой! – спит...

У Алены Закс день рождения. Среди гостей – замечательный грузинский актер К. М., он ведет застолье. Грузинское застолье не всякому под силу, Юлик довольно быстро сходит с дистанции и отправляется на диван поспать. Тем временем Ирина беседует в уголке с коллегой по «Декоративному искусству» Леной Невлером. У Невлера грустные еврейские глаза с поволокой и длинные, как у примадонны, ресницы. Все это очень не нравится нашему грузинскому другу. А Ирина ничего не замечает и ведет с Невлером в уголке неторопливую беседу на профессиональные темы. В конце концов, у К. М. иссякает терпение.

Он подлетает к Ирине, тычет ей в колено горячей сигаретой и рычит:

– Нет, вы только посмотрите! Пока такой человек – герой! – спит, эта ...

Ирина вскакивает, будит Юлика, и они мгновенно уходят...

На следующий день утром — звонок в дверь Даниэлей. На пороге, на коленях – К. М., с огромным букетом роз и со слезами на глазах. Рядом – ящик коньяка и шампанского. К. М. прощен – ведь на самом деле он просто вступился за честь Юлия со свойственным ему грузинским темпераментом... И начинается новый тур грузинского застолья – на этот раз на Даниэлевской кухне. Только К. М. все никак не может успокоиться: в каждом тосте он непрерывно просит у Ирины прощения и воспекает ее разнообразные достоинства. По мере того как течет застолье, К. М. все более распаляется... И наступает финал:

– Но, в конце-то концов, войдите же и в мое положение! Пока такой человек — герой! – спит...

И счастья в личной жизни...

Ирина и Марина Перчихина встретили на улице Фриду Аврумовну, директора нашей почты. В доброе старое время, в небольшом местечке Фрида была бы успешной сводней – это ее хобби, страсть ее жизни. Внимательно разглядывая маленькую светловолосую Маринку, Фрида спрашивает у Ирины:

– Аидише девочка?

Ирина молча кивает.

– Замужем?

– Только что развелась.

– И как, удачно?

Всё зависит от начала отсчёта

Ирина видит на улице ханыгу, который со страшной скоростью вращает на веревочке тюбик клея БФ или что-то в этом роде. Ирина подходит поинтересоваться, что он делает и зачем.

– Не видишь – разделяю, – отвечает ханыга, пораженный нелепостью вопроса.

– Зачем? – продолжает настаивать Ирина – во всём ей хочется дойти до самой сути.

– Как зачем?! Выпью, – с удивительным терпением объясняет ханыга.

– И что, вкусно?! — поражается Ирина.

– Ну, конечно, не зубной эликсир!

Как я вернула племянницу Юлия Даниэля

Симу Васильеву в лоно семьи

Я уже писала, что довольно часто бывала в Климовске у Георгия Борисовича Фёдорова. Один раз привезла к Фёдоровым Даниэлей. Поездка с Даниэлями имела свою историю.

У Федоровых был дом с говорящими стенами. Стены кричали, насвистывали и пели о хозяевах. Портрет Георгия Борисовича был работы Виталия Комара (того самого, из пары Комар-Меламид). Необыкновенные куклы оказались подарком Таньки, бывшей

жены Егора Бутягина. Окончательно меня доби́ли доски – обыкновенные кухонные доски, расписанные чьей-то талантливой, хулиганской, не знающей удержу рукой. Под ними стояло расписанное той же рукой небольшое деревянное корытце. Это был полудеревенский-полугородской фольклор, но сюжет!.. Я просто остолбенела. На высоком пригорке – церковь; внизу – площадь с традиционным сельсоветом; неподалеку в кустах валяется парочка в стадии далеко зашедшего флирта, от них откатилась пустая водочная бутылка; а на переднем плане отдает салют пионерский отряд – красные галстуки, вдохновенные лица – всегда готов! Непонятно только, кому он салюует – то ли сельсовету, то ли трахающейся парочке, то ли водочной бутылке... Тонкая живопись, злая сатира.

– Боже мой, Георгий Борисович, что это?! Кто это?!

– Это делает молодая особа из очень талантливой семьи – племянница Даниэля.

– Ну, уж это дудки, – возмутилась я. – Я в семье Даниэля бываю чаще, чем в своей собственной, – во всяком случае, так утверждает мой муж. Ирина с Юлием настоящие знатоки и ценители фольклора, Ирина так и вообще профессионал. Если бы у них была такая племянница – неужели эти доски висели бы у вас, а не у них?!

– О, это весьма печальная история, – начал Жора. – Сима – так зовут эту молодую особу – родом из глубокой провинции. Ее мать – родная сестра Юлия по отцу. Сима приехала в Москву учиться в университете, поступила на географический. Конечно, позвонила Даниэлям. К телефону подошла какая-то женщина; Сима представилась, но женщина не проявила к ней никакого интереса, не пригласила зайти – и больше Сима звонить не стала. Не хочет навязываться знаменитому дяде.

– Муж Симы Гена – тоже из провинции, откуда-то из Сибири. У них двое прелестных детишек, а московской прописки нет, стало быть, официально работать не могут, мыкают горе. Сима рисует и продает доски. Они пользуются успехом у иностранцев, и при

нынешнем курсе доллара это позволяет Симе с семьей держаться на плаву. Даниэлям Сима больше не звонит, чтобы Юлий не подумал, что она чего-то от него хочет.

– Надо немедленно познакомить Симу с Даниэлями, – разволновалась я. – Сима, наверное, звонила Даниэлям осенью, когда они были уже в Перхушкове, а в их отсутствие в квартире постоянно живет кто-нибудь из Ирининых театральных коллег из провинции, – естественно, они не проявили никакого интереса к невесте откуда взявшейся племяннице Даниэля. А может, Сима просто попала Ирине под горячую руку: лепетала по телефону что-то невразумительное, и вечно занятой Ирине недосуг было ее слушать. Юлию ведь работы почти не дают, и Ирина буквально разрывается на многих поприщах.

– Голубушка, привезите к нам Юлия и Ирину, – взмолился Жора. – А я позову Симу. Устроим встречу потерявшихся родственников в стиле Сергея Смирнова и Валентины Леонтьевой (была тогда такая программа на телевидении).

С этим я помчалась в Москву.

– Вы что, с ума сошли?! – прямо с порога набросилась я на Ирину и Юлика. – У вас, оказывается, есть потрясающая племянница, великолепная художница, вот уж где фольклор так фольклор! Замечательная девочка – талантливая, остроумная, хулиганистая, – а вы живете и в ус себе не дуете?!

– Какая племянница? О чем вы говорите? – удивился Юлик. Я пересказала то, что услышала от Жоры.

– Может, это дочка краматорской Маши? – сказал Юлик неуверенно. Отец Юлия, Марк Даниэль, еврейский писатель и драматург, был большим жизнелюбом, неоднократно женился, имел нескольких детей от разных жен. «Марк Даниэль» был его псевдоним, и Юлик был Юлий Маркович, а сестра его по отцу Маша – Мария Абрамовна... Пока Юлик рассказывал мне об отце и его женах, Ирину занимали совсем другие мысли:

– Наташка, ты знакома с Жорой Федоровым?! Почему же ты мне никогда об этом не говорила? Я так давно мечтаю с ним

встретиться! Мы ведь оба работаем в Молдавии, Жора там нашу родину «сподниза копает», а я занимаюсь молдавским фольклором. Но знаешь, это какой-то рок! Куда бы я ни приехала, всегда слышу: «Вчера у нас был Федоров». Всегда «вчера»! За столько лет так ни разу и не пересеклись... Но теперь это судьба! Едем немедленно!

Мы поехали в ближайшую субботу. По дороге, недалеко от Климовска, в поисках нужного поворота я проехала на красный свет. Я ездила в Климовск сто раз и все равно постоянно искала этот зловредный поворот. Моя неспособность ориентироваться была постоянным предметом надругательств моих друзей, и я изо всех сил старалась не дать нового повода; сосредоточившись на поисках поворота, я вообще не заметила светофора. Молодой милиционер, стоявший прямо под ним, сыграл целую симфонию на своем свистке. Я остановилась.

– Вы проехали на красный свет, – сообщил обалдевший милиционер. Крыть было нечем, но в этот момент на меня снизошло вдохновение.

– Я к Георгию Борисовичу, – ответила я таинственным шепотом и очень выразительно посмотрела на милиционера.

– Что-что?! — удивился милиционер.

– Я к Георгию Борисовичу, – повторила я так же тихо и таинственно. Дескать, и речи быть не могло, что милиционер не знает, кто такой Георгий Борисович. Милиционер растерялся. Этот Георгий Борисович был, по-видимому, не простой птицей. После некоторого замешательства милиционер спросил неуверенно:

– Ну и что? Это дает вам право ехать на красный?

Я окончательно обнаглела:

– Мне Георгий Борисович один раз позволил.

Милиционер вздохнул обреченно и на всякий случай решил со мной не связываться:

– Ладно, проезжайте, но больше не ездите на красный.

Мы проехали. Пронесло.

– Дружок, что вы ему такое нашептали? Почему он не отобрал у вас права? Или, по крайней мере, не оштрафовал? – изумился Юлик.

– Да пустяки. Я объяснила ему, что везу Даниэля к Федорову!

Дальше, слава Богу, мы ехали без приключений. У Федоровых уже была Сима. Как я и ожидала, ее работы и она сама очаровали Юлика и Ирину. Так я воссоединила семью Даниэлей – подарила им Симу и двух ее детей – Аню и Глеба, и ее маму, «краматорскую Машу». Они потом сильно помогали Ирине, когда Юлик заболел.

Судьба свела Симу с Федоровыми за несколько лет до этих событий. В поселке писателей на Красной Пахре, на даче у переводчика Россельса сложилось литературно-диссидентское гнездо. Там часто бывали Федоровы, бывала и Сима. Симины доски попались на глаза Федоровым и восхитили их. Так завязалась эта дружба. Для Жоры Федорова в ней был дополнительный азарт – обыграть «Софью Власьевну» с ее нелепыми крепостническими законами, помочь Симе с семьей удержаться в Москве. Сима с Геной жили где-то на обочине советской власти – вроде бы при ней, но совершенно в стороне. При желании их действия можно было легко квалифицировать как криминальные: жили они без прописки, «тунеядствовали», встречались с иностранцами, дружили с культурными атташе западных держав... Но времена были относительно вегетарианские, и их не трогали. Не стану описывать, через какие муки и авантюры прошла эта семья, пока не завершила благополучно свои скитания в английском городе Лондоне, где их в конце концов «прописали»... Туда же, в Лондон, в девяностых годах переехал (и вскоре умер от своего последнего инфаркта) Жора Федоров... Даже географически Сима и Федоровы оставались рядом до самой Жориной смерти.

...После встречи в Климовске Сима стала часто бывать у Даниэлей, и вскоре состоялась ее первая выставка в редакции журнала «Декоративное искусство» (не последнее дело, что Ирина вела в «Декоративном искусстве» театральный отдел.)

Все Симины друзья явились на вернисаж и оставили свой след в книге отзывов. Не могу не процитировать некоторые из них.

«ВеСима СимаПатичная Симастаятельная Искусства.»
СимаСука ТакаСима (Япония).

Это – писатель Леня Седов.

«Глубоко возмущен насмешкой над нашим российским бытом! С кем вы, мастера культуры?!» Член об-ва «Память»
Лазарь Солоухер.

Это, конечно, Губерман.

«Теперь мне жить невыносимо, Я весь душою искалечен. Врисуй меня в корыто, Сима, Хочу я быть увековечен! Министр культуры Коми АССР И. Бурятов».

Это, конечно, он же. И еще что-то из того же источника, за подписью В. Губерман-Пинчер, член ССП.

Симины доски – фейерверк юмора и иронии, теплой, чело-вечной, в чаплинском ключе. Ее персонажи и их ситуации одно-временно комичны и трогательны. Сима неистощима на выдумку. Историю одной доски хочу рассказать – благодаря ей Симино камерное искусство получило всесоюзный резонанс. Я стояла у истоков этой истории.

В середине восьмидесятых годов в МОСХе на Кузнецком мосту проходила семнадцатая выставка молодых художников.

Это была довольно авангардистская выставка – во всяком случае, настолько, чтобы принять к экспозиции Викины эскизы к гоголевскому «Носу», подвергнутые остракизму в ее родном художественном училище за пару лет до этого, но еще не в такой степени, чтобы выставить Симины доски. Я, однако, считала, что имеет смысл попробовать «повесить Симку» партизанским способом, в обход худсовета. Мы поехали на развеску втроем – Вика, Сима и я. Нашли подходящий простенок. Сима повесила доски, среди них – «Баньку» (о ней ниже), я осталась их караулить, а Вика занялась своим «Носом». Развеска картин молодых художников – увлекательнейшее зрелище. Суетились они всю ночь, до самого открытия выставки, стараясь по возможности создать

самую выгодную атмосферу для своих работ. К утру все изрядно измучились и проголодались.

– Сбегай-ка ко мне домой, попроси папу, чтобы собрал нам что-нибудь поесть. Вот адрес, – сказал Вике Петя Пастернак, внук поэта. Вика была самой молодой участницей выставки, поэтому Петя отвел ей роль мальчика на побегушках.

– Как зовут твоего папу? — спросила Вика.

– Женя.

– А отчество?

Петя от изумления потерял дар речи. Вокруг раздался гоме-рический хохот. Виктория мгновение смотрела с недоумением, потом до нее дошло.

– Ой, что это я!

Бедняжка густо покраснела и поспешно умчалась выпол-нять поручение. Утром Симкины доски несколько раз порывались снять какие-то официальные лица, но я неизменно забирала их и вешала на место, бросая внушительное и лаконичное:

– Согласовано.

Так они и остались висеть до открытия и произвели фурор. О них писали. На следующую выставку Симу уже приняли офи-циально и без проблем, так что я считаю себя в какой-то степени ее крестной матерью. Симину «Баньку» напечатал на обложке «Огонек» Коротича. Вот тут-то и грянул гром.

«Банька», надо признаться, была довольно смелая. Обна-женные, а лучше сказать – совершенно голые мужики и бабы мылись совместно в русской бане; маленький чертенок, стоя на дверце русской печки, раскалял и печку, и страсти моющих-ся пар. Голая ведьма на метле вылетала через трубу; пара на верхней полке определенно не теряла времени, но нам пока-зывали только их пятки; голые русалки плавали в озерке перед банькой; бородатый мужик наслаждался зрелищем, глядя из-за кустов; пионеры подсматривали в окошко. Все это оказалось совершенно непривычным и неприличным для совокупного со-ветского глаза, залитого семидесятилетним ханжеством. Народ



«Банька», художник С. Васильева

возмутился. Народ негодовал. В «Огонек» посыпались сотни писем со всех концов Союза. Подписчики грозили порвать с журналом, который нельзя оставлять на видном месте дома при детях. У подписчиков разыгрывалась фантазия, они активно додумывали то, что не было Симой изображено, и против этого протестовали. «Порнографическое искусство С. Васильевой (Симин псевдоним) способствует и ускоряет вовлечение до ста процентов 12–13-летних школьниц в игру «Ромашка» и тем самым к неизбежному открытию уже в неполных средних школах (не говоря о полных) гинекологических кабинетов», –

писала взволнованная учительница (здесь и дальше я сохраняю орфографию оригиналов). *«То, что раньше называлось порнографией, теперь называется эротикой или даже прикладным искусством. Как просто!»*. *«За такие картинки нужно судить как пошлость! С чем идет у нас борьба, воспитываем поколение в духе, вежливости против всяких недозволенностей»*. *«Я не ханжа и к вопросам интимной жизни отношусь, как говорится, правильно. Художественное изображения обнаженного человека в вашем журнале приветствую. Просто я не смогу объяснить содержание картинки своему ребенку. Уверен на сто процентов, что вид полового акта в советском журнале немедицинского профиля напечатан впервые за все годы советской власти. С чем Вас и поздравляю»*.

Пожалуй, единственная положительная рецензия пришла от солдат московского округа: *«Дорогая Сима! Спасибо! Вы нам нужны!»* – писали солдаты. На народный гнев нужно было реагировать. Сима учла критику и расписала новую доску, назвав её «Альтернативная "Банька"». Та же русская баня, тот же интерьер, те же шайки. На левой лавке чинно сидят торжественно одетые мужики, все в черных костюмах и при галстуках; на правой лавке – нарядно одетые бабы. Все чинно парят ноги. Пару на верхнем полке мы теперь видим. Они заняты совершенно не тем, о чем вы подумали: они читают Маркса и Энгельса. На печке стоит не чертёнок, а маленькая статуя Ленина в позе «Ленин на броневике». Из трубы вылетает не голая ведьма, а ракета «Восток». И даже русалки надели бюстгалтеры, так что прячущимся в кустах милиционерам и плавающим в пруду пионерам теперь и смотреть-то не на что... Завершая картину, надо всем этим благообразием парит лозунг: «Нравственная Чистота Общества Выше Личной Гигиены!». На выставке в Манеже обе «Баньки» висели рядом, снабженные объяснениями художницы и выдержками из писем читателей «Огонька». Посетители выставки хохотали от души.

...То время, над которым смеялась Сима, ушло безвозвратно. Новые песни придумала жизнь. В России по-прежнему есть над



*Сидят: Юлий Даниэль, Сима Васильева, Александр Даниэль;
стоят: сестра Юлия Маша и Лариса Богораз*

чем посмеяться, но Сима с семьей теперь живет в Лондоне. У нас с ней в Лондоне много общих друзей, Сима собирает их, когда я приезжаю. Я люблю у них бывать, но жизнь редко дарит мне такие праздники.

Собака Алик и кот Лазарь Моисеевич

Истинными хозяевами в Даниэлевском доме считали себя – да, пожалуй, и были – толстый черный спаниель Алик и кот Лазарь Моисеевич, прозванный так, надо полагать, за разбойничью морду³. Юлик их обожал и никогда ни в чем им не отказывал. Алик совершенно не переносил, если кто-то ел что-нибудь без

³ Кот Лазарь Моисеевич был тёзкой Кагановича, единственного еврея в позднем сталинском руководстве, члена Политбюро ЦК КПСС и Наркома путей сообщения, тяжёлой промышленности и т. п. Наряду с остальной сталинской камарильей, он был ответственным за чистки 37 – 39 гг.

его участия: он подходил, трогал лапой за колено, оглушительно лаял и заглядывал в глаза с искренним изумлением:

– Не понимаю, что происходит?! Кто-то ест печенье?! Без зазрения совести ест печенье, когда рядом стоит голодная собака Алик?! Дайте мне взглянуть в глаза этому человеку!

И Юлик мгновенно сдавался, хотя порядка ради и выговаривал Алику за злостное попрошайничество.

Однажды в гости к Даниэлям пришел Генрих Белль. Сели за стол, и Алик немедленно начал его обрабатывать: трогал лапой за колено, заглядывал в глаза.

– Какая у вас ласковая собака, – восхитился Белль, явно не понимая, чего Алик от него хочет: западному человеку не может прийти в голову, что собака позволяет себе так беспардонно попрошайничать за столом. Когда Беллю объяснили, чего от него ждут, он был поражён и ничего Алику не дал, чем и вошел в семейные анналы: за всю историю семьи он единственный устоял перед Аликовым попрошайничеством.

Результат «воспитания по Споку» оказался довольно плачевным: Алик стал толстым, неповоротливым и ленивым, а к старости еще приобрел несносную привычку из всех возможных узких мест в крохотной квартире безошибочно выбирать самое узкое и самое ходовое. Он растягивался там большой черной глыбой, и его невозможно было сдвинуть с места. Думаю, тем самым он обозначал важность своего присутствия в мире.

Иногда это создавало серьезные проблемы.

Зимой Даниэли обычно снимали дачу в поселке академиков в Перхушкове. Я часто приезжала к ним дня на два, на три. Личных телефонов тогда почти ни у кого не было, звонить ходили «в сторожку», на въезде в поселок. В сторожке обычно сидели сам сторож и приبلудная дворняга, никому в особенности не принадлежавшая, но подкармливаемая всем поселком. В послеобеденные часы она методично обходила дачу за дачей – из тех, в которых зимой кто-то жил, – и собирала дань. Это надо было видеть: она поднималась по лесенке или на терраску и

деликатнейшим образом стучала хвостом в дверь. Никогда не лаяла. Ей выносили остатки обедов. Иногда она съедала их на месте, иногда аккуратно забирала и куда-то уносила – видимо, делала запасы на ужин и завтрак. Короче, вела размеренный образ жизни и разумное хозяйство.

Однажды мне надо было позвонить, и я собралась в сторожку.
– Захвати Алика прогуляться, – попросила Ирина.

Та зима была очень снежная. Между высоченными сугробами была расчищена узкая полоска дороги – едва-едва проехать одному автомобилю. Как только Алик увидел узкое место, сработал рефлекс. Он сначала сел, потом растянулся посреди проезжей части.

Вы знаете, как это бывает. Машины могут не ездить часами, но если на дороге появилось препятствие и препятствие это создали лично вы, тут же появляется вереница автомобилей и возникает пробка. Так и сейчас. Не успел Алик растянуться посреди проезжей части, как появилась машина с академиком, торопившимся на заседание президиума. Он потребовал немедленно убрать собаку с дороги. Я бы и рада, но Алик не трогался с места, а сдвинуть его у меня не хватало сил. Академик выходил из себя, шофер академика гудел, я, чуть не плача, изо всех сил тянула Алика за ошейник – все это с нулевым результатом. Эту мизансцену с интересом наблюдала сидевшая у сторожки дворняга. Выдержав паузу, она встала, подошла к нам, куснула Алика за попку – Алик взвизгнул и подскочил, а дворняга взяла у меня из рук Аликов поводок и утащила пса с проезжей части. Академик проехал, на прощанье пригрозив разобраться, по какому праву по поселку шатаются не имеющие к нему отношения собаки и люди. Я все-таки пошла позвонить. Пока я звонила, дворняга, во избежание новых эксцессов, сидела на Аликовом поводке. Потом все той же кавалькадой мы двинулись домой; я помчалась вперед, чтобы Ирина с Юликом не упустили диковинного зрелища. Дворняга привела Алика домой и была щедро вознаграждена за услугу. Больше я с Аликом гулять не ходила.

Ленивому и неповоротливому Алику Юлик часто ставил в пример черного спаниеля Синявских Оську. Не поверите, но Оська был сыном золотого ретривера! История, со слов Юлика, была такая. Племянник «советского графа» Алексея Толстого жил в небольшом флигеле бывшего дядюшкиного дома. У него была собака редкой по тем временам породы – золотой ретривер. Годы были – то ли конец сороковых, то ли начало пятидесятых. Однажды племянник увидел из окна, как к воротам подъехала безошибочно узнаваемая машина, из нее вышли безошибочно узнаваемые люди и направились в сторону его двери. «Ну, суши сухари», – сказал племянник своей собаке. И действительно, через мгновение раздался стук в дверь, вошли двое, предъявили именно те документы, которых ожидал племянник, но задали совершенно неожиданный вопрос: «У вас есть собака?». Вопрос был нелепый, потому что собака выходила из себя от лая и злобно скалилась – гости ей явно не понравились. «Какая порода? – продолжали допрос пришедшие. – Документы на собаку есть? Предъявите». Рассмотрев документы, заявили: «Собаку мы у вас забираем». Убедившись, что арестовывают не его, а собаку, племянник осмелел и стал протестовать. «Не беспокойтесь, – смягчились пришедшие, – с собакой все будет в порядке. Мы ее вам вернем». Не без трудностей на сопротивлявшегося пса надели намордник и увезли.

Прошло некоторое время. Племянник горевал, но внутренне уже распрощался с любимым псом. И вдруг – телефонный звонок. «Вы дома? Никуда не уходите, сейчас мы вам привезем вашу собаку».

Собака вернулась гладкая и жизнерадостная. «Где была, что видела?» – безуспешно пытался расспросить ее хозяин. Но спустя несколько месяцев неожиданно – новый телефонный звонок. Тот же голос, который племянник уже начал узнавать: «Вы чем хотите получить, деньгами или щенком?». «Щенком, конечно, щенком», – обрадовался племянник: для него начало кое-что проясняться. «Может, все-таки деньгами», – настаивал голос. «Нет, щенком», – решительно возразил хозяин собаки. «Тогда

ждите». И через несколько часов все в той же машине племяннику привезли... крохотного черного спаниеля! Племянник был, мягко говоря, обескуражен: от золотых ретриверов не каждый день рождаются черные спаниели! Было ясно, что редкостного щеночка-ретривера гебешник забрал себе, а может – продал, и подменил его спаниелем. Хозяин собаки не мог скрыть глубокого разочарования, и тогда «гость» рассказал ему такую историю.

Сталину кто-то подарил сучку золотого ретривера. Сучка вошла в возраст и попросилась замуж. Сталин отдал приказание сталинским соколам найти в Советском Союзе подходящую партию для его сучки. Ретривер, как уже было сказано, был в СССР породой редкой, и после тщательного сыска соколы вышли на племянника графа Толстого. Вот, значит, с кем породнилась его собака, в какой семье пожила! Рассказавший эту историю гебешник отчетливо понимал, что теперь уж хозяин пса не станет жаловаться, получив в наследство от золотого ретривера черного спаниеля.

Спаниеля назвали Оськой в честь хозяина сучки. Племянник Толстого подарил его Синявским.

...Лазарь Моисеевич был кот необыкновенной судьбы. Потомок диких камышовых котов, буян со свирепой мордой, которую дополняло разодранное в драке ухо, Лазарь вел странную жизнь.

Сирота, обитатель лестничной клетки, крохотный обглоданный котенок, он как-то попался на глаза режиссеру Фридману, и тот притащил его своим друзьям Даниэлям. Младенческие дни Лазарь провел у Даниэлей в московской квартире, осенью выехал с ними в Перхушково, за зиму подрос, заматерел и изрядно одичал. Когда в начале лета Даниэли вернулись обратно в Москву, стало ясно, что Лазарь в городе жить не может. Зимой он проявил себя выдающимся охотником, и было решено отвезти его обратно в Перхушково.

Летом в Перхушкове он вел жизнь дикого камышового кота. Изредка его видели выходящим из леса, часто с добычей в зубах.

«Охотник и разбойник, Робин Гуд», – с восхищением говорил о нем Юлик. «Отнимает у богатых котов и раздает бедным», – уточнял друг Даниэлей Юра Хазанов.

На даче летом жили хозяева, Минцы. Лазаря они не жаловали, и он туда никогда не заглядывал. Но стоило нам осенью переехать... Уже через пятнадцать минут Лазарь сидел на кухонной форточке. Сцена возвращения блудного сына не могла быть более трогательной, чем встреча Лазаря и Юлика. Лазарь бросался ему на шею, обнимал лапами, мурчал, как ручной котенок старой леди. Юлику он позволял все. Возможно, он принимал его за Короля Камышовых Котов. И с этого момента на всю зиму Лазарь становился интеллигентным домашним котом.

Дикарь или интеллигент, для местных кошек Лазарь был совершенно неотразим. Он был гигантский кот с такой яркой внешностью и такой яростной энергией, что вскоре все новое поколение перхушковских котов было как две капли воды похоже на Лазаря.

Деревенские коты не хотели сдаваться без боя.

– Представьте себе, – рассказывал мне Юлик, – приехала такая столичная штучка, обольстила всех местных прелестниц. Местные коты решили устроить Лазарю аутодафе. Однажды слышу дикий кошачий вопль. Выбегаю на крыльцо и вижу: несется Лазарь, а за ним огромным клубком мчатся местные коты. Лазарь влетает на дачу, коты, по инерции, за ним. Лазарь ныряет под тахту, и через мгновение оттуда, недовольно ворча, вылезает Алик и разевает клыкастую пасть... Коты обезумели, взревели, и, пятась задами, вылетели на улицу. Теперь они рассказывают своим детям, как у них на глазах страшила Лазарь обернулся чудищем Аликом... Вот как рождаются легенды об оборотнях.

Когда Ирине удавалось вытащить Юлика погулять, она, бывало, говорила:

– Алик, остаешься в доме за старшего.

Это была типично советская попытка создать дутый авторитет. Ежу было ясно, кто в доме за старшего.

Ирина Уварова

Даниэль
и все все все



Издательство Ивана Лимбаха

Людмила Рапопорт
Дю Комменгюан
К Гюльям
Воспоминания

Ирина
Ирина
Ирина
Ирина

Ирина
2014 г.

В Перхушково иногда приезжали друзья Даниэлей Новацкие с огромной ирландской колли Басей. В эти дни Лазарь обычно сидел у двери на табуретке, внимательно наблюдая за происходящим. Выходя погулять, Бася вынуждена была проходить мимо Лазаря. В этот момент он не проявлял к ней никакого интереса и спокойно выпускал из дому. Его час наступал, когда Бася возвращалась с прогулки. Лазарь ошетинивался, напружинивался и с размаху бил ее лапой по морде – просто так, чтобы понимала, кто в доме хозяин. И урок не проходил даром: гигантская Бася смертельно боялась Лазаря.

Однажды, идя по Арбату, Ирина с Юликом увидели старика, который за семьдесят пять рублей продавал говорящего попугая.

– Может, купим? – предложила Ирина.

– Не понимаю, дружок, почему я должен покупать Лазарю завтрак за семьдесят пять рублей! Он прекрасно обходится минтаем за тридцать копеек!

Это был, может быть, единственный случай, когда Юлик в чем-то отказал Лазарю.

Старость и болезнь Алика чуть не стоили Юлию жизни. Юлик был уже тяжело болен, перенес два обширных инфаркта и инсульт.

Однажды осенью Алик ушел со двора и пропал. Двое суток его искали все друзья. Нашла Алена Закс. Алик лежал в канаве, весь ушел в мокрую глину и превратился в огромный глиняный ком. Возможно, он шел в лес умирать, и по дороге у него отказали ноги. Он был еще жив. Алик был так тяжел, что Алена не смогла вытащить его из канавы. Вместе с Аленой к месту катастрофы помчались Ирина и Юлик. Я не случайно употребила этот сильный глагол: не важно, с какой скоростью передвигался Юлик – все равно он мчался. Втроем они вытащили Алика из канавы, положили на клеенку и понесли на дачу на руках. Невозможно было себе представить, что Юлик способен нести такую тяжесть: на его тяжело раненных на войне руках почти не было мышц, не говоря уж о его изрешеченном инфарктами сердце. Дома Юлик купал парализованного Алика, отмывал его от глины, ухаживал за ним, как сиделка, и спас. А через несколько дней это отозвалось ему тяжелейшим сосудистым кризом, из которого его самого едва вытащили...

Но я люблю вспоминать другие дни, когда все еще здоровы, Юлик смотрит на кухне телевизор, разбойник Лазарь, свернувшись калачиком, спит у него на коленях, а собака Алик бьет меня лапой по коленке и оглушительно лает, глядя, как я уминаю хозяйское печенье...



ЛЕНКА

ПАМЯТИ ПОДРУГИ

За два дня до Нового, 2016 года мы с Володей потеряли одну из наших самых близких подруг, Лену Платонову. По невероятно-му совпадению, она ушла от нас в день смерти Юлия Даниэля; в 1989 году он дал Лене своё последнее в жизни интервью.

Мы познакомились в юности, и она прошла через всю нашу жизнь. Друзья звали её Ленка, и я не припомню, чтобы кто-нибудь в нашем кругу называл её иначе.

Ленка была обворожительна. Её чарам были в равной степени подвластны мальчишки, юноши, мужчины зрелого возраста и глубокие старцы. Копна волос цвета спелой пшеницы, крупными волнами на плечи (после нашей с ней встречи стала

подкрашивать волосы в рыжий цвет). Слегка удлинённое лицо с крупными губами.

Светло-карие, с лёгким зеленым оттенком, лукавые глаза. Большая грудь, тонкая талия. Чудесный низкий голос. «Целую ночь соловей нам насвистывал», «Глядя на луч пурпурного заката», песни советские, песни русские народные – без них не обходились ни одни наши посиделки. В камерных залах Ленка пела и со сцены.

При всём этом багаже Ленкину личную жизнь вряд ли можно было назвать счастливой. «Лена, – сокрушалась её мама Ядвига Войцеховна, – неужели ты не можешь найти себе хорошего русского парня?». Ленка, видно, не могла. Она была замужем дважды, и оба раза за евреями. Её первого мужа звали Боря Земляк; он был психиатр. Они поженились и расстались совсем молодыми. Почему расстались, я так и не поняла, да Ленка и сама не могла дать вразумительно ответа. Ответ был: по молодости. Через много лет Ленка пыталась разыскать своего Земляка, но безуспешно.

Со вторым мужем, Лёней Поляковым, Ленка родила Ольгу. Ленка любила её больше жизни. Маленькая Оля была необычным ребёнком. От обоих родителей она унаследовала острый литературный и музыкальный слух и тонкое чутьё ко всякой несуржице. Лет в пять-шесть, ещё не отравленная школьной литературой с её непрекаемыми авторитетами, Ольга позволяла себе покушаться на самое святое: она сочиняла пародии, что детям обычно не свойственно. Вот Лена читает ей вслух: «В лесу раздавался топор дровосека...». «Мама, – прерывает её Оля. – Как это топор раздавался?! Топор не может раздаваться!». И тут же сочиняет (цитирую с небольшими купюрами):

*Как у нас весной на крыше
Раздавались кошки.
И, кошачью песню слыша,
Наш щенок Ермошка*

*Тут же просыпался,
Тоже раздавался...
У соседей наших кошка
Тоже раздалась немножко...*

Я знаю, что Ленка очень бы обрадовалась включению Олиных стихов в этот мой рассказ. Многие её детские стихи могли бы стать популярными песнями, если бы их исполнила, к примеру, Пугачёва.

*Стоят, стоят забытые
Старинные часы.
Не ухают, не грохают
Их важные басы.
И стрелки их не бегают,
Секунды не стучат.
Стоят часы забытые,
Стоят часы, молчат...*

В одиннадцать лет Ольга сочинила стихи об осеннем листе, конец которых нас поразил:

*Дунул ветер, и, затрепетав,
Лист с руки слетел от нетерпенья,
В памяти опять перелистав
Сладостный и краткий миг паденья.*

Этот «сладостный и краткий миг паденья» мы потом часто цитировали по совсем другим поводам и обстоятельствам.

Когда Ольга повзрослела, они с Леной выступали вдвоём: Лена пела, Ольга аккомпанировала ей на гитаре. Однажды у нас в доме на каких-то посиделках Ольгу увидел приехавший в Москву американский кукольный режиссёр, знакомый нашей дочери Вики. Увидел – и пропал. Он увёз Ольгу в Америку. Ольга

окончила там университет и аспирантуру, получила высшую научную степень и сейчас преподаёт психологию в университете в Коннектикуте. А Ленка осталась в России, там была её жизнь.

По образованию Ленка была преподавателем русского языка и литературы. В шестидесятые годы, после окончания Московского педагогического института она преподавала литературу в старших классах где-то на Дальнем Востоке. По возрасту и внешности она мало отличалась от своих учеников, и они смотрели на неё влюблёнными и жадными глазами. От одного из будущих выпускников она как-то получила записку: «Елене Евгеньевне Платоновой. Может ли между педагогом вашего возраста и учеником моего возраста существовать что-то помимо "платонической" любви?». Ленка рассудила, что надо кончать с преподаванием, пока не клюнул жареный петух, и вернулась в Москву. Её взяли на работу в отдел писем «Московского комсомольца».

Тогда, в шестидесятых, мы с ней и познакомились. Знакомство состоялось при нетривиальных обстоятельствах: в гинекологическом отделении 67-й больницы. Ленка любила рассказывать историю нашего знакомства, не пренебрегая и широкой аудиторией. Она попала в больницу с внематочной – в ту пору, кажется, ещё и «внепапочной» – беременностью (вспомните Ольгин «сладостный и краткий миг паденья»). А меня сразило воспаление придатков. Мы с Ленкой оказались на соседних койках и не расставались уже никогда. Третьей в нашей палате была очаровательная Аллочка Ахундова, поэтесса. Мы веселились, пели и даже танцевали. Нам было так хорошо вместе, что вечерами к нам сбегались молодые дежурные врачи других отделений отвести душу после тяжёлых больных и сложных операций. Когда нас выписали (а выписали нас, по-моему, одновременно, подальше от греха), мы ещё не наговорились, и продолжали этот разговор больше чем полвека.

К слову, о «подальше от греха». Маленькая Ольга как-то спросила Лену: «Мама, почему говорят "подальше от греха", а "не поближе к греху"»? На этот вопрос Ленка ответить затруднилась, потому что при своей яркой внешности, чудном голосе и тем-

перamente всю жизнь была «поближе к греху». Эти её качества уловила даже наша малолетняя Вика. Ленка часто приезжала с ночёвкой к нам на дачу. Однажды у меня была в Москве срочная работа, и я задержалась в Институте часов до двух ночи, но решила всё-таки вернуться на дачу. Добралась к трём-четырёх часам утра и застаю такую картину. Все мирно спят, где кому положено: Володя – в нашей спальне, Ленка – на застеклённой террасе, Вика – в своей комнатке. Спят и не ведают, что на дверях Володиной спальни и Ленкиной террасы висят снаружи огромные запертые амбарные замки. Так наш пятилетний ребёнок на всякий случай встал на стражу семейных уз! Мы очень смеялись, хотя на самом деле были поражены и озадачены Викиной интуицией.

Из отдела писем «Московского комсомольца» Ленка время от времени приносила замечательные истории. Всем нам полюбили присланное в «Комсомолец» талантливое четверостишие, мы его потом часто цитировали:

*На войне, как с бабой в постели,
Надо действовать быстро и смело.
Кто теряет присутствие духа,
Тот теряет присутствие тела!*

Из «Комсомольца» Ленка перешла на работу в «Аргументы и факты» и проработала там несколько десятилетий, до самой смерти, корректором и выпускающим. Ленка была талантливой журналисткой. Я уже писала выше, что по моей наводке она сделала интервью с Юлием Даниэлем и записала его на диктофон. Это были последние слова, которые Юлий произнёс в жизни. Ночью у него случился обширный инсульт, и больше он не произносил ни слова до самой смерти. Этот материал стал единственным интервью с Даниэлем, опубликованным в Советском Союзе.

В моей жизни Ленка несколько раз сыграла огромную роль благодаря удостоверению сотрудника «Аргументов и фактов», и я этого никогда не забуду.

Когда нашей дочери Виктории стало невозможно жить в Советском Союзе и она подала документы на отъезд в Израиль, ОВИР развернулся во всю свою молодецкую статью. Время было раннегорбачёвское, шла Перестройка, но не так стремительно, чтобы добраться до ОВИРа. Сотрудники ОВИРа всё ещё проявляли исключительную изобретательность в издевательствах над клиентами, и Вика оказалась удобной мишенью. Как художник по костюмам, она участвовала в постановке «Декамерона» в Тюменском кукольном театре, о чём в её трудовой книжке была сделана неосторожная запись. Вика работала в Тюменском кукольном театре два раза по две недели без тюменской прописки, тем самым злонамеренно избежав «всевидящего ока» тюменской милиции. ОВИР заявил: пока тюменская милиция не пришлёт подтверждения, что Вика *не совершала* в Тюмени уголовно наказуемых деяний, отпустить её из страны никак невозможно. В течение полугода почти каждый день, как на работу, Вика ездила в ОВИР и отстаивала там огромные очереди, чтобы в очередной раз услышать стандартный ответ: сведений от тюменской милиции о *несовершении* ею уголовно наказуемых деяний в ОВИР не поступало. Нам было очевидно, что это изошрённое издевательство, но Вика упрямо продолжала ездить в ОВИР и стала похожа на тень. Однажды утром – дело было в понедельник – я проснулась с твёрдым намерением объявить голодовку на пороге ОВИРа.

Сказала об этом мужу Володе – его чуть инфаркт не хватил, – но меня было уже не остановить. Я обзвонила знакомых журналистов, благо после наших с папой публикаций о «Деле врачей» у нас оказались знакомые и друзья во всех основных радиостанциях и журналах мира: Би-Би-Си, «Голос Америки», радио «Свобода», «Нью-Йорк Таймс» и т. д.; я попросила их приехать в ОВИР к четырём часам дня, чтобы я могла объявить голодовку в их присутствии. Заодно позвонила и Ленке в «Аргументы», пригласила и её, а сама поехала в ОВИР и, можно сказать, «ногой открыла дверь» начальника ОВИРа и сообщила о своём намерении. Начальник ОВИРа (фамилия, если память мне не изменяет, Кочетков) сначала

подумал, что я блефую. Но тут примчалась Ленка с нагрудным знаком «Аргументы и факты». Она-то примчалась по слёзной просьбе Володи, чтобы уговорить меня отказаться от этой затеи, но начальник ОВИРа об этом не знал. Увидев Ленкин журналистский нагрудный знак, он понял, что дело серьёзное. Близилась XIX партконференция, и скандал был ОВИРу ни к чему. Начальник пригласил меня в свой кабинет и попросил отменить голодовку – подождать до четверга: «В четверг мы дадим вам ответ». – «Вы нам уже полгода даёте ответ, – возразила я, – мне надо знать, какой ответ вы нам дадите». – «Я вас *прошу* отменить голодовку и подождать до четверга». Я решила рискнуть. Прямо из кабинета начальника ОВИРа я обзвонила приглашённых иностранных корреспондентов и сообщила, что голодовка откладывается до четверга... Ровно в девять часов утра в четверг нам позвонили из ОВИРа с сообщением, что Викины документы на отъезд готовы и мы можем приехать их забрать.

Второй случай произошёл накануне Викиного отъезда в Израиль. Это была кровавая история. Пять раз (!) Вика пыталась сдать экзамен на автомобильные права. После каждого экзамена у неё подсказывала температура на нервной почве чуть не до сорока. С пятого раза она, наконец, сдала. Права должны были ей выдать недели за две до отъезда, но «почему-то» они не были готовы вплоть до самого последнего дня. Путь в ГАИ не близкий – он у Кольцевой дороги, и всё-таки Вика накануне отъезда опять туда поехала. Позвонила оттуда очень огорчённая с сообщением, что права опять не готовы. Я попросила её узнать телефон какого-нибудь начальника, и кто-то дал ей номер. Я позвонила. Ответил солидный баритон: «Полковник такой-то» (фамилию, к сожалению, забыла). Я сказала: «Моя дочь, Виктория Рапопорт, завтра улетает в Израиль. Ей должны были выдать права две недели назад, но почему-то до сих пор не выдали. Вы не могли бы ей помочь?». И вот что я услышала в ответ: «Я Рапопортам, Эпштейнам, Коганам не помогаю. Их надо уничтожать!». Это сказал человек, сидящий в погонах полковника



Мы с Ленкой на кухне у Даниэлей. 1994 г.

милиции в своём рабочем кабинете! Я страшно перепугалась за Вику, но не могла ей сказать, чтобы бежала оттуда, пока цела, потому что эра мобильных телефонов тогда ещё не наступила, и надо было ждать, пока она сама не позвонит. Тем временем я позвонила Ленке в «Аргументы и факты» и дословно передала нашу беседу с полковником. Даже в трубке было слышно, как Ленка заскрипела зубами: «Дай-ка мне телефон полковника». Ленка позвонила ему, представилась и сказала: «Вам только что звонила гражданка Рапопорт, просила вас помочь с выдачей задержанных вами автомобильных прав её дочери, отъезжающей завтра в Израиль. Вы не могли бы мне дословно повторить, что вы ей ответили?». После некоторого молчания полковник ответил: «Я ей сказал, что права её дочери готовы, и она может их получить в восьмом окне». Вика вернулась домой с автомобильными правами.

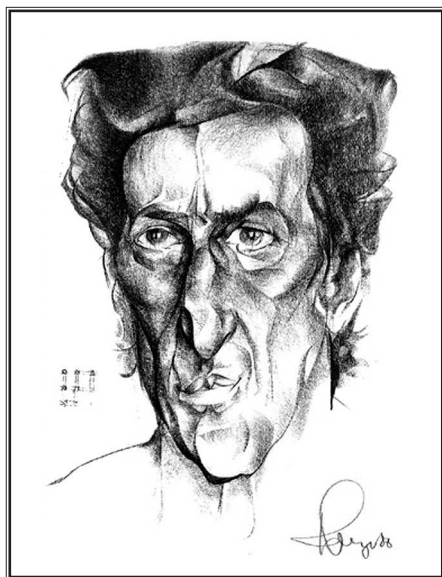
В третий раз Ленка меня просто спасла. В Штатах мне больше чем на год задержали выдачу гринкарты, требуя предъявить

свидетельство о разводе с Молодцовым, без которого (свидетельства, а не Молодцова) легитимность двух десятилетий моего брака с Владимиром Вайсбергом почему-то вызывала подозрения. Я считала это тридцатилетней давности свидетельство давно потерянным, и ситуация с гринкартой представлялась отчаянной и безнадежной. Но по какому-то невероятному везению, в результате многодневных поисков в немыслимой куче барахла и бумаг, оставшихся в стенном шкафу после Володиного отъезда в Штаты, Ленка нашла моё свидетельство о разводе, и эта находка стала для меня настоящим даром небес.

Годы Ленку щадили, и в семьдесят она была такой же привлекательной, как в двадцать. Её не портили ни мужского вида ботинки, в которых она отважно преодолевала колдобины Тёплого Стана, ни неизменный рюкзачок за спиной, где без проблем уживался томик пушкинских стихов с бутылкой самопальной водки, продуктом Ленкиного неизвестно откуда взявшегося химико-технологического гения.

...В Москве мы часто собирались и много пели. То есть пела, конечно, Ленка, ей подпевали Володя и наша подруга Татьяна Соколинская, а я старалась молчать, чтобы не портить песню. Не так давно Ленка мне сказала, что я начала попадать в ноты, и это был высший комплимент.

Я не видела Ленку умершей, и она живёт в моей памяти такой, какую я полвека знала и любила: яркой, жизнерадостной, несмотря на все невзгоды, талантливой, доброжелательной, красивой и по-христиански доброй. Такой и останется в памяти всех, кто её знал и любил.



Портрет И. Губермана работы Бориса Жутовского

ЕЩЁ СМОТРЮ НА НЕЖНЫХ ДЕВ...

«ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ» ОБ ИГОРЕ ГУБЕРМАНЕ

*Я свободен от общества не был,
И в итоге прожитого века
Нет места в душе моей, где бы
Не ступала нога человека.*

Игорь Губерман

Приведенный ниже текст был написан двадцать лет назад к шестидесятилетию Губермана. Я решила ничего в нём не менять: не вижу оснований. Губерман вечен, как вечны музы, диктующие ему внешне весёлые, внутри горькие и даже трагические, но всегда немислимо талантливые и остроумные строчки.

В старость Губермана трудно поверить, хотя он и бряцает ею, как боевыми доспехами. Послушайте хотя бы это:

*Увы, всему на свете есть предел.
Обвис фасад, и высохли стропила.
В автобусе на девку поглядел –
Она мне молча место уступила.*

Это где же уступила место, в Израиле? Не верю. А впрочем... почему нет? В стихах ведь не оговорено, какое именно место девка ему уступила. Хоть бы и в автобусе, – это же Губерман!

*Мы были тощие повесы,
ходили в свитерах заношенных,
и самолучшие принцессы
валялись с нами на горошинах.*

Было бы ошибкой путать самого Губермана с его лирическим героем. Хотя кое-что, возможно, почерпнуто им из личного опыта и соответствует истине:

*Стало сердце покалывать скверно,
Стал ходить, словно ноги по пуду.
Больше пить я не буду, наверно,
Но и меньше, конечно, не буду!*

Дружить с Губерманом – это как выиграть миллион долларов по трамвайному билету: редкостная удача. Познакомилась я с Губерманом через Даниэлей. У Даниэлей я проводила столько времени, что мой муж однажды спросил, встретившись со мной в подъезде: «Поднимешься ко мне на четвертый этаж или сразу домой пойдешь?»

Однажды, копаясь в даниэлевской библиотеке, я наткнулась на небольшую книжку в твердом бежевом переплете.

Ещё смотрю... «Открытым текстом» об Игоре Губермане

Книжка называлась «Чудеса и трагедии черного ящика». Фамилия автора – Губерман – мне ничего не говорила. Я начала листать книжку и обомлела. На фронтисписе, на полях, с изнанки – она вся была исписана потрясающими четверостишиями:

*Евреи продолжают разъезжаться
Под свист и улюлюканье народа,
И скоро вся семья великих наций
Останется семьей без уroda.*

Или:

*Россия – странный садовод,
И всю планету поражает,
Верша свой цикл наоборот:
Сперва растит, потом сажает.*

Или:

*Я государство вижу статуей:
Мужчина в бронзе, полный властности.
Под фиговым листочком спрятан
Огромный Орган безопасности.*

И, наконец, бьющее наповал лаконичное:

*Давно пора, еб-на мать,
Умом Россию понимать!*

Я помчалась к Юлику: «Что это?!» Юлик сказал с большим уважением:

– О, дружок, это Губерман. Его скоро должны выпустить. По моим расчетам – где-нибудь через полгода. Как только выйдет, он непременно появится здесь, так что вы с ним познакомитесь.

– Он что, сидит? – задала я идиотский вопрос. Юлик поразился и даже обиделся:

– Конечно, сидит! Или, по-вашему, человек, который пишет такие стихи, должен разгуливать на свободе? Это матерый уголовник. Скупщик краденого. А стихи свои он называет «дацзыбао».

И Юлик рассказал мне губермановскую историю. Не все в ней оказалось исторически достоверно, но я передам ее так, как услышала от Юлия Даниэля.

Губерман был известен как страстный коллекционер примитивной живописи и икон. Вскоре после того, как книжечка его «дацзыбао» каким-то непостижимым образом попала во Францию и была там опубликована, к Губерману явились два мужика и предложили купить у них замечательную икону. Губерман не устоял перед соблазном и купил. Вслед за мужиками явилась милиция, конфисковала покупку, арестовала Губермана и обвинила его в скупке краденого. На суде мужики, якобы укравшие икону, выступали свидетелями – их и не думали наказывать, судили одного Губермана. На процессе Губермана о его стихах не было сказано ни слова: просто судили мелкого уголовника. Дали ему как уголовному элементу пять лет лагерей. Губерман отбывал наказание в Сибири, вел себя хорошо, целеустремленно перевоспитывался, и его отпустили из лагеря «на химию» («химия» – бесконвойная работа на стройках или химических предприятиях с обязательной ежедневной явкой в милицию для контроля). Следуя замечательной русской традицией, по проторенной русскими женщинами дороге в Сибирь к Губерману приехала его жена Тата Либединская с шестилетним сыном Милькой. И вот теперь губермановский срок подходил к концу, и вся компания вскоре ожидалась в Москве, хотя Губерману как уголовному элементу путь в столицу был заказан. «Не сомневаюсь, что вы скоро с ним познакомитесь», – обещал мне Юлик.

Прошло какое-то время. Однажды ночью у Юлика был сердечный приступ, и Ирина отвезла его в больницу. Позвонила мне утром:

– Сегодня должен прилететь из Ставрополя режиссер Толя Тучков, ты его знаешь. Я у Юлика в больнице. Сходи вниз, оставь ему на двери записку, чтобы поднимался к тебе, а на работу не ходи.

Я осталась дома в ожидании Тучкова, коренастого приземистого здоровяка. И вот звонок в дверь. На пороге стоит высокий тощий человек, так плотно закутанный в мохнатый серый шарф, что видны только небольшие пронзительные глаза и длинный, висячий, не поддающийся шарфу нос:

– Я поднялся по вашей записке.

– Не хотите ли сказать, что вы – Тучков?!

– Нет, я не Тучков, я – Губерман.

Помните сцену Дубровского и Маши:

– Я не француз Дефорж, я – Дубровский!

Эффект был примерно такой же. Меня как громом поразило:

– Губерман?!

– Вам знакомо это имя?

– Еще бы! Читала вашу блистательную прозу.

– Какую именно? У меня много блистательной прозы.

– Да заходите же, что вы стоите на пороге. Выпьем кофе, я вам все расскажу.

Но Губерман сверлил меня острым взглядом и не спешил заходить. Наконец сказал:

– Давайте играть на равных. Вы знаете, что я пишу блистательную прозу, а я о вас ничего не знаю. Вы тоже пишете блистательную прозу?

– О, да. Блистательную прозу об окислении ориентированных и напряженных полимеров. Заходите, я вам из нее почитаю.

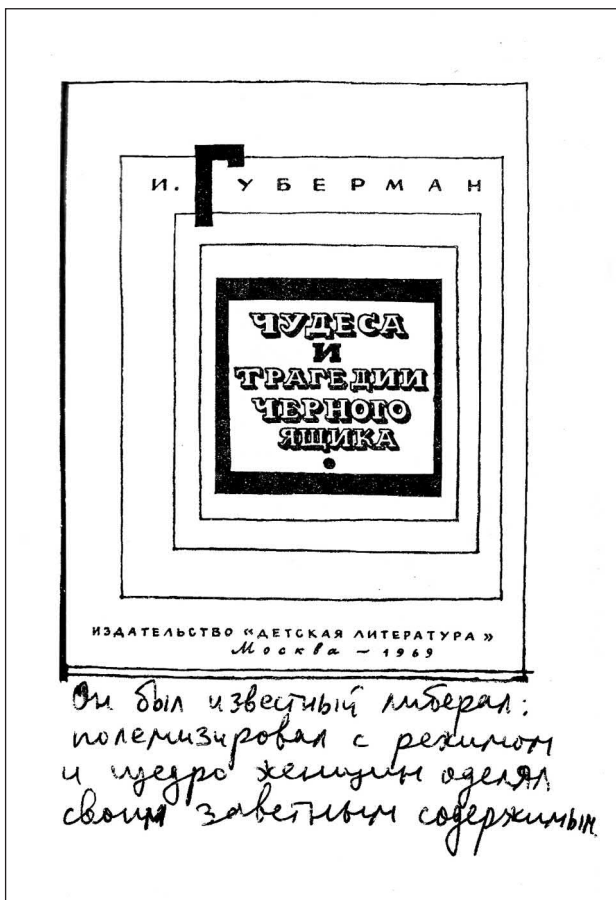
– Кто вы, незнакомка?

– О врачах-вредителях слышали?

Губерман заметно оживился:

– Вы не из них ли?

– Из их гнезда. Сколько капель яда вы предпочитаете в ваш кофе в это время суток?



И Губерман переступил порог.

– Хочу вас предупредить: я сейчас должен находиться минимум в ста одном километре от вашей кухни.

– Догадываюсь.

Так началось наше знакомство. Я сказала:

– Юлик вас очень ждал. Приходите обязательно, когда его выпишут из больницы. Я вам позвоню.

Ещё смотрю... «Открытым текстом» об Игоре Губермане

Мы начали перезваниваться. Бывало, позвонит Губерман, скажет, сильно картавая:

– Совершенно секретно, батенька. Доложите, пожалуйста, остальным товагищам:

*Я забыл о Петгоггаде,
Канул в сочную тгаву.
Мне тепегь не надо Нади,
Я с Зиновьевым живу.*

Казалось бы, ну какое мне дело до Зиновьева и Нади, а я целый день хожу счастливая. А уж когда стишки касались лично меня и моей научной деятельности, восторгу моему вообще не было предела:

*От силы знания мир ослаб,
И стало тускло в нем:
Повсюду тьма ученых баб
И нет мужчин с огнем.*

Однажды позвонил:

– Написал эпиграф к твоей докторской диссертации. Требую, чтобы ты немедленно напечатала его на титульном листе.

Я насторожилась:

– Эпиграф?

– Да. Слушай и записывай. Или лучше сразу печатай:

*Толпа естествоиспытателей
На тайны жизни пялит взоры.
А жизнь их шлет к еб-ней матери
Сквозь их мозгучие приборы.*

– Ну, не буду тебя отвлекать, печатай. На титульном листе, наверху справа.

Минут через пять он позвонил снова:

– Готово? Если нет, я печатаю сам – на анонимке в ВАК!

И вскоре:

– Вот тебе эпитафия: «Спи спокойно, дорогой товарищ, факты не подтвердились!»

В лагере Губерман написал повесть «Прогулки вокруг барака» (нашёл-таки подходящее время и место!). Как-то мы с ним поехали к Даниэлям в Перхушково, и Губерман захватил с собой рукопись. Я начала её читать и уже не могла оторваться. Они общались, а я читала всю ночь. Для меня эта повесть оказалась едва ли не страшнее всего, к тому времени прочитанного: Солженицын и Шаламов описывали ужасы тех, далёких лет, а Губерман любезно распахивал перед вами двери в тюрьмы и лагеря восьмидесятых годов – двери, всегда готовые принять лично вас... Написано это было ярко и талантливо, что усугубило мой ужас. Утром я вышла бледная, влажмаченная и насмерть перепуганная.

– Вот как выглядит женщина, которая провела ночь с Губерманом, – мельком взглянув на меня, бросила Ирина.

...Недавно я перечитала «Прогулки вокруг барака», уютно устроившись на освещенной закатным солнцем террасе своего дома в Солт-Лейк-Сити. Отсюда оказалось не страшно.

Игорь любит рассказывать на своих выступлениях, как однажды отважился дать почитать свои стихи человеку, мнением которого очень дорожил, и шел к нему через неделю в большом волнении. Волновался он, как выяснилось, напрасно: друг его отнесся к стихам очень доброжелательно и долго и обстоятельно их хвалил. Совершенно расчувствовавшийся Губерман потерял бдительность.

– А у меня еще вчера сын родился, – сообщил он. Друг нежно обнял его и сказал:

– О, вот это настоящее бессмертие, а не то говно, которое вы пишете!

Это действительно оказалось бессмертие. Сын с раннего детства стал оправдывать свои гены. Как-то Милька получил двойку по физике. Игорь, отбыв срок, жил нелегально у тещи в Переделкине. Тата позвонила из Москвы с этим горестным известием и послала Мильку к Игорю. Игорь встретил сына у калитки, протянул для приветствия руку и тоном, не предвещавшим ничего хорошего, сказал:

– Ну, здравствуй, сын!

Милька живо спрятал свою руку за спину:

– Отцам двоечников руки не подаю!

Вскоре Милька написал в школьном сочинении о Чацком: «Того, кто искренне болеет душой за общество, общество искренне считает душевнобольным!» Я заподозрила руку Игоря, но он поклялся: «Мне такого не придумать!» Я поразмыслила и решила, что это правда.

Хотя сам Губерман тоже не промах. Только большой философ мог так элегантно повенчать материализм с идеализмом: «Материя есть объективная реальность, данная нам Богом в ощущении»!

Когда семейство Губерманов выкидывали из страны, восьмиклассник Милька, сибирская косточка, объявил в школе, что уезжает в Израиль. Учительница совершенно искренне спросила:

– И родители с тобой?

Перед отлетом, в аэропорту Шереметьево, Губерман выглядел совершенно невменяемым. Я не сомневалась, что Израиль станет ему домом, и, как и следовало ожидать, он прижился мгновенно. Многих эмиграция ломает. Губерман остался Губерманом:

Еврею нужна не простая квартира:

Еврею нужна для житья непорочного

Квартира, в которой два разных сорта:

Один – для мясного, другой – для молочного.

или

*Неожиданным открытием убиты,
Мы разводим в изумлении руками,
Ибо думали, как все антисемиты,
Что евреи не бывают дураками!*

Я залетела в Израиль месяца через два после того, как туда отбыла наша дочь Виктория, примерно через год после отъезда Губермана. Вот что я застала. Вика жила в крохотной комнатухе на первом этаже, небольшой колченогий диванчик занимал девяносто процентов полезной площади, окно не закрывалось, по утрам сверху выливали помои не привыкшие к городской жизни марокканские евреи, помои лились прямо на кровать спящей Вики...

Я была потрясена. Позвонила Губерману.

– Не огорчайся, старуха. Через это надо пройти. Все проходят. Кстати, я только что купил машину «Дай Кацу» (это, конечно, «Даяцу»), сейчас за тобой заеду, но имей в виду, что с годами я стал домосексуалистом...

Шестидесятилетие – второй губермановский юбилей, на котором мне посчастливилось побывать. Праздновали его в Иерусалиме, в огромном ресторане над бензоколонкой. Подарок Губерману друзья придумали задолго до юбилея. С детства известно, что лучший подарок – это книга. Но дарить писателю книгу какого-нибудь другого писателя было бы, согласитесь, бестактно. Поэтому решено было подарить Губерману книгу самого Губермана – да не одну, а целый тираж! Тираж избранного Александром Окунем и Диной Рубиной по их собственному вкусу из многотысячного собрания губермановских строчек. Книга вышла замечательная, как и обещали составители... Называется она «Открытый текст». Теперь это библиографическая редкость. Очень вам рекомендую.

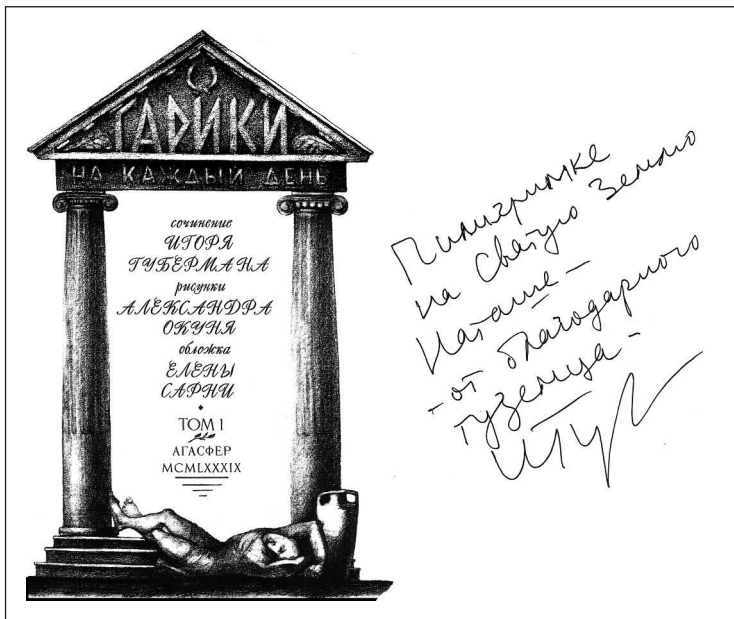
Когда Губерман был бедным, я не хотела, чтобы он мне дарил книги: я хотела их *покупать*. И когда после концерта он, как

всегда, собирал адреса для рассылки книг, я подсунула записку со своим адресом, но написала другую фамилию. Как видно из приведенной ответной записки, адрес мой он узнал и пришёл в некоторое замешательство.

Уважаемая Наталья!
Шлю Вам книжки, заказан-
ные Вами, спасибо за
интерес и простите задерж-
ку — переделывал менюары
и поталя по гастролям.
Теперь с Вас принимается
чек на 25\$, мой адрес —
на конверте. Всего Вам
доброго, до встречи —
ИТЗ

Концы официальной записки.

Наташенька, приветы всем
твоим и нашим, а если
чек не вышлешь — примию
Киллеров. Если ты разумеешь,
та Наташа, а не какой дурак.
Если дурак — извиняюсь
за вторую часть замешки и
киллеров не примию. ИТЗ





Маршаки. Фото из архива Саши Райз

ДЕТИ НАШЕГО ДВОРА, КРЕПНУТ ВАШИ КРЫЛЬЯ...

МОИ МАРШАКИ

*Дети нашего двора,
Крепнут ваши крылья,
Ваша детская игра
Завтра станет былью.*

Самуил Маршак

С Маршаками, где, напомним, отмечали отъезд Наума Коржавина в Штаты, мы много лет жили на одной лестничной площадке, друг напротив друга, и по-соседски дружили. Квартира Маршаков была «густонаселённой»: там жили сын Самуила Яковлевича Маршака, Иммануэль Самойлович (Элик), его жена Мария Андреевна и их сыновья Саша и Яша.

Коржавин, как оказалось, гостил у Маршаков довольно долго, просто я с ним не пересекалась. Когда он разошёлся с первой женой, жить ему стало негде, и Иммануэль Самойлович, человек необыкновенной доброты и отзывчивости, пригласил его к себе. Школьников Сашу с Яшей переселили в другую комнату, и Коржавин жил в детской. Позже, когда он встретил Любу Верную, и они поженились, Иммануэль Самойлович купил им небольшую квартиру. Но проводы Коржавина в Америку были всё-таки у Маршаков.

Надо ли объяснять, что с соседями по лестничной площадке мне необычайно повезло. Иммануэль Самойлович был красивый, обаятельный, искромётный человек, очень добрый и щедрый. Крупный физик, специалист по светотехнике, лауреат Сталинской премии, он унаследовал от отца литературный талант, сочинял стихи и переводил английскую прозу.

Известная родословная его жены Марии Андреевны Ляпуновой простирается на два столетия, от начала девятнадцатого века, и пестрит именами знаменитых учёных – химиков, биологов, математиков, астрономов, профессоров и академиков, работавших, к примеру, с Лобачевским и Сеченовым. Композитор Ляпунов тоже из этой семьи. Двоюродный дед Марии Андреевны, академик Александр Михайлович Ляпунов, подарил своё имя московской улице, популярной благодаря расположенной там академической больнице, в простонародье – Ляпуновке.

Отец Марии Андреевны собирал русскую живопись и стал одним из крупнейших её коллекционеров; друг семьи художник Игорь Грабарь считал его коллекцию одной из пяти самых значительных в России. В квартире Маршаков висели потрясающие картины; про одну из них Саша сказал мне, что это подлинник Гейнсборо. Я не могла поверить, но оказалось – правда. А родной брат Марии Андреевны Алексей Андреевич Ляпунов, математик, был одним из основоположников кибернетики.

По стилю жизни, образу мыслей, кругу друзей это были люди высочайшей интеллигентности и благородства. Конфликт

с советской властью был для них неизбежен. Остаётся только удивляться, что он возник так поздно. Крупные неприятности на работе возникли у Иммануэля Самойловича только в конце жизни. Не знаю, был ли он уволен, но на службу не ходил и последний год жизни посвятил разбору архива отца, проделав титаническую работу. Умер он очень рано, от неудачной операции, едва отметив своё шестидесятилетие.

По возрасту я была между Иммануэлем Самойловичем и Марией Андреевной с одной стороны и их сыновьями Сашей и Яшей – с другой. Ребята со мной дружили и доверяли мне сердечные и прочие тайны, которыми с родителями не делились. Я, как могла, помогала им в разных щекотливых ситуациях, буде такие возникали.

Яша в школьные и студенческие годы был необыкновенный романтик и постоянно витал в облаках. Однажды прихожу с работы домой и застаю такую картину. Поздний зимний вечер ясного морозного дня, на улице градусов двадцать по Цельсию; в своей комнате, на подоконнике распахнутого настёж окна (четвёртый, между прочим, этаж) стоит моя пятилетняя Вика, её с обеих сторон слегка страхует протянутыми руками Яша, и оба водят руками около лиц, совершая какие-то странные пассы. У меня от ужаса ноги подкосились. Вика обернулась ко мне в полном восторге: «Мы умываемся лунным светом!»... В другой раз я встретила Яшу на улице: он нёс за хвостики три каких-то неведомых мне огромных шишки. «Что это у тебя?» – «Ананасы», – ответил Яша. То ли они упали к нему в руки с какого-то «большого стола», то ли прислала с оказией двоюродная бабушка из Америки. Даже на улице ананасы благоухали, распространяя одуряющий аромат. Пока мы с Яшей беседовали, прохожие подходили, смотрели, изумлялись. Яша тут же попытался подарить мне один ананас, обозначив точный адрес: «для Вики», и не успокоился, пока я не приняла подарок.

Яша окончил мехмат, но мечтал о медицинском образовании. Он рано завёл семью (позже выяснилось, что не одну), они

требовали материальной заботы и внимания, и он старательно подавлял мечты о медицине. Но не выдержал – и в последний разрешённый законом год, в возрасте тридцати пяти лет, всё-таки поступил в медицинский институт, окончил его и стал дипломированным врачом. Яша выбрал себе довольно редкую в медицине область: лечение алкоголиков и наркоманов. С моей обывательской точки зрения, дело это сродни «умыванию лунным светом», но, судя по благодарственным отзывам в фэйсбуке, Яша действительно помогает этим несчастным.

Саша в детстве и юности был полной противоположностью брату: без романтических эскапад, крепко стоящий на ногах, высокий, очень красивый, с хорошим чувством юмора, открытым, доброжелательным характером и унаследованным от деда и отца поэтическим даром. Хочу рассказать тут одну его историю, которая в своё время произвела на меня сильное впечатление. В шестнадцать лет, как положено, Саша отправился получать паспорт. Ему попалась благожелательная и умудрённая жизнью паспортистка. Взглянув на заполненную анкету, паспортистка ахнула: «Зачем ты пишешь в пятой графе "еврей"?! У тебя же мама русская! Ты вообще можешь сейчас взять себе фамилию Ляпунов!». Но в вопросах этических и принципиальных Саша, как и все в семье, оказался крепким орешком: «Нет, моя фамилия Маршак, я еврей. Пожалуйста, так и запишите». Паспортистка вздохнула: «Ты молодой и ничего не понимаешь. Я паспорт тебе сейчас выписывать не буду. Следующий раз приходи с мамой». На следующий день Саша пришёл с Марией Андреевной. Она сказала паспортистке: «Мой сын принял решение и его не изменит. Запишите, пожалуйста, как он просит: фамилия – Маршак, национальность – еврей». Оба сына Марии Андреевны Ляпуновой сохранили фамилию и национальность отца и деда.

...После смерти Иммануэля Самойловича квартира Маршаков на нашей площадке, какой я её знала и любила, опустела. Яша перебрался в другую квартиру в нашем же доме, а Мария Андреевна и Саша переехали в музей-квартиру Самуила

Яковлевича на Чкаловской. Кстати, сохранить квартиру Маршака на Чкаловской как музей помог Михалков. Замечу в скобках: я слышала от многих, что Михалков вообще охотно подписывал нуждающимся разные «квартирные» письма, одалживал деньги: пытался, видно, через благотворительность частично загладить свою неизбывную вину перед российской культурой.

В опустевшую квартиру Маршаков въехал старший сын Иммануэля Самойловича Алёша Сперанский с женой, тещей и двумя детьми.

То, что у Иммануэля Самойловича есть сын от первого брака, было для меня полной неожиданностью: я никогда о нём не слышала ни от старших, ни от младших Маршаков. Алёша оказался славным, мягким, высокообразованным и интересным человеком, по специальности археологом. Это была типичная советская интеллигентная семья: книги, театры, кинофестивали, песни Окуджавы. Всё было как надо, но из квартиры исчез, выражаясь фигурально, «дух Гейнсборо»: его сменил лёгкий местечковый аромат.

Алёшиной жене решительно не нравилось всё, оставшееся в квартире от прежних хозяев: «Не понимаю, как интеллигентные люди могли жить в квартире с такими обоями!» – «Возможно, мама не разбиралась в обоях, потому что выросла в доме, где их не было видно под картинами Врубеля, Серова, Левитана, Боровиковского», – заметил Саша Маршак.

Вскоре после появления Сперанских в нашем ареале папа спросил меня: «Алёша Сперанский – действительно сын Элика?». Я ответила утвердительно. «Тогда почему он Сперанский, а не Маршак?». Я и сама, честно говоря, задавалась этим вопросом. «Не знаю. Элик с Алёшиной мамой разошлись; может, она на него в обиде и не хотела давать Алёше его фамилию. К тому же Алёшин второй дед – Сперанский – крупный академик». – «Академик Сперанский? А, ну-ну», – сказал папа с какой-то странной, насторожившей меня интонацией, и пошёл в свой кабинет. Я помчалась выяснять, что он имел в виду, но папа

больше не сказал на эту тему ни слова. Я продолжала дружески общаться со Сперанскими, и это было конечно, правильно, даже если бы я и знала то, что знаю сейчас.

Загадку папиного «ну-ну» я разгадала совсем недавно, разбирая папин архив перед отправкой его в Гуверовский институт. В конце сороковых – начале пятидесятих годов, после коронации Лысенко и печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ, искоренившей «лженауку» генетику и сурово покаравшей «вейсманистов-морганистов», каждая уважающая себя наука начала искать крамолу в своих рядах и выжигать её каленым железом. Медицина не осталась в стороне от этого процесса. Крамольным направлением в медицине – аналогом «вейсманизма-морганизма» в биологии – было назначено так называемое «вирховьянство». Интересно, что одним из главных «вейсманистов-морганистов» был крупнейший учёный Иосиф Абрамович Раппопорт, позже представленный к Нобелевской премии, а одним из главных «вирховьянцев» был мой папа, Яков Львович Рапопорт. Папу и Иосифа Абрамовича часто путали: звонили нам по телефону и просили Иосифа Абрамовича. В таких случаях папа говорил: «Вы хотите поговорить с Раппопортом – вейсманистом-морганистом, а попали к вирховьянцу...».

КрамOLA вирховьянцев состояла в том, что вслед за Вирховым они утверждали, что всё живое – из клетки, и каждая клетка – из клетки, а не из мистического «живого вещества», придуманного соратницей Лысенко по «революции в биологической науке» Ольгой Борисовной Лепешинской.

Папа писал статьи о Вирхове в Медицинскую энциклопедию и поэтому считался «злостным вирховьянцем». А главным обличителем папы оказался Алёшин дедушка, академик Алексей Дмитриевич Сперанский. Не устаю цитировать: «причудливо тасуется колода»!

Академик Сперанский играл в медицине примерно ту же роль, что Лысенко в биологии. В те тёмные годы научные дискуссии вышли за пределы научных обществ и переселились в

партийные кабинеты. Сперанский претендовал на создание новой теории медицины; его представления о природе болезни (в вульгарной формулировке: «все болезни – от нервов»), были признаны коммунистической партией единственно правильными. Позиция же Вирхова и его последователей, согласно которой болезнь есть патология клеток (целлюлярная патология), квалифицировалась как вражеская вылазка. С некоторыми оговорками именно эту позицию отстаивал мой папа. Это было небезопасно.

В декабре 1949 года, в самый разгар борьбы с космополитизмом, состоялось заседание бюро Отделения медико-биологических наук Академии наук СССР с докладом академика Сперанского и его обсуждением. Папе, видимо, пришлось несладко. Доклада Сперанского я не видела, но у меня есть папин ответ. Своё выступление папа начал словами: «Те обвинения, которые были выдвинуты в докладе А. Д. Сперанского, совершенно необоснованные... *Врагов здесь нет*, а есть советские исследователи... Почему я, как патолог, не могу сказать, что у нас есть новая единая теория медицины?.. Я являюсь прозектором большой Московской больницы... Когда мы сопоставляем результаты лечебной работы за 1939 год с теми результатами, которые наблюдаем сейчас, мы видим, что многие заболевания, дававшие огромную летальность 10 лет назад, исчезли с нашего секционного стола. Но я, к сожалению, не видел, чтобы эти успехи в какой-то мере были связаны с тем направлением, которое развивает А. Д. Сперанский, и чтобы его идеи получили практическое приложение в клинике... Необходимо констатировать, что проверка практикой теории Сперанского предпринималась неоднократно и с большой настойчивостью, и что её результаты следует признать отрицательными. Это меня удерживало от безоговорочного признания учения Сперанского и удерживает сейчас». Это была неслабая пощёчина. Папа пошёл дальше и процитировал положения учения Сперанского, которые легко могли бы быть квалифицированы как «вирховьянство». Сперанский

мгновенно отреагировал: «Мы всё это признаём. Я был таким же «вирховьянцем», как и Вы, и не мог быть другим». – «Вот об этом я и говорю, – сказал папа, – я убеждён, что непримиримых противоречий у нас нет, и мы обязаны их примирить с тем, чтобы служить единой цели, для которой мы все и живём на свете». Папино выступление было чревато тяжёлыми последствиями. Ответом на него стал разгром института, в котором он был научным руководителем, заместителем директора по науке. Институт уничтожили, сотрудников выкинули на улицу, и папа, с клеймом злостного «вирховьянца», оказался без работы в самый разгар разнузданной антисемитской кампании. Но мир не без порядочных людей. Папе не побоялся дать лабораторию в своём институте замечательный человек Семён Иванович Диденко, директор Контрольного института сыворотки и вакцины. Это на несколько лет отложило аутодафе; потом папу арестовали по «делу врачей».

...Но сын, и тем более внук, за деда не ответчик. По характеру, отношению к жизни и этическим нормам Алёша Сперанский гораздо больше совпадает с отцом, с которым не жил, чем с дедом, чью фамилию носит. Кстати, теперь Алёша пишет свою фамилию через чёрточку: Сперанский-Маршак.

Алёша с семьёй уже много лет живёт в Израиле. В начале израильского пути он, похоже, хлебнул всё, что «полагалось» новому репатрианту; во всяком случае, наша дочь Виктория, эмигрировавшая в Израиль примерно в то же время, встречала его как коллегу по общей работе в «шмире» («шмира» – система охраны, а попросту сторожей, в Израиле). Но когда я навестила Вику в Израиле, Алёша работал уже в Музее Израиля, по специальности. Думаю, что для Музея это была настоящая находка, а для Алёши – самое подходящее место в мире.

С Самуилом Яковлевичем Маршаком я знакома не была. Он жил на Чкаловской. Его внуки Саша и Яша приносили иногда с Чкаловской забавные истории. К примеру, Самуил Яковлевич подарил себе как-то на день рождения дорогую авторучку,

упакованную в красивую коробочку. К коробочке сверху было приклеено посвящение «от Михалкова»:

Я авторучку от души тебе преподношу.

Ты ей стихи свои пиши – а я перепишу!

Сомневающимся в справедливости настоящего двустушия отсылаю к главе об Арлене Блюме в этой книге.

...После переезда Маршаков из их квартиры на Новопесчаной мы виделись лишь эпизодически, и я мало что о них знала. Яша – человек на виду, и как о всяком человеке на виду, о нём ходили разные слухи, весьма противоречивые, я ни одному из них не верила. О Саше слышала, что он с Марией Андреевной и женой Таней тихо живёт «в глуши лесов сосновых» под Москвой и занимается архивом деда. Но жизнь имеет счастливую тенденцию восстанавливать утраченные связи.

У меня много друзей в Бостоне, самом культурном городе Америки. Среди них – Лёня и Саша Райзы. Сашенька Райз (в девичестве Лялька) – ровесница Саши Маршака. Во избежание путаницы с Сашей Маршаком, буду в дальнейшем называть её Лялькой. Она превосходная художница-керамистка, хотя по образованию, как водится, что-то совсем другое. Лёня – специалист по компьютерным делам. Голова у него – настоящая академия наук, и я часто обращаюсь к нему за советом по любому жизненному поводу. Приехав в Штаты, Лёня какое-то время поработал в чьей-то компании, пригляделся, открыл свою компанию и повёл дела так, что через какое-то время продал её за цифру со многими нулями. Вениамин Смехов любопытствовал:

Вызывает антирес

Райза творческий процесс:

За компьютером он ночью

Спит с подушкой али без?

Деньги Райзы используют с толком: реально и весомо поддерживают науку и искусство в Израиле. Монумент «Книга» в Технионе, работа Бориса Заборова, воздвигнут с их прямым участием. Лёня – член совета «Техниона». Лялька открыла для детей, живущих на «территориях», в Сдероте, школу керамики. Детей там постоянно осыпают из-за забора ракетами «касам», а они, знай себе, лепят и радуются жизни, для чего, собственно, детство и предназначено.

Жизнь Райзы тоже используют с толком. Лазят по вертикальной стене, карабкаются на горные вершины, катаются на горных лыжах и много путешествуют. Дом у них огромный, обставлен хозяйкой с отменным вкусом, увешан картинами друзей-художников (некоторых из них, возможно, потомки назовут великими). Артисты, художники, писатели, поэты – всё творческое, приезжающее в Бостон, гостит у Райзов. Я называю их дом «Приютом комедиантов». Нам с Володей тоже перепадает из этого источника. Но прошло лет пятнадцать, а то и больше, прежде чем мы с Лялькой договорились до Маршаков. Подумать только, Лялькин папа оказался самым близким другом Иммануэля Самойловича Маршака (для Ляльки – дяди Элика)! На старой фотографии из Лялькиного архива «дядя Элик» несёт на плечах Ляльку (будущую Райз), а Сашка Маршак, явно недовольный таким раскладом, плетётся позади.

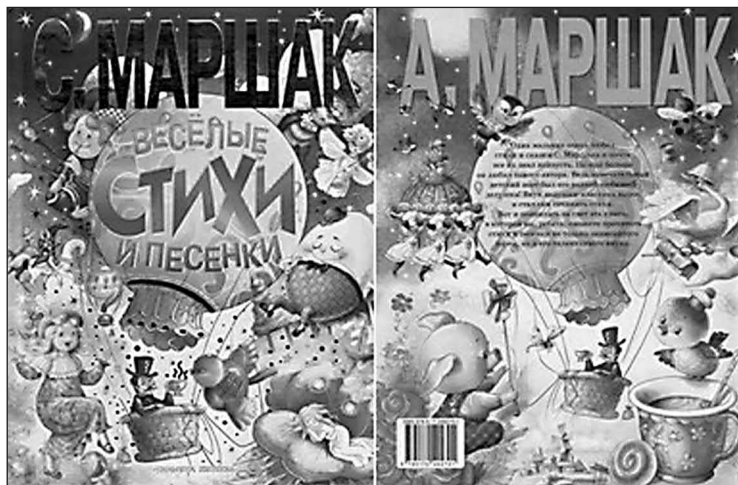
Лялькин папа умер, отпраздновав своё столетие. Она показала мне стихотворение на смерть отца, присланное Сашей Маршаком. Я поразились: это оказались стихи зрелого и талантливого поэта. А я и не знала, что Саша пишет стихи!

Благодаря Ляльке, наша с Сашей связь восстановилась, и теперь мы общаемся по электронной почте и скайпу. Несколько метров из квартиры 103 в квартиру 105 обернулись тысячами миль, но разговор наш начался с той точки, на которой прервался лет сорок назад, словно и не пролетели минувшие годы. Те же родные лица, те же знакомые с детства интонации. Мария Андреевна жива, ей за девяносто, играет с правнуками. Живут,



как прежде, под Москвой. Сашин огромный дом чудесным образом перестроен им из небольшого сарая (пригодилось лежавшее много лет без движения строительное образование).

В кабинете за Сашинной спиной, вдоль всей стены, сверху донизу – книжные полки. Библиотека. Вот что вы редко найдёте в американских домах! Бывая в гостях у американских друзей, я долго не могла понять, чего там глазу так не хватает, пока не догадалась: книг. Даже вполне читающие американцы (а есть и такие, вопреки расхожему российскому представлению о бездуховности американцев), прочитав книгу, немедленно её куда-то сбывают – в библиотеку или друзьям; Бродский, кстати, считал это нормальным делом: книги для того и пишут, чтобы



их читало как можно больше народа. У одного моего американского приятеля – профессора факультета Среднего Востока в нашем университете, человека незаурядного, «штучного», была, в виде исключения, большая библиотека. Он уезжал на год на работу в Израиль и сдал свою квартиру заезжему китайскому профессору. Звонит мне и жалуется: квартирант попросил его убрать со стеллажа книги, потому что ему некуда поставить свои. Я ответила: «Сдал бы квартиру соотечественнику, у тебя не было бы такой проблемы!».

К слову замечу: книги страшно привязывают к месту – возможно, это одна из причин, почему американцы, кочующие по стране, как номады, вслед за работой, ими не обзаводятся. А в нынешнем веке, с появлением электронных книг, ни о каких книжных шкафах вообще нет и речи. Мы и наши друзья здесь, наверное, последние из могикан: переезд куда-нибудь с такой библиотекой, как у меня, может присниться только в страшном сне.

...Саша показал мне по скайпу свою книжку «Сказки матушки гусыни». Говорит, что долго сопротивлялся тяге к стихосложению: считал, что не может быть на свете двух поэтов

Дети нашего двора, крепнут ваши крылья... Мои Маршаки

по фамилии Маршак. Жизнь показала, что может. Началось это случайно: Саша лежал с переломами, в гипсе, и, будучи бездвиген, развлекался переводами английской поэзии. «Отсюда всё пошло». За десять лет он сделал около тысячи переводов. У него, оказывается, уже вышло пятнадцать книг! На книжке, которую я видела у Сашеньки Райз, на двух противоположных обложках стоят имена двух Маршаков: Самуила и Александра, и им не тесно вместе.

Наряду с переводами, Саша пишет и свои стихи. Однажды, страшно волнуясь, показал их в Бостоне Коржавину. От Коржавина, как мы уже знаем, ни об одном современном поэте доброго слова не услышишь. Поэтому легко представить, как Саша ликовал, когда на следующий день ему позвонила изумлённая общая подруга с невероятным сообщением: «Звонил Эмочка. Сказал: Сашка пишет хорошие стихи!». Может ли быть на свете что-то выше этой оценки!



Ирина Сапожникова и Светлана Орлова

КРАСИВЫЕ И МОЛОДЫЕ

Конец пятидесятих годов, химфак. Большая перемена. Девушки с какого-то младшего курса, все хорошенькие, несутся стайкой по коридору и во всю глотку орут что-то по тем временам популярное, типа «доверчивой чайке расставила сети другая большая любовь». Среди этого горластого цветника выделяется девушка с темной челкой и пронзительно синими глазами – лицо красивое и значительное – из тех, что запоминаешь сразу и навсегда. Горланит не хуже других, сверкая своими озерами. Это – Орлова. Думаю, не ошибусь, если скажу, что на своём историческом витке она была первой красавицей химфака. Рядом с ней её закадычная подруга Сапожникова – лицо милое, умное, с ироничным выражением тёмных глаз. Но я с ними ещё не знакома, и этот детский сад меня не интересует. Наша встреча впереди.

После окончания университета я начала работать в Карповском Институте физической химии. После университетской вольницы институтские аракчеевские порядки были для меня чистой каторгой. Так я мучилась, пока в нашей лаборатории не появилась Ирина Сапожникова – девочка из той химфак-ковской птичьей стайки, я её сразу узнала. С её появлением жизнь моя в Карповском институте стала почти праздником. То, что раньше раздражало, окрасилось Иркиной иронической улыбкой и вызывало теперь только жизнерадостный смех. Мы сочиняли вместе много разных стихов и капустников, на радость нам самим и общим друзьям. За прошедшие полстолетия мы не потеряли друг друга сквозь все перипетии наших персональных судеб.

Иркина личность светится сквозь её чудесные книги: «Глазами школьницы из середины прошлого века» и «Родной дом – Московская консерватория». Иркин папа Николай Фёдорович Сапожников, по образованию инженер-электрик, музыкально одарённый человек, больше чем полвека был главным электриком московской консерватории и настройщиком органа. Он ведал всем консерваторским хозяйством и всегда жил либо прямо в консерватории, либо рядом с ней. Ирка и по сей день живёт в «консерваторском» доме. У них в гостях бывали замечательные музыканты, друзья Николая Фёдоровича, а позже и многочисленные Иркины друзья. Мы тоже очень любили у них бывать, а когда в семье появился Чан (Иркин муж Володя Мкртычан), к интеллектуальным радостям, в которых Чан принимал самое деятельное участие, добавились кулинарные изыски великого повара. Ирка писала:

*Коль бала Чан распорядитель,
Не нужен нам распределитель!*

У Сапожниковой в те годы каждое второе слово было «Орлова». Вскоре она привела и меня в знаменитую квартиру по



Ирина Сапожникова и автор. Начало 1960-х гг.

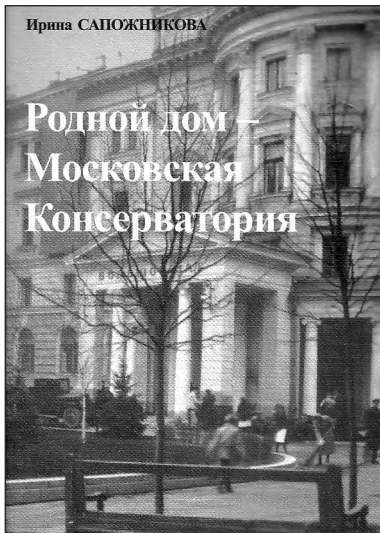
адресу улица Горького, дом 6. Квартира была огромная и жутко замысловатая, я так и не освоила её сложную топографию.

Кажется, я забыла сообщить, что Орлов (теперь Ивáнову) зовут Светлана. Светлана Ивáнова – её официальное имя, но для нас – друзей – она была и остаётся «Орлова» или «Светка», и никак иначе. Это вроде пароля. Скажешь Светка – никто из многочисленных общих знакомых не спросит, о ком ты говоришь.

Орловская квартира была в те годы одним из магнитных центров для московской интеллигенции всех поколений. Молодёжь лилась потоком к Светке, люди постарше – к её родителям, маме Раисе Давыдовне Орловой и отчиму Льву Зиновьевичу Копелеву. Тут уместно сообщить, что после первого провала на экзаменах в университет, к повторному экзамену по математике Светку готовил Солженицын.

Ирина САПОЖНИКОВА

Родной дом — Московская Консерватория



Феролай Найташке!
На память о некогдашних
наших учителях, о Консер-
ватории, о Николае Фро-
ровиче, на добрый повод
сразу, на память обо
всех нас. С любовью —
И. Сапожникове
октябрь, 2010г.

Красота и темперамент сделали своё дело: Орлова первая из нас вышла замуж и родила сына Лёню. Я потом получила для своей Вики в наследство от Лёни отработанную Лёнину няню, прозванную Светкой «Дюма-пэр». Она оставила яркий след в нашей общей памяти. Дама была с претензией на интеллигентность и образованность и часто огорошивала неожиданными вопросами: «Светочка, Вы не дадите мне почитать что-нибудь Дюма-пэра? А то я кроме "Собора Парижской Богоматери" у него ничего не читала». Её дочь-актриса, чистейших русских кровей, сделала необычную карьеру: выучила идиш и играла в еврейском театре.

Орловский первый муж Женя Герф был врач и необычайно остроумный и талантливый человек; его друзья, Кирилл Гринберг и Виктор Гиндилис, были ему под стать. Я позже немного о них расскажу.

Светка с Герфом потом расстались. Я ненадолго потеряла её из виду и спросила у Сапожниковой, что происходит. Ирка сообщила:

Фотии Набаве
и Володе от
маме и сестры
- мамы от Вере и а е.
Руби пина

Ирина САПОЖНИКОВА

ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИЦЫ
ИЗ СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА

МОСКВА
Издательство им. Сабашниковых
2007

Светка вышла замуж. Он старше нас. Кажется, он гений.

Я уточнила:

Гений в чём?

Во всём, – объяснила Ирка. – Знает несметное количество языков, современных и древних, и расшифровал какую-то клинопись. И вообще.



Светлана Орлова

Вскоре и я познакомилась с новым Светкиным мужем и поняла, о чём говорила Сапожникова. Вячеслав Всеволодович Иванов (для друзей – Кома) был, наверное, последним в мире культурологом такого масштаба. Его необъятные интересы включали лингвистику, семиотику, литературоведение, историю культуры, антропологию. Он опубликовал больше тысячи научных работ. Добавьте к этому книгу стихов, замечательные стихотворные переводы, и, по совокупности, премию Пастернака в номинации «Квадратура совести». Я долгое время очень перед ним робела, потому что встречи с людьми такого масштаба – события в нашей жизни не заурядные.

...В конце восьмидесятых, когда пошёл дырами насквозь проржавевший железный занавес, профессора Ив́анова пригласил на работу калифорнийский университет. Они со Светкой уехали в Лос-Анджелес, и я долго не имела о них никаких известий.

Шли годы. Пути наши не пересекались. Приезжая в Москву, я каждый раз слышала от нашей общей подруги Сапожниковой: «Прилетела? Хорошо, что прилетела, а то вчера улетела Орлова, и мне очень грустно», или: «Улетаешь? Ладно, улетай, завтра

прилетает Орлова». Так что, хоть мы с Орловой и не виделись, я всё-таки худо-бедно держала руку на пульсе...

Да и в письмах Сапожникова так ярко описывала главные события московской жизни, что создавала для меня настоящий эффект присутствия. Вот кусочек её письма от 2002-го года, посвящённого вручению Вячеславу Всеволодовичу Иванову Премии Пастернака.

«Наташка, так получилось (в основном, по техническим причинам), что это письмо, начатое восьмого числа, я могу продолжить только сейчас, когда на дворе уже двенадцатое июня. Предыдущие мысли куда-то ушли (а были – это я помню точно), ситуация катастрофически (для моего возраста) быстро меняется, новые события, новые встречи, новые эмоции. Эмоция первая – вчера виделась с Орловой и Комой. Ходила вместе с ними в Большой Театр на вручение премий Пастернака – была большая литературная тусовка, вот бы тебе на ней быть, а я только зря наблюдала и злословила (вместе с Орловой), тогда как другие быстро-быстро решали между собой собственные околотекстурные проблемы. Ни от кого не отстал и А. Городницкий, потом он поехал вместе с нами к Орловой – там мы еще часа два посидели, поговорили, выпили за Кому и его премию. Там же (в Большом) познакомилась с А. Дуловым... М. Козаков читал стихи Б. П. – ужасно плохо. А. Вознесенский выглядел так, как будто Ю. Любимов его сын, и Кома тоже сын, но младший. Пригов, Битов и, хрен знает, сколько еще намелькавших в телевизоре лиц суетились около выпивки и закуски в VIP-зале, куда и я прошла вместе с Комой и Светкой, нисколько не стесняясь. Орлова – красавица, и это честно».

О том, что Светка тяжело заболела, я узнала не от Сапожниковой, а в Америке, от нашей общей знакомой К. Сапожникова под дулом пистолета не расскажет вам о болезнях своих близких. Меня она однажды сурово отчитала, когда я чуть не

сделала достоянием общественности небольшой узелок в груди у нашей приятельницы, к счастью, оказавшийся доброкачественным. Дело в том, что в Америке к этому совсем другое отношение, и сначала это меня поражало, но в конце концов я привыкла и стала сама такая. В ответном письме (2006 г.) я пыталась перед Сапожниковой оправдаться и что-то объяснить.

Ирка, дорогая, я вижу, вы повидались с Орловой, так что ты о многом в курсе, в том числе, думаю, и о моих восторгах по поводу твоего писания, твоего потрясающего внимания (и памяти) к деталям и совершенно для меня фантастического умения эти детали описать так, что как будто видишь всё сам...

А вот написать тебе руки не дошли, потому что они (руки) всё время заняты разными бумагами, а голова – назначением встреч с эскулапами разных направлений, каждый из которых не видит дальше собственного носа. Не помню, писала ли тебе, что когда Володька приехал в Штаты, его рекрутировали на какую-то статистическую программу по раку простаты. Обещали особо не беспокоить, а всего только звонить раз в год и спрашивать, не диагностировали ли у него рак простаты. Так и делали много лет. Он отвечал «нет», они говорили спасибо и вешали трубку до следующего года. Но в этом году на очередной вопрос Володьке пришлось ответить «да». И не поверишь: через день-два пришла от них в большом конверте – не знаю, как это назвать – то ли поздравительная телеграмма, то ли Почётная грамота. По всему периметру – виньетки, а внутри огромными буквами, красивым шрифтом: «ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы теперь член огромного коллектива и не будете одиноки!». Ну, полный сюр!

Не удивляйся, что я об этом пишу. В Америке отношение к болезням и всяким прочим деликатным проблемам совсем иное, чем в России: всё на свете говорят и пишут, я раньше просто одуревала от этого, а теперь привыкла и сама такая. Вот приходит ко мне соседка лет двадцати, я спрашиваю – выпьешь со мной бокал вина, она – нет, спасибо, моя мама – алкоголичка, и я

сама уже лечилась от алкоголизма, теперь не пью. Или наша секретарша: спрашиваю, как дети, она – в слёзы: «У Эрика – спид; он – гей, и такой неразборчивый в своих связях!». А она – мормонка, и для неё сын гей – несчастье в квадрате. Но ничего не скрывается. У нас тут есть друзья, он – профессор нашего факультета, мы у них бываем дома. Как-то вижу на стене картинку, компьютерная графика, интересная, спрашиваю – кто это? Отвечают: «Сын». – «Сын? Я не знала, что у вас есть сын». – «Да, но он – шизофреник, и когда приходят гости, мы предпочитаем, чтобы он не выходил». То есть абсолютно всё говорят, не задумываясь...

На этом кончаю. Вайсберг кланяется и тоже любит. Наташка

Когда К. сообщила мне о болезни Орловой, я схватила телефонную трубку, но подруга сказала: «Не звони. Им сейчас не до тебя». И я не позвонила. От Сапожниковой знала только, что всё чудесным образом обошлось. Но в конце концов, по необычному стечению обстоятельств, мы с Орловой снова встретились. Я расскажу эту историю, написанную когда-то по свежим следам.

...Однажды, ещё в Москве, я взяла у Светы и Комы книгу и долго ее не отдавала. Света и Кома рассердились и уехали в Америку. Я поняла, что надо извиниться, и тоже уехала в Америку. Там выяснилось, что Америка довольно большая страна, в каждой точке которой рады видеть Кому и Свету, так что застать их дома практически невозможно. К тому же, когда живешь в Америке, принимать в расчет приходится не её одну, а все пять шестых земного шара, в каждой точке которого тоже рады видеть Кому и Свету. Так что после нескольких бесплодных попыток вернуть им книжку я отчаялась и оставила её себе.

Прошёл ещё год, возможно два, а потом произошла такая история. Мы с мужем приехали навестить дочь Вику в университетский городок Урбана-Шампейн, где Вика училась гравюре. Её педагог пригласил нас на обед, но накануне предстоявшего первого знакомства у меня сломался передний зуб. Результат

не поддавался описанию. Я была в ужасе, и кто-то из местных русских старожилов посоветовал: «Поезжай в Чикаго на улицу Диван (Диван – это чикагская улица Девон в русской интерпретации) – там сплошные русские бизнесы, а значит, на каждом шагу дантисты. Загляни к любому – может, тебе повезёт». Чикаго от городка Урбана-Шампейн в трёх часах езды. Я рванула туда и, следуя указанию, зашла в первый попавшийся по дороге дантистский офис. Пышная блондинка за стойкой сказала: «Доктор занят, у него пациент. Подождите, пациент выйдет, и я спрошу доктора о вас». Пациент вышел – пожилой господин в синем спортивном костюме; на лице выражение, говорящее, что человек только что вышел от дантиста. Он подошел к стойке назначить следующий визит. Блондинка достала его карточку, я рассеянно скользнула по ней глазами: Виктор Гиндилис. Виктор Гиндилис?! Я не допускала мысли, что на свете может быть еще один Виктор Гиндилис; стало быть, этот господин – тот самый Виктор Гиндилис, друг Орловой.

– Витя?!

Гиндилис уставился на меня в недоумении, не узнавая, пришлось представиться. Приятного, конечно, мало, но, с другой стороны, с последней нашей встречи у Орловой прошло лет тридцать пять. А первая наша встреча и сегодня стоит у меня перед глазами. Орлова была тогда ещё с Герфом, мы встречали у них Новый год. Компания подобралась замечательная: с одной стороны – подруги Орловой, с другой – друзья Герфа по медицинскому институту, среди них Кирилл Гринберг и Виктор Гиндилис. Гиндилис был в бархатной курточке и поразил меня красотой и изяществом. Я шепнула то ли Светке, то ли Сапожниковой:

– Он похож на Байрона!

Гиндилис услышал и согласился:

– Да, я похож на Байрона. Правда, на слегка засратого Байрона.

Как положено на Новый год, играли в шарады. Одну из них разыгрывали Гринберг с Гиндилисом. Кир Гринберг встал на руки, и

Гиндилис довольно долго держал его за ноги вниз головой, чтобы все могли вникнуть. Потом они хором сказали «ша». Показывая «целое», Гиндилис уселся на стул, и Гринберг тащил этот стул, кряхтя и охая. Вы, конечно, догадались, что таким образом они разыграли слово «рикша», и перевёрнутый вверх ногами Кир дал ему первый слог. Это было здорово придумано и здорово разыграно.

Но это было в прошлой жизни, а сейчас передо мной стоял пожилой господин, в котором я безуспешно пыталась узнать черты восхитившего меня тогда «засратого Байрона». Потом я узнала, что Витя в это время был уже смертельно болен.

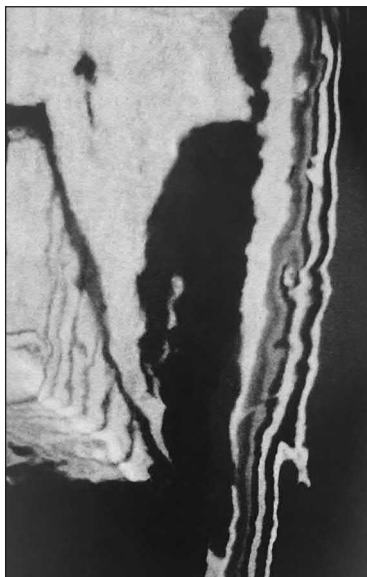
– Ты что ж Орловой не звонишь? – спросил Гиндилис: стало быть, был в курсе.

– Одна общая знакомая не велит – говорит, чтоб я не беспокоила зря.

– Ты что?! Звони немедленно, – приказал Гиндилис.

Мы распрощались, дантист занялся моим сломанным зубом, и по окончании процедуры, сверкая временной коронкой, я позвонила Светке. Мы начали с точки, на которой когда-то расстались, словно болтали последний раз пять минут назад и не прошли между нашим предыдущим и сегодняшним разговором плотно спрессованные, наполненные событиями годы. Наверное, я неуклюже выражаюсь. Я хочу сказать, что перерыва в наших отношениях как будто и не было, долгие разлуки ни тогда, ни сейчас нашим отношениям не мешают. Я стала прилетать в Лос Анжелес, чтобы пообщаться с Орловой и Комой и посмотреть на Светкины новые работы, поначалу приводившие меня в изумление самим фактом своего существования.

Живя с таким гигантом, как Вячеслав Всеволодович Ив́анов, даже очень сильной личности трудно не смотреть на мир его глазами. Поразительным образом Светка устояла. Про многих говорят: это жена такого-то. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь так сказал об Орловой. Она сама – личность. У неё сложился свой, независимый, неожиданный и часто парадоксальный взгляд на мир, на его слова и образы. Несостоявшаяся карьера химика



Картина Светланы Ивановой «Кома на балконе»

осталась в далёком прошлом. Я радуюсь тому, что когда-то сама приложила к этому руку, ибо Орлова в лабораторном халате, химичающая под тягой над каким-то органическим синтезом, была душераздирающим зрелищем. Я случайно узнала, что редакции одного химического журнала требуется сотрудник, и вытащила Светку из-под тяги в научную редакцию. Всё-таки работа со словом. Позже жизнь с гениальным лингвистом пробудила её интерес к лингвистике. Но вот что интересно и важно – её путь в этом направлении был совершенно

самостоятельным, от Комы не зависящим. Своими неожиданными лингвистическими находками Светлана Иванова поражала маститых учёных на серьёзных научных форумах.

Потом вдруг, совершенно неожиданно, у Орловой проявила недюжинный художественный талант. Созданный ею необычный художественный «эхо-зеркальный» мир был представлен на многих персональных выставках, в том числе в Пушкинском музее.

Одной из первых в ставшем теперь популярным жанре, Орлова начала играть с фотошопом. Непрерывно воюя с непослушным компьютером и огромным принтером, впадая в панику, чертыхаясь и проклиная судьбу, она создаёт картины, которым может позавидовать профессиональный художник-график. Побочным продуктом этой деятельности стала остроумная портретная галерея. Начиная с обычной фотографии и бессовестно её искажая, она каким-то непостижимым образом вытаскивает на



Светлана Орлова

свет самую суть своего объекта. У меня дома висит сделанный Светкой портрет нашей Вики, и нет человека, который бы спокойно прошёл мимо: «Кто это сделал? Потрясающе!».

В своих разнообразных реализациях и ипостасях Орлова подписывалась разными фамилиями или инициалами. Я их представляю ниже для вашей информации. Я написала это когда-то для её специальной тетрадки, куда по старинной традиции российской интеллигенции друзья пишут посвящения, стихи и экспромты.

Дорогой Наташе
с самыми добрыми
пожеланиями

от автора, с трепетом соответствующим
на издание этих давно некорректированных
сочинений (1941-2005: 38 64 года!!!)
(не будешь слишком строго!)

Лена

18 ноября 2005г.

Наташке -
близкой за музыку -
от картинчик

LA

С

*Талант, когда он так велик,
Бывает очень многолик.
Красива и остра на слово,
Его являла нам Орлова.*

*Потом «ослышками» нас заново
Сразила некая Иванова.
В «эхозеркалье» нам, мон шер,
Вдруг отразилась некто Шер.*

*А с Фотошопом, ву савэ,
В искусство въехало Эс Вэ.
Но я поклясться вам готова,
Что это все одна Орлова!*

Из переписки

2007 г. НР – Орловой

Светка, слухи о моей кончине, хотя и актуальные ещё месяц назад, оказались преждевременными. История была занимательная, но слишком длинная для письма. Мне чудом удалось пережить американскую медицину. Сейчас расхлёбываю тяжёлые последствия. Провела 10 дней в госпитале, лишилась совершенно здорового органа, зато при операции насмерть повредили печень, всё это на общую сумму 36,600 долларов. Я хожу по врачам каждый божий день недели – это куда хуже, чем ходить по рукам, а последствия одинаково тяжёлые. Но ты бы видела мою талию!!! Боюсь даже представить, что бы с тобой было! У меня, как у Светлова, совершается переход от телосложения к теловычитанию. Впрочем, до нулевого результата пока далеко, и я, с минус семь кг, ослепительная красотка.

Коме от меня запоздалые, но от этого не менее горячие поздравления. Привет и любовь Сапожниковой. Когда вас ждать? Ваша Наташка

11 ноября 2008 года. Сапожникова – НР

Наташка, вчера в Доме ученых отмечали 90-летие Карповского Института. Было очень тепло и ретроспективно. Мне было жалко, что тебе не пришлось принять в этом участие, хотя твое фото в компании с Каргиным, Соголовой, Деминой и другими мелькало неоднократно. Ты бы освежила память с одной стороны, а с другой – с высоты сегодняшнего дня можно увидеть многое другими глазами. Во всяком случае, я почувствовала в моем сердце недостававшее (или ушедшее) тепло через ту интеллектуальную энергию, которую хранит и производит до сих пор Институт.

Привет Володе, будьте здоровы и берегите себя, обнимаю, Сапожникова.

27 ноября 2008 года. НР – Сапожниковой

Ирка, Чан и Максик, привет! Выкрала минутку, чтобы пообщаться с вами. Ушла в глубокое подполье по причине дикого рабочего завала и пишу оттуда записки почище Достоевских... Света белого не вижу: днём – с утра до глубокой ночи – в лаборатории, а по ночам пишу статьи. МРТ оборудование доступно мне для моих мышек только после ухода человеческих пациентов, и мышки ждут, пока вся эта человеческая орда не отправится наконец обедать в свои Мак Доналдсы. Так что днём готовим эксперименты, к ночи их начинаем, а потом ведь надо ещё обработать результаты... И так день-ночь, день-ночь. Правда, мы получили совершенно обалденные результаты с раком поджелудочной железы, который до сих пор практически не лечился и обычно обещает в среднем 6 месяцев после диагноза. А у наших мышек даже огромные опухоли рассасываются! Поэтому, вероятно, скоро начнём клинические испытания, и я содрогаюсь от волнения и предвкушения. Но по дороге к ним необходимо преодолеть миллион формальных сложностей.

Я тут, затрахавшись с мышками, проморгал печальный факт, что на почве американского экономического кризиса мой



В день Коминого рождения двадцать первого августа во дворе дома Ивановых в Переделкино накрывались столы на много десятков персон. Туда съезжался цвет интеллигенции, оказавшийся в этот день по российскую сторону океана. На верхнем снимке – автор с Комой и Фазилем Искандером; на нижнем – Фазиль Искандер, Кома и Александр Городницкий. 2004 г.



*Орлова, Кома и автор в квартире Ивановых в Лос Анжелесе.
Начало 2000-х гг.*

пенсионный фонд, и так не лопавшийся от валюты, упал на пятьдесят тысяч долларов! То есть выходить на пенсию не с чем. Придётся подавать на новый грант, хотя Вайсберг, у которого, как известно, всегда бегемот к жопе прилип (помните анекдот?), предсказывает, что при таком образе жизни мне о пенсионных сбережениях и волноваться-то нечего.

Вика как всегда – с утра до ночи в мастерской и ничего другого не видит и не хочет...

Всё. Отправляюсь к станку. Обнимаю. Наташка

31 мая 2013 года. НР – Сапожниковой

Ирка, как же я рада получить твоё письмо!

Мы, представь себе, последние дни в относительном порядке. Я готовлюсь к грядущему юбилею (тебе до такого ещё жить да жить!). Моя приятельница предложила сделать что-то типа документального фильма из фотографий и видеоклипов...

Вот чем я сейчас занимаюсь. С утра до вечера перебираю старые фотографии, сдувая с них в самом прямом смысле пыль веков. Занятие очень радостное и затягивающее. Фильм обещает получиться весёлым и добрым. Перебираю фотки и забываю о болячках. Наташка

26 августа 2017 года. Сапожникова – НР

Дорогая, никогда забываемая, бесконечно любимая, давно отдаленная, но очень близкая Наташка Рапопорт! С Днем рождения! Надеюсь, что у вас в доме сегодня много народа, как всегда, весело, есть, что выпить и закусить (ударение на у). Верю в то, что трудности, которые, не сомневаюсь, есть, ты, Наташка, преодолеваешь мужественно, как предусмотрительно нас научила жизнь...

Крепко обнимаю, привет и горячие поздравления от Чана и Максима, всегда твоя – И. Сапожникова.



Фото Л. Штерна

И ДОРЕШАЕМ МЫ ПРОБЛЕМЫ ВЕЧНЫЕ...

ТИМУР ШАОВ

Очень давно, лет, пожалуй, двадцать пять тому назад, кто-то принёс нам кассету с удивительными песнями. «Хоронила мафия крёстного отца...», «Я в этом не участвую, я просто пиво пью» (мой муж тотчас назначил это своим жизненным кредо), и много других замечательно остроумных. Ловко вкраплённые музыкальные и литературные цитаты выдавали недюжинный кругозор и эрудицию автора. Написанные на кассете чернильным карандашом имя и фамилия – Тимур Шаов – ни о чём нам не говорили. «Странная какая-то фамилия, – сказала я мужу. Ким, Галич – тут всё понятно, но Шаов? – «Псевдоним, – ответил до-

гадливый муж. – На самом деле он, конечно, Рабинович. А может, это даже не псевдоним, а аббревиатура: Шабсай Абрамович Очеркан-Вассерман». Муж ошибся. Очень скоро выяснилось, что автора действительно зовут Тимур Шаов, и по национальности он не Рабинович, а черкес, выходец из очень интеллигентной кавказской семьи – отсюда и музыкальное образование, и эрудиция, и убийственный юмор.

Где-то в конце девяностых годов мы с Тимуром познакомились. А могли бы встретиться лет на двадцать раньше, не поспеши мы с Володей родиться. В семидесятые годы палаточный лагерь Московского Дома учёных в горном Архызе был нашим излюбленным местом летнего отдыха, а начиная с 1987 года, в Архызе жил Тимур (у него и сейчас есть там дом). Но в наши архызские годы из местных жителей мы знали только козла Борьку, жуткую сволочь и большого любителя печатного слова: мерзавец вставал передними копытами на прилавок газетного киоска, залезал внутрь разбойной мордой и пожирал на корню выпуски свежих государственных новостей. А однажды он встретил меня с букетом роз на пороге автобуса (уточняю: не козёл встречал меня с букетом роз, а я везла букет ко дню рождения приятеля-туриста, моталась за ним на автобусе двадцать пять километров вниз по ущелью в станицу Зеленчукская). Козёл встретил меня на пороге автобуса, разверз громадную пасть, и весь букет в мгновение ока исчез у него в чреве за один короткий и отвратительный хрумк...

В станице, куда я ездила за розами, через двадцать лет Тимур Шаов будет щупать животы местных жителей, играя гастроэнтеролога. Игра эта ему в конце концов надоест, и вместо гастроскопа он возьмёт в руки перо и гитару. Но в те годы, когда холодными августовскими рассветами мы выбирались из обледеневшей палатки, чтобы кряхтя штурмовать очередную архызскую вершину, Тимур ходил в Черкесске в детский сад и учился читать «мама мыла раму». Так что через пропасть поколений нам тогда перешагнуть не удалось – это случилось много позже. Подробностей не помню; каким-то образом в нашем знакомстве

были замешаны «Эхо Москвы» и Нателла Болтынская. Важно то, что мы познакомились и подружились.

Я восхищаюсь людьми, которые находят в себе мужество профессионально заняться не своим делом. Таких много среди моих друзей, если пригласить – почти все. Та первая кассета, которую нам дали послушать, меня ошеломила: на обильно удобренной навозом почве российской культуры вдруг расцвёл невиданный цветок. Не роза, нет – скорее кактус: эти колючие листья неожиданно радуют глаз цветами удивительной красоты.

Время – честолюбивая субстанция. Каждый период стремится себя увековечить, рождая для этого историков и бардов. Историки, как правило, врут в своих корыстных целях. Не лгут барды. Сталинскую эпоху и эпоху застоя можно изучать по песням Галича, Высоцкого, Кима, позднего Окуджавы. Лет двадцать назад казалось, что всё ушло и кончилось, но с воцарением Путина на российской сцене появился Тимур Шаов.

Вскоре после первого знакомства Тимур и его команда прилетели к нам в Солт-Лейк-Сити. Команда у Тимура неслабая. Нежно любимый нами Миша Махович – потрясающий мандолинист. Рано покинувший нас Сергей Костюхин – вторая гитара – был тоже очень одарённый человек, с тонким музыкальным и литературным слухом. Сменивший Костюхина Николай Григорьев, юное дарование, борозды не портит.

После концерта в Солт-Лейк-Сити мы с Тимуром и Мишей Маховичем путешествовали по нашим невероятным красотам. Тимур любит рассказывать, как, гуляя по Лас-Вегасу, мы пили «из горла», передавая друг другу запелёнутую в коричневый бумажный пакет бутылку виски. Лас-Вегас я не люблю, но эта поездка осталась в жизни крупинкой счастья.

Тимур и Миша очень разные, и в каждом – море обаяния. Когда есть хоть малейшая возможность, я не пропускаю их концертов ни в Штатах, ни в Москве, ни в других неожиданных точках земного шара. Однажды я прилетела на конференцию в Германию и, отработав, приехала в Висбаден к моему другу Яну Кандрору.

Тимур тогда только-только от нас улетел после вышеописанной поездки в Лас-Вегас. Ни он, ни я не знали, что следующей точкой на пути у каждого стоит Германия. Моим появлением в тот вечер Кандрор был слегка смущён. «Видишь ли, в чём дело, – сказал Кандрор, – завтра в Майнце (это примерно час езды от Висбадена, *НР*) концерт Тимура Шаова. Билеты распроданы уже три месяца назад, и забронирован автобус, который отвезёт нас в Майнц. Мы не можем взять тебя с собой, тебе придётся побыть завтра вечером одной». – «А нельзя посадить меня к кому-нибудь на колени? Да вот хоть к тебе? Я хочу поехать с вами». Кандрор оглядел меня критически. «Посадить на колени, в общем, не проблема, но ехать тебе бесполезно. Я ж объясняю – страшный ажиотаж, давно нет ни одного билета. Тебе придётся часа три бродить одной вокруг театра или сидеть в автобусе». – «Я готова рискнуть, – сказала я, не раскрывая своих карт. – Ну, пожалуйста, давай рискнём!» – «Ну, давай, – вздохнул Кандрор обречённо. – На твою ответственность». Когда мы вошли в здание театра, Тимур с Мишей как раз шли по коридору. Я их окликнула. Оставляю читателю додумать последовавшую за этим сцену. «Да, стоило рискнуть!» – сказал изумлённый Кандрор.

...В феврале 2014 года я получила электронное письмо:

«Здравствуйте, Наташа!

Мое имя Марк Копелев, я друг Тимура Шаова, я фотограф. В этом году Тимуру исполняется 50 лет. Юбилей, однако, у юноши. В связи с этой славной датой я готовлю фотоальбом. Мне бы хотелось, чтобы в этом альбоме были поздравления от людей, которых он любит, чьим вниманием он дорожит, и которые любят его. Это может быть небольшой стишок, шуточное короткое эссе или просто поздравление. В этом проекте уже участвуют Шендерович, Войнович, Иртеньев, Смехов, Макаревич, Быков, Владимир Вишневецкий, Владимир Качан, Юлий Ким, Юлий Гусман, Градский, Губерман и другие достойные люди. Некоторые уже прислали свои тексты. Был бы

очень признателен, если бы и Вы написали пару строчек». Автор письма добавил ещё, что раз пять слышал от Тимура байку, как мы с ним, гуляя по Лас-Вегасу, пили «из горла» упрятанную в коричневый бумажный пакет бутылку виски, и поэтому уверен, что моё поздравление будет Тимурю приятно. Как легко догадаться, я была польщена и страшно разволновалась. Поздравить Тимура в таком созвездии – не шутка. Раз десять я переделывала-полировала отправленные Марку Копелеву вирши. Он это терпел, и мы подружились. Марк заслуживает отдельного рассказа, и он последует.

Ниже приведены цитаты из песен Тимура, обыгранные в моём посвящении.

*Всё в стране ужасно, всё в стране погано.
В высших эшелонах – шум и болтовня.
Бисмарка там нету, нет Шатобриана –
Значит, надо, чтобы главным выбрали меня.*

...

*В детстве я родился гоем –
Что ж, бывает и такое.
Ну – не повезло, всего делов!*

...

*А нынче выйди, на балкон хотя б, да глянь-ка:
Кругом раскинулось неведомо чего,
И в перспективе – всё один и тот же дядька,
И говорят, что девять жизней у него!*

Моя баллада

*Мой друг Тимур, как утверждает пресса,
Явил нам образ «нового черкеса».
А я, признаться, думала другое,
Пока не услышала «песню гою».
Не всякий день встречаешь, в самом деле,
Такой талант в таком некрупном теле.*

*И юмор, что с годами всё острее,
Находишь не у каждого еврея.
Хочу дожить, чтоб на экранах – глядь-ка,
Совсем другой являться начал дядька:
На вид неглуп, красивый и не старый,
Любезный миру лирой и гитарой.
Накинув плащ, с гитарой под полою,
Он правил бы великою страной
И жителям различных дальних стран
Известен был бы как Шаовбриан.*

На своей фотографии в посвящённом Тимуру альбоме я написала:

*Я счастлива, что мне судьба дала
С тобою пить из одного горла!*

Из переписки

НР – Тимуру Шаову. 15 июля 2016 г.

Тима, дорогой, вот какое дело. Я тут опять книгу пишу. То есть уже почти написала. Условно она называется «Скажи мне, кто твой друг». Я в предисловии сразу предупредила будущих читателей, что книга жутко нескромная. Там будет отдельный раздел посвящений: мои поздравления друзьям с коротким (или не очень) рассказом о том, за что я их люблю. Ты там в очень хорошей компании с Городницким, Коржавиным, Маршаками и – вот ведь неожиданность – неким Марком Копелевым. Всем, кто жив, или их потомкам я посылаю написанное, чтобы прочитали, смутились, возмутились, пришли бить морду – смотря по тому, что о ком нацарапано. Мы с Мариком очень по-разному видим этот раздел моей книги. Я не собиралась писать много – так, коротенькую аннотацию да свои стихи. Марик потребовал глубокого анализа персонажа и, прочитав про тебя, первым делом обругал. Сегодня, видимо, перечитал ещё раз, потому

что я получила такое письмо: «Наташечка! Как я тебе завидую! У тебя такой интересный друг, прямо хочется с ним познакомиться. Ты, конечно, слегка преувеличила его достоинства, но в целом описала довольно интересно».



Тима, прочитай и ты! Ты хорошо знаком с этим человеком. Обругай не огульно, а по Делу. Оно пришилило. Заодно пришилила ещё одну главку, в ней много смешного и занятного, надеюсь, получишь удовольствие. Главку о Копелеве, который мечтает с тобой познакомиться, пришлю, когда закончу. С волнением и любовью Твоя Н.

Тимур Шаов – НР. 12 августа 2016 г.

Наташа, солнце мое, привет! Прости невероятного засранца – получил твое письмо в алкогольном тумане второго дня после празднования хепибёздея, был уверен, что ответил. Сейчас с ужасом обнаружил, что ни фига. Каюсь! По поводу главки – все замечательно, никаких преувеличений, а Копелев просто завидует. Напиши о нем лучше, чтобы он успокоился. Единственное, но очень важное замечание – из горла мы пили не коньяк, а виски! Обнимаю всячески, Володьке привет!

НР – Тимуру Шаову. 13 августа 2016 г.

Тимочка, спасибо, дорогой, снял тяжёлый камень с души. А то Копелев, ударенный уроками литературы в советской школе, всё нудит: не раскрыт образ, не раскрыт образ... Я ж не школьное сочинение «Базаров и Рахметов» написала! Оставляю всё как есть и принимаюсь раскрывать образ Копелева. Обнимаю тебя, Маню и Мишаню. Твой старец-бытописатель.



ГУЛЯКИ СМОТРЯТ В НЕБО¹

МАРК КОПЕЛЕВ

Наш с Тимуром друг Марк Копелев – человек многих и разнообразных талантов. Основным делом жизни он считает фотографию, и тут он, конечно, прав: Копелев – фотограф от Бога.

Возможно, вы слышали посвящённую Марку Копелева песню Шаова «Правда глаза колет (разговор фотографа в электричке)», из альбома «Один день дяди Жоры».

*В общем, я за мой талант и мастерство
Был уволен по статье «за бесовство».*

¹ Чешский поэт Иржи Шотола.

*Помню, мне тогда приснился чудный сон –
Меня коллегой назвал Картье Брессон...*

Тимур вообще часто упоминает Копелева в своих песнях. Вот, например, из «Песни голя»:

*Другу я сказал: Маркуша,
Ты не там живёшь, послушай,
Марш в пустыню, что ты за еврей?!
Он не смог сдержать обиду
И уехал во Флориду –
Там грустит о родине своей.*

Откуда Марк уехал во Флориду, в песне не сказано, но я знаю: из городка Инглвуд, штат Нью-Джерси. У Копелева – дом в Нью-Джерси, дом во Флориде. Дома огромные: вмещают, например, всю команду Тимура Шаова, и каждому есть отдельное место. Это при том, что в нью-джерсийском доме у Марика жена, две дочки, три внука, и каждому тоже есть отдельное место. Чем не жизнь?! Вот Тимур Шаов со товарищи и наезжают к Копелевым минимум два раза в год, и это для всех именины сердца, включая нас с Володей, выпивающих с ними по скайпу. Спрашиваете, откуда у Копелева такое богатство? Расскажу, но наберитесь терпения: биография у него, по его собственному выражению, «кучерявая».

Дом во Флориде Марик купил после нью-джерсийского как обитель муз, тишины, ума холодных наблюдений и творческого экстаза. Но дома Марика – Мекка для его многочисленных друзей, так что «тихая обитель муз» остаётся часто плодом нереализованной мечты. При том, что там постоянно толкуются гости, дом во Флориде такой ухоженный, аккуратный и чистый, что кажется ненаселённым. Предваряя наш с Володей приезд на встречу Нового года, Марик прислал нам фотографии дома. Я усомнилась, живут ли там. Из нашей с Мариком переписки (Наталья – Копелеву):

«Дом такой стерильный – в нём же нельзя шагу ступить! Где беспорядок, который мой Володя прокламирует как необходимую составляющую жизни? Где носок, засунутый между диванными подушками, который потом полдня ищут, где двенадцать пар очков, рассованных на кухонном столе, в сортире, под подушкой, в будуаре у соседки и т. д., и при этом совершенно ненужных, потому что лет пять назад Володе сделали очень успешную операцию на глазах? Где, в конце концов, газеты Солт-Лейк трибьюн, начиная с прошлого года, летающие по дому, по саду, по кровати, по воздуху и по крыше? Где, я вас спрашиваю? Не верю! Так не живут! И как мне теперь, после того, что я увидела, вас-то приглашать в гости?! Ваша обескураженная Наташа». Копелев мгновенно отреагировал: «Наташа! Не путайте рекламную картинку с реальной жизнью».

Однако я отвлеклась от темы. Моя цель – жизнеописание моего героя. Хотя, конечно, порядок в доме характеризует хозяйина, и это – отдельный штрих к его портрету.

Многое описанное ниже я почерпнула из нашей переписки. Началась она почти случайно в связи с Тимуровским юбилеем. Адресаты оказались так интересны друг другу, что переписка превратилась в почти ежедневную эпистолярную связь и, может быть, когда-нибудь превратится в книгу. По истечении года заочного знакомства Марк пригласил нас с Володей к себе во Флориду, и мы рискнули согласиться. Риск был велик: каждый из адресатов создал себе за год интернетного общения образ другого, и сейчас нам предстояло увидеть и озвучить образы, созданные эпистолярным романом. Мы летели к Марку во Флориду – и нервничали, он ехал нас встречать в аэропорт Вест Палм Бич – и тоже, думаю, нервничал. Но всё обошлось и сбилось, хотя созданный мною образ высокого стройного брюнета с иронической улыбкой усталого бонвивана оказался преувеличенно романтическим, да и мой портрет, включённый Марком в Тимуров альбом, за минувшие со снимка полвека несколько потускнел. Переписка наша, к сожалению, в прошлом:



Дом Марка во Флориде

теперь мы почти каждый день видимся по скайпу, а со скайпом какая переписка...

Годы юности мятежной. По образованию Марк Копелев – театральный режиссёр, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК), практику проходил у Товстоногова. Режиссёрская судьба его не сложилась. Цитирую: «паскудное тягучее совковое время, сложившиеся обстоятельства и собственный гнусный характер не дали себя реализовать». Проблемы начались, когда он ещё даже не выпростался из театральных пелёнок: на дипломном спектакле в Свердловском ТЮЗе, куда его направил ЛГИТМИК.

Из письма Марка: *«Выпуск моего дипломного спектакля по пьесе замечательного драматурга Александра Хмелика "Жил-был тимуровец Лаптев" был связан с таким громким скандалом, что руководство свердловского ТЮЗа не то что приглашать меня на работу – слышать обо мне не хотело... Вы спросите: что же там такое могло произойти, что началь-*

ство начинало трясти при одном упоминании моего имени? Ох, Наташа, Наташа! Такой вопрос может задать только человек, совершенно незнакомый с причудливыми запахами театральной кухни. Двор Екатерины Медичи может показаться детским садиком для младшей дошкольной группы по сравнению с этим, таким заманчивым и привлекательным со стороны, миром. Об этом серпентарии, называемым театром, написано много и смачно. Зоценко, Раневская, Смехов... Один Булгаков чего стоит. Не мне с ними тягаться. Я могу описать только собственные наблюдения за этим удивительным миром».

История была вполне тривиальная для театрального «серпентария». Марк ещё не доехал до Свердловска, а у него уже появились там могущественные враги. Дело в том, что директор театра обещала режиссуру и роль в этом спектакле своей подруге, приме театра, заслуженной артистке, по совместительству – жене крупного партийного функционера в свердловском горкоме партии. Ей светил престиж режиссёра и довольно большие, по тем временам, деньги. Копелев своим неожиданным появлением рушил эти блестящие перспективы и беспардонно залезал в карман номенклатурной семьи. Против него начались военные действия. Поскольку прима оставалась в спектакле, Копелеву надо было с ней репетировать. А она «не понимала» его указаний, презрительно пожимала плечами и всячески саботировала постановку, занимая всё репетиционное время и отнимая его у других актёров. В отчаянии он позвонил своему учителю в Ленинград. Тот ничуть не удивился: саботаж молодого начинающего режиссёра был в театре, по-видимому, довольно частым случаем. «Найди какую-нибудь серьёзную причину и снимай её с роли, иначе пропадёшь, – посоветовал учитель, – а я приеду на премьеру. Сожрать не дадим». Марк так и поступил. Заслуженная артистка, к счастью, часто опаздывала на репетиции. Марк снял её с роли, и дело сразу пошло.

Вот что пишет в своих воспоминаниях один из участников спектакля, Андрей Невраев: *«К сожалению, имени режиссера спектакля нет в программке, а ставил его выпускник режис-*

серского факультета ЛГИТМИКа Марк Копелев – это был его дипломный спектакль. В театре в то время шел с большим успехом спектакль «Пузырьки» по пьесе А. Хмелика. Это была острая сатира на пионерскую организацию, да и на всю нашу жизнь в целом. Хмелик написал продолжение, которое назвал «Жил-был тимуровец Лаптев», и театр, разумеется, тут же взял эту пьесу, и в качестве постановщика пригласил (или его направили, как дипломника) Марка Копелева. Работа шла успешно, с азартом, с юмором. Хохотали до колик, да и потом, когда играли спектакль, не могли удержаться от смеха. Но пришло время сдавать нашу работу Управлению культуры, областному художественному совету. И этот худсовет закрыл спектакль по идеологическим соображениям. Понятно, время было такое».

Худсовет, в котором были и директор театра, и заслуженная артистка, и партийный функционер – её муж, спектакль не принял, но учитель Марка, как обещал, приехал из Ленинграда и высоко оценил его работу. Марк получил режиссёрский диплом. А спектакль, как понятно из приведенной выше цитаты, потом шёл с большим успехом, только имени режиссёра в программке не было...

После окончания института Копелева распределили в Рязанский театр юного зрителя. Здесь начался второй акт того же советского абсурда, но претензии были уже более серьёзные, и дело могло кончиться для Копелева совсем плохо.

Из письма Марка: *«В Рязани мне было предложено поставить сказку Петра Ершова “Конёк-горбунок” в замечательной инсценировке Всеволода Валериановича Курдюмова. Я был молод, полон творческих сил, фантазия была ключом, и под впечатлением от спектакля Товстоногова “Вестсайдская история” – первого мюзикла на советской сцене – решил поставить своего “Конька” в этом жанре. Меня грела тщеславная мысль, что это будет первый мюзикл на сцене детского театра, и этот факт, безусловно, войдет в историю. Мюзикл*

действительно был первый, но в историю театра почему-то не вошел. Я дописал пролог, эпилог и дивертисменты, подобрал музыку, в основном джазовую (диксиленды Грачева, Гараняна с фантазиями на русские темы, оркестр Левиновского и тому подобное), придумал прием скоморошьего действия, одел сцену в рогожные декорации. Эта рогожа вышла мне потом боком. По приему – это было классическое брехтовское «отчуждение», когда актер не играет персонаж, а как бы рассказывает от его имени. На сцене пели, плясали, грустили скоморохи и как бы разыгрывали сказку про Конька-горбунка. Все это было свежо, необычно, а на фоне затхлых, пыльных, натуралистических постановок разных “Двух кленов” и “Красных шапочек”, заполнявших тюзовские сцены того времени, выглядело полной театральной крамолой»...

К постановке Марк готовился очень серьезно, проделал большую подготовительную работу и взял за основу вычитанный то ли у Белинского, то ли у Стасова известный тезис о том, что «в сказке воплотились душа народа, народный идеал». И задался непростым вопросом: а в чем же, собственно, заключается именно русский «народный идеал» и чем он отличается, скажем, от немецкого, французского или арабского? Марк начал перечитывать сказки разных народов и углядел в них вот что: герои немецких, французских, арабских – да почти всех сказок мира, как правило, что-то делают: немец Ганс-портняжка шьет, француз Жак-простак работает на мельнице, арабский купец Синдбад-мореход торгует, плавает за моря, Ходжа Насреддин обучает осла говорить, и хоть врёт, жульничает и подворовывает, но видимость деятельности создаёт. А герои русских сказок, Иван-дурак или Емеля, лежат на печи. И только если их хорошенько пнуть, они идут, делают какую-то одноразовую работу и в это время хватают за хвост удачу в виде Щуки, Конька-горбунка, Серого волка, Царевны-лягушки... А дальше – опять лежат на печи, а работают за них щука, конёк-горбунок, Василиса Премудрая (она же Прекрасная)... Вот в заветной

мечте раба стать барином Копелев и усмотрел русский «народный идеал».

Он отдавал себе отчёт, что ничего нового тут не открыл: разговоры про русскую лень всегда были общим местом. Свой спектакль Марк акцентировал на другом. В сказках многих народов у главного героя есть братья; как правило, они не делают герою гадостей. В русских сказках всё иначе. У русского Ивана-дурака два брата – один умный и завистливый, другой глупый и завистливый. Они такие же ленивые, даже еще ленивее, и у них тот же идеал и та же мечта жить хорошо, не прикладывая усилий. Но им не повезло – они свою удачу, когда дежурили на поле, по лени проспали. И винят они в этом, как водится на Руси, не себя, а Ивана. Они смертельно ему завидуют и делают всякие пакости, причём не только братья, но и царский спальник, который строчит доносы на Ивана, и даже сам царь, завидующий молодости и удали Ивана-дурака. Об этом ещё Бунин в «Деревне» писал: «Дикий мы народ!.. Историю считаешь – волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины – тоже одно удовольствие: “распорол ему груди белые”, “выпускал черева на землю”... Илья, так тот своей собственной родной дочери “ступил на леву ногу и подернул за праву ногу”...»

Вот Копелев и поставил свой спектакль не только и не столько о русской лени, сколько о русской зависти. И этот пласт, этот «неконтролируемый подтекст» спектакля блюстителем режима был прочитан. Но Марк запрятал «подтекст» спектакля за всякие хиханьки-хаханьки, и, не желая вытаскивать его наружу, критики направили все свое раздражение на театральную форму: Копелев был заклеямен как формалист, модернист, адепт чуждой культуры, враг и социально вредный элемент. Статьи и рецензии на спектакль шли под заголовками «Верните детям сказку!», «Рогожа на сцене ТЮЗа»...

Вот что я нашла в интернете: *«Через несколько лет в том же ТЮЗе со скандалом был снят “Конёк-горбунок” режиссёра*

Марка Копелева. Местное управление культуры увидело в детском спектакле намёки на подавление Пражской весны, а в желании царя любыми средствами вернуть себе молодость и мужскую силу – аллюзию на преклонный возраст тогдашнего партийного лидера».

Тут к месту отметить, что в Рязанском ТЮЗе задолго до Копелева последовательно сожрали молодого, начинающего Олега Ефремова, молодого Анатолия Эфроса и мало кому тогда известного актёра Иннокентия Смоктуновского. Секретарь партийной организации Рязанского ТЮЗа Екатериничев с гордостью рассказывал, как он не принял в театр «бездарного актёра» Иннокентия Смоктуновского (кто-то, может быть, помнит Екатериничева в маленькой эпизодической роли в фильме «Белый Бим, черное ухо», где он играл живодера в собачьем питомнике, то есть, по словам Копелева – самого себя). Так что Марк был не одинок в этом изысканном меню.

Руководство Рязанского ТЮЗа направило письма в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и в Министерство культуры, требуя лишить Копелева диплома. А поскольку скандал был громкий, из Министерства культуры была послана серьезная комиссия, в которую наряду с другими критиками были включены и такие известные театроведы, как Ирина Сегеди и профессор Юрий Арсеньевич Дмитриев. Из письма Марка: *«Они посмотрели текущий репертуар... После всего говна, которое вылилось на мою голову в предыдущие месяцы... я ожидал суровой показательной порки. Но всё случилось с точностью до наоборот. Комиссия умеренно похвалила спектакль Главного, лениво поругала спектакль "Эй, ты, здравствуй" другого очередного режиссёра, и до небес вознесла моего "Конька-горбунка". Это, дескать, и новое слово на сцене детского театра, и свежо, и замечательно и по форме, и по содержанию, а рогожные декорации – прекрасная находка: это идея художественного образа спектакля, и прочее, прочее, прочее. Тут же, как по мановению волшебной палочки, газеты и журналы изменили свой тон:*

если раньше было "Из куля – в рогожу" или "Верните детям сказку!", то теперь это стало называться "Чудо в рогожке" и "Удивительный мир музыкальной сказки на сцене рязанского ТЮЗа". Из модерниста и формалиста я в одночасье превратился в смелого, талантливого экспериментатора и открывателя новых форм театрального языка».

«Смелый экспериментатор и открыватель новых форм» был вызван в Министерство культуры, где ему сказали: «Мы не можем из-за вас распускать весь театр. Мы вас перераспределим. Вот вам на выбор два прекрасных уральских города – Бугульма и Бугуруслан... Не хотите? Тогда вот у нас есть ещё Березники... Ах, и это не хотите? Ну, тогда мы не знаем...». Других городов у Министерства культуры не нашлось. Родители Марка к тому времени перебрались в Ленинград, и у него была надежда, что он сможет там как-то зацепиться. Но вмешалось КГБ. Его вызвали в Большой Дом и предложили, если не хочет сесть по антисоветской статье, уехать за Урал и сидеть там тихо, не высовываясь, а в Москве и Ленинграде появляться как можно реже... А тут ещё у него случился бурный роман с невесткой прокурора города Рязани. Прокурор обиделся за сына, вызвал его в прокуратуру и тоже пообещал посадить. Но этот предлагал уголовную статью. Выбор был небогатый, и Копелеву пришлось спешно исчезнуть из европейской части Советского Союза.

Вот в этом весь Марк тех лет: если ставить спектакль – так первый в детском театре и сомнительный по идеологии мюзикл, если уводить чужую жену – так от сына городского прокурора. Кстати, из этого брака в конечном итоге ничего хорошего не вышло: через семь лет они расстались.

Марку предложили работу на телевидении в Чите. Он снимал там документальные фильмы и даже получал за них награды. От своей читинской эпопеи он до сих пор в прямом и переносном смысле харкает кровью. В конце концов, после многих приключений личного плана, он осел на Новосибирском телевидении. Рекордные десять лет подряд Марк проработал

там старшим режиссёром литературно-драматической редакции. Потом его и оттуда изгнали с убийственной формулировкой «за идеологическую незрелость». С таким клеймом, как вы понимаете, нечего было даже пытаться стучаться в театральнотелевизионные двери, а кормить семью (уже другую) никто не отменял. И Марк решил проблему самым неожиданным образом: сел за швейную машинку. Он покупал китайские женские штаны и мужские кальсоны с начёсом, раздирал их на части, выворачивал наизнанку и шил великолепные свитера, коими самолично торговал на новосибирской барахолке. Поскольку руки у него – я свидетель – растут откуда надо и голова на месте, в новой ипостаси портного он весьма преуспел и развился, можно сказать, расцвёл в бизнесе. *«Когда в 1985 году “за клеветнические высказывания о советской власти” меня с волчьим билетом вытурили с телевидения и перекрыли все возможности дальнейшей работы по режиссерской профессии, я, чтобы как-то выжить, стал шить джинсы, платья, куртки и прочий “ширпотреб” и продавать его на барахолке. Получалось, видимо, неплохо, потому что товар не залеживался, нехватки покупателей не было, а зарабатывать я стал в пять – десять – пятнадцать раз больше, чем если бы продолжал заниматься оболваниванием широких народных масс, работая режиссером телевидения».*

Тут грянула Перестройка, о Марке вспомнили бывшие коллеги и сняли о нём документальный фильм «Портной», получивший премию на Первом международном фестивале неигрового кино в Ленинграде. Ему предложили вернуться в творческие союзы – журналистов и кинематографистов, из которых его пять лет назад вымели поганой метлой. Однако уже зияла, маня разноцветными огнями, брешь в железном занавесе, и Марк эмигрировал в Нью-Йорк. В новой стране он сказался портным, но тут нежданно-негаданно по телевидению, по программе PBS, показали фильм «Портной» – как оказалось, купленный американцами. Занимавшаяся его трудоустройством

дама озадачилась: «Почему вы нас обманули?! Вы же не портной, вы режиссёр». – «Какой я режиссёр в чужой стране без языка, – возразил ей Марк. – Нет, в этой стране я портной». Дама обещала подыскать ему работу, не вызывающую большого отвращения, и вскоре позвонила с вопросом: «Пойдёте работать в пошивочный цех “Метрополитен Опера”?»!

...В «Метрополитен Опера» Марк проработал двадцать лет. Там во все мастерские с утра до вечера транслируют всё, что происходит на сцене. Достаточно наслушавшись, Марк купил себе наушники и кассетник с аудиокассетами и вместо опер местного производства стал по семь часов в день слушать классическую литературу. Можно представить, какую эрудицию он наслушал себе за двадцать лет!

В «Метрополитен Опера» ему выпало серьёзное испытание – отвечать за изготовление костюмов к опере Прокофьева «Война и мир». Это была совместная постановка Мариинского театра и Метрополитен Опера, задуманная и осуществлённая на излёте Перестройки. Просуществовала постановка недолго (выдержала, кажется, девять спектаклей), но успела наделать много шума за свою короткую жизнь. Подавляя искушение привести здесь целиком копелевский очерк о событиях, связанных с этой постановкой, приведу лишь несколько отрывков из этого рассказа, опубликованного в журнале «Иностранная литература».

«В феврале 2002 года на сцене Метрополитен Опера состоялась премьера оперы “Война и мир”... Зрелище почти на 4 часа. Большое количество эпизодов... Балы, война, русские войска, французские войска, уланы и драгуны, гренадеры и кирасиры, гусары и казаки, фузилеры и вольтижеры, маркитанты, фуражисты, партизаны, горожане, ополченцы, хоры, балет, миманс и прочая, и прочая, и прочая... По сцене передвигаются большие массы народа, сталкиваются, воют, танцуют, убивают друг друга... И при этом ещё и поют.

...Близится финал. Тринадцатая, заключительная картина – “Смоленская дорога”. Под мощное оркестровое всту-

пление, изображающее разбушевавшуюся пургу, в густых вечерних сумерках, по Смоленской дороге бредёт отступающее французское войско. Убогие, замерзшие люди в драных мундирах. Партизанский отряд во главе с Денисовым, Долоховым и Щербатым атакует конвой, охраняющий колонну русских пленных, и освобождает их. Французы в панике бегут. В музыке – победные литавры и трубы во славу русской армии.

И вдруг, в неверном свете метели, от беспорядочно отступающего французского отряда отделяется солдат, и вместо того, чтобы вместе с товарищами по боям удалиться за кулисы, закрыв лицо руками, как бы преодолевая суровые порывы зимних российских ветров, начинает пятиться в направлении зрительного зала. Ну, заблудился французик в полутьме незнакомой сцены. И все бы ничего, но потерявший ориентировку завербованный безработный не заметил в темноте, что между ним и залом разверзся глубокий овраг оркестровой ямы. Куда он, естественно, под изумление первых рядов партера и оторопевшего дирижера, со всего маха и навернулся.

Читатель, наверное, думает, что я сейчас начну описывать, как этот незадачливый солдат свалился прямо на головы не ожидавших оркестрантов. Не спорю – это было бы соблазнительно. Здесь есть, где разгуляться. Несчастный падает в оркестр, визжат скрипачки и виолончелистки, звенят тарелки, грохочут барабаны, хрюкают тромбоны и тубы, с треском рушатся пюпитры и так далее, и тому подобное. Но нет. Нет, нет, нет, друзья мои. Это Метрополитен Опера. Здесь охрана труда... Над оркестровой ямой со стороны сцены натянута страховочная сетка, и даже при всем желании сигануть в оркестр не получится. Наш незадачливый герой благополучно в эту сетку и свалился. Но, как дисциплинированный актер, чтобы не привлечь к себе внимание и не нарушать ход спектакля, затаился там и не шевелится. А поскольку это произошло в темноте под вой метели и музыку победы русского оружия, то кроме оркестра и первых рядов партера никто, в общем, потери бойца не заметил.

...Подбитый влёт на высокой ноте творческого экстаза, Валерий Абисалович Гергиев останавливает и так уже полузахлебнувшийся оркестр, помощник режиссера даёт занавес, зрители из первых рядов заглядывают в оркестровку, пытаясь увидеть, куда исчез человек... музыканты тычут страдальца-француза в задницу смычками – мол, давай уже вылезай, война окончена, а тот свернулся в сетке калачиком и признаков жизни не подаёт.

...В конце концов, с помощью пожарных, француза извлекли из сетки, спектакль кое-как закончили, и на поклон мистер Вольпе (генеральный менеджер Метрополитен Опера, НР) вышел, ведя за руку ошалевшего от свалившейся на него славы молодого актёра:

– Этот отступающий французский солдат, – сквозь зубы пошутил Вольпе, – сбился с пути в русской метели.

На следующий день нью-йоркские газеты широко осветили этот драматический эпизод войны 1812 года. Один заголовок мне особенно понравился:

“Много солдат пало в Отечественной войне 1812 года, но ни один из них не пал в оркестровую яму!..”

Мог ли безработный бродвейский лицедей мечтать о таком сногшибательном успехе на одной из самых престижных сцен мира?!»

Дальше Марик пишет, что этот невероятный эпизод стал ярким заключительным аккордом в безумной симфонии событий, которые ему предшествовали, и что если бы он не произошёл, его следовало придумать. Дело в том, что костюмы к этому спектаклю шили в Мариинском театре, со всеми вытекающими последствиями. Дадим опять слово Копелеву. «В один прекрасный день “из Петербурга с любовью” пришли пошитые в Мариинке костюмы. 300 ящичков!!! Повторяю – прописью: ТРИСТА!!! Почти 2000 костюмов, обуви и головных уборов!!! ...На все 300 ящичков была пара жеванных листков объяснений, написанных от руки. На русском языке!..

Положение казалось, да и было, катастрофическим, и тогда ответственным за изготовление костюмов назначили Марка. Судя по всему, с этой сумасшедшей работой он справился, ибо премьеры, как видно из предыдущего, состоялась.

...Кроме наушников, на первую же зарплату в Метрополитен Опера Марк купил фотокамеру и начал фотографировать Нью-Йорк и его обитателей. *«Руки делали свою работу, а я думал о своем. О чем? Да, обо всем! О жизни, об искусстве. О фотографии. Много ли вы можете назвать фотографов, да и вообще людей, которые 7–8 часов в день думают о жизни и о фотографии. Им думать некогда, надо бегать, искать заказы, а найдя, подстраиваться под далеко не безукоризненный вкус заказчика. Я же был свободен, как птица, мог снимать что хочу, как хочу, и за свои раздумья ещё и получал довольно приличную зарплату. Это ли не счастье! К этому периоду, кстати, относятся мои лучшие портретные работы, а так же бессмертный шедевр "Письма с того света" – книга, которую я в это время написал».* Копелевская фотография Иосифа Бродского украшает четвёртый том шеститомника Бродского издания Пушкинского фонда – первого прижизненного издания собрания сочинений Бродского в России. Передал эту фотографию в издательство сам Бродский.

Сделанные Марком фотографии просили комментариев, и он начал писать. Его фотокнигу «Письма с того света» я держу в руках на фотографии, открывающей главку о Тимуре Шаове. Марк прислал мне эту книгу для первого знакомства. Я пробежала несколько страниц и уже не могла оторваться: такой это оказался мой жанр и мой человек.

Немного о его личной жизни. Марик – человек много-семейный. Не в том смысле, что у него большая семья – хотя и это правда, – а в том, что семей у него было много. С последней (хочется надеяться) женой Людой, красавицей и умницей, Марик живёт уже двадцать лет, долго и счастливо. Мы с Володей при-

Дорогой, свободный
Натаньерке
от автора этой антологии
Книжки. Тебя свободны!!!!!!
Марк Копелев

Письма с того света

с фотографиями
и комментариями



Москва

летали на их юбилей. Ниже приведен один куплет из моего им посвящения (горжусь находкой):

*Он портки на Паваротти
Без понтов тачал
И судьбы на повороте
Люду повстречал...*

Остальные куплеты не привожу ввиду низкого уровня текста.

Люда продолжает семейное дело: шьёт женские костюмы в Метрополитен Опера. Сам Марик, отслужив своё на радость Паваротти и Доминго, ушёл на заслуженный отдых и, как оповестил мир Тимур в приведенном выше фрагменте из «Песни гоя», уезжает на зиму из Инглвуда (штат Нью-Джерси) в Порт Сент-Люси (штат Флорида) и живёт там, припеваючи песни Шаова, а значит припеваючи, а мы его навещаем, чтобы совсем не одичал.

Человек талантливый, зоркий и остроумный, Марк достигает высот во всех своих ипостасях: портняжном деле, фотографии и писательстве, – и продолжает расти. Не исключено, что на потемневшем небосклоне российской словесности восходит новая звезда.

Вот какой друг у нас с Тимуром Шаовым.



ПЯТЬ-НОК

*Случайное, являясь неизбежным,
Приносит пользу всякому труду.
Иосиф Бродский*

В юности у меня был поклонник по имени Григорий. Он хотел на мне жениться, за что получил от моих родных прозвище Гриша-псих, прочно к нему прилипшее. У него были и другие мелкие странности, но эта была наиболее очевидной.

К моему мужу Володе это заявление никакого отношения не имеет. Он-то как раз человек нормальный и жениться на мне намерения не имел. Но, как написала блистательная Муха,

*«Ну, дела, – подумал Лось. –
Не хотелось, а пришлось».*

Впрочем, речь здесь не о Володе и даже не о Грише-психе. Речь о поездках из СССР за границу на международные конференции, куда меня не пускали с необыкновенным упорством. Две графы в анкете – беспартийная и еврейка – привязывали к родной земле и давили, как испанский сапог. А душа просила простора, как у нашего кота Афанасия, при малейшей возможности удиравшего на лестничную клетку. Но в отличие от кота, рвавшегося гадить под соседскую дверь, я мечтала о красивых кондиционированных залах, где на конференциях Американского химического общества сплошные Нобелевские лауреаты докладывают замирающей от восторга аудитории о невероятных научных свершениях. С этим чувством, с холодком под ложечкой от сбывшегося несбыточного, я посетила, покинув СССР, свою первую международную конференцию. Теперь, когда я сама не только докладываю, но, бывает, и председательствую на этих конференциях, я понимаю, сколь наивны были мои тогдашние представления об их уровне. Нобелевские открытия каждый день не случаются. Хотя разглядеть, где в данный момент находится и куда движется современная наука, там, конечно, можно. Кстати, когда я покинула страну, выяснилось, что иностранные коллеги регулярно присылали мне приглашения на конференции на адрес Института химфизики, где я работала, но до Перестройки я не видела ни одного приглашения: все они находили последний причал в мусорной корзине Иностранного отдела Академии наук.

Помимо конференций, я мечтала о мировых музеях. Альбомы с видами городов и репродукциями картин из галерей Уффици, Прадо, Лувра привозили мне сердобольные коллеги, обильно посещавшие наш замечательный в ту пору институт, создатель и директор которого академик Семёнов был Нобелевским лауреатом. Я листала художественные альбомы, а в мечтах видела оригиналы. К слову сказать, последний кол в матримониальные надежды Гриши-психа вбил он сам своим ранним телефонным звонком, разбудившим меня в тот момент, когда я на велосипеде

ехала по парижскому мосту от Лувра к музею д'Орсэ. Такое не прощают, я и не простила.

В ту пору самым далёким зарубежьем была для меня Болгария, куда меня однажды выпустили по туристической путёвке в самом начале шестидесятых годов, на волне хрущёвской оттепели. Я надеялась, что чудо, случившееся однажды, имеет шанс повториться, и регулярно подавала заявки на поездки на международные конференции. Тут и начинается мой рассказ.

Те, кто в семидесятые-восемидесятые годы достиг половой зрелости, могут помнить, что по правилам Академии наук первым шагом в оформлении заграничной поездки было посещение четырёх диспансеров – туберкулёзного, психиатрического, наркологического и венерологического. Без справок о том, что у вас нет туберкулёза, вы не псих, не ширяетесь и не страдаете венерическими заболеваниями, у вас не принимали заявления на заграничную поездку. Почему вышеупомянутое вывозить нельзя, а ввозить можно сколько угодно за милую душу, объяснить не мог никто, включая, думаю, тех, кто этот абсурд изобрёл. При обратном въезде таможеню больше всего интересовало, не ввозите ли вы запрещённые книги, валюту и наркотики, и никто никогда не побеспокоился, не ввозите ли вы СПИД. Правда, если бы такая оказия с вами случилась, дело ваше было плохо: вывезти его обратно вы бы уже не смогли.

Из первых трёх диспансеров – туберкулёзного, психиатрического, наркологического – можно было просто взять справки, что вы не их клиент, а четвёртый, венерологический, надо было посетить всерьёз, сдав кровь на реакцию Вассермана¹ и предъявив соответствующему доктору все места, которые

¹ Анализ на сифилис. У меня в Химфизике был коллега и приятель по имени Саша Вассерман, и на наших капустниках постоянно дискутировался вопрос, какую реакцию лучше иметь положительной: по Рапопорту (пьяный за рулём) или по Вассерману (сифилис). Мнения расходились.

ему вздумается освидетельствовать. При этом справка, полученная сегодня, действовала всего несколько месяцев, что, согласитесь, разумно. Регулярно подавая заявки на поездки на международные конференции, я стала, можно сказать, завсегдаем венерологического диспансера, каждый раз моля Бога, чтобы врач, который меня осматривает, не забыл вымыть руки после предыдущего клиента, и чтобы клиент этот тоже просто мылился в заграничную поездку, а не использовал диспансер по назначению. Если бы справки о том, что у меня нет сифилиса и гонорей, имели какую-нибудь материальную цену, вы могли бы не беспокоиться о моём финансовом будущем.

На стадии венерологического диспансера для меня обычно всё и кончалось с заграничной поездкой: дальше шла иностранная комиссия парткома института, сквозь сито которой я не проскакивала. Члены иностранной комиссии заглядывали глубже, чем вышеупомянутые доктора: лезли, можно сказать, в самую душу, хотя каналами пользовались теми же, что и проктологи или венерологи.

...В тот день, о котором пойдёт речь, я пришла в венерологический диспансер, потому что на этот раз пыталась поехать на международную конференцию в Брюссель. Диспансер был где-то в районе Ленинградского проспекта, недалеко от метро Аэропорт. Народу в коридоре было битком. Я заняла очередь за стайкой девушек, болтавших с симпатичным молодым человеком о поездке в Болгарию. У меня отлегло от сердца – эта группка к пациентам заведения явно отношения не имела: они были здесь по тому же вопросу, что и я. Так что они пройдут к врачу прямо передо мной и станут буфером между мной и потенциально возможным настоящим пациентом, их предшественником. С этой утешительной мыслью я включилась в общую беседу, поскольку, в отличие от милых щebetуний, в Болгарии была и могла дать пару полезных советов. Я развлекала их байками, а время тянулось безумно медленно, и я начала сильно нервничать. Дома меня ждала маленькая больная Вика, застудившая почки

на «фигурном катании», проходившем, в порядке подготовки, на цементном полу какого-то подвала. Мне нужно было срочно достать редкое лекарство со смешным названием «пять нок». Лекарства, конечно, в аптеках не было, и даже мой папа, со всеми его медицинскими связями, с величайшим трудом добыл где-то всего одну баночку. Вика таблетки «пять нок» регулярно принимала и с интересом наблюдала каждое утро, не отрастает ли у неё пятая нога. Принимать таблетки следовало несколько месяцев без перерыва, но наш запас подошёл к концу, и мне предстояло каким-то неведомым образом, хоть бы и путём чёрной магии, достать ещё хоть одну баночку. А я вместо этого теряла часы в идиотском диспансере. Кстати сказать, в Бельгии, куда я метила, эти самые «пять нок» – да хоть десять! хоть двадцать! – можно было купить без малейших усилий в любой аптеке, и это служило для меня дополнительным мощным стимулом.

Короче, время страшно тянулось, я сильно нервничала, и конца-краю этому не было видно даже при том, что в кабинет запускали сразу несколько человек по половому признаку. Наконец подошла очередь и моих соседей: трое или четверо из них нырнули в кабинет. Я увидела в этом свой шанс: если молодой человек, за которым я заняла очередь, будет так любезен и разрешит мне пройти вместе с его девушками, я выиграю минут пятнадцать-двадцать.

– Ни в коем случае, – ответил мне молодой человек самым любезным тоном. – Я вас пропущу, вы выйдете от врача и уйдёте навсегда, и я вас больше никогда не увижу. А я уже решил, что должен проводить вас до дому. Поэтому сначала пройду я, потом вы. Я вас дождусь, и мы выйдем с вами вместе.

Несмотря на весь мой стресс, я расхохоталась:

– Вам не кажется, что венерологический диспансер не самое подходящее место для флирта?!

– Что вы, вовсе нет! Как раз наоборот! Пройдя через этот кабинет, мы будем знать, чего друг от друга ожидать!

В этом, конечно, был свой резон. Замечание показалось мне остроумным, но я всё ещё не теряла надежду его уломать:

– Послушайте, мне, правда, очень нужно пройти как можно скорей. У меня дома больная дочка, она меня ждёт, мне нужно срочно достать ей лекарство, которого нигде нет.

– Какое лекарство?

– Редкое, его нет в аптеках.

– Как называется?

– Странно называется: «пять нок».

– Смешное название. Давайте телефон. Завтра оно у вас будет.

– Вы шутите?!

– Нисколько. Завтра оно у вас будет. Сколько вам надо? Давайте телефон и адрес. Впрочем, я же вас провожу до дому и адрес, таким образом, узнаю, так что давайте только телефон.

Я, конечно, дала.

Тут его вызвали в кабинет, и он ушёл. И пропал. Минут на сорок пять. Я в недоумении и жутком волнении следила по часам. Что случилось?! До него его девочки выскакивали из кабинета, как горох из стручка, одна за другой, весёлые и довольные. А его всё не было. Наконец появился и он, тоже весёлый и довольный:

– Представляете себе, ложная тревога!!!

Я похолодела. Это оказался *настоящий пациент!* Такое случилось здесь со мной впервые: я должна была пройти к врачу, уже зная наверняка, что прямо передо мной у него был *настоящий пациент!* Вымыл ли врач руки?! Протёр ли их спиртом?! И – о боже мой, сорок пять минут тому назад я дала *настоящему пациенту* свой номер телефона!!! На лице у меня, когда я на ватных ногах вползла в кабинет, была написана такая паника, что врач принялся меня утешать: «Не волнуйтесь, у нас сейчас есть прекрасные средства, мы излечиваем абсолютно всё! Расскажите ваши симптомы». Я, заикаясь и путаясь, принялась объяснять, что я – нет, мне – в Бельгию, но у вас передо мной был *настоящий пациент*, и мне ужасно неловко спросить, но я всё-таки спрошу, моют ли врачи руки после каждого пациента спиртом и дезинфицирующими средствами?

Мне попался очень добрый врач. Он ужасно развеселился, тщательно вымыл руки у меня на глазах, нацепил чистые перчатки, покопался для вида у меня в волосах, потрепал по голове и разве что лёгкого пинка под зад не дал: «Езжай на здоровье в Бельгию, да смотри – не попади к нам по возвращении!».

Я выскочила от врача как ошпаренная. Симпатичный молодой человек, *настоящий пациент*, как и предупреждал, ждал меня в коридоре. И ни в одном глазу не было у него, представьте, ни капли смущения – только чистая радость от только что полученной хорошей новости. Он вышел со мной. Был час пик, в проходящих мимо троллейбусах было не протолкнуться, и перспектива быть к нему плотно прижатой в битком набитом транспорте приводила меня в содрогание. Я пошла домой пешком, стараясь держаться шага на два поодаль от моего спутника. Он поведал мне по дороге банальную историю. Но сначала я должна вам его представить: Гриша. Среднего роста, крепко сбитый коренастый парень, с чёрными густыми волнистыми волосами и резко очерченным красивым лицом; под густыми бровями выделялись глаза совершенно невероятной синевы – я никогда больше не видела таких синих глаз.

Свои чёрные кудри и синие глаза Гриша только что привёз из Сочи, где проводил заслуженный отпуск. Там на них обратила внимание некая дама из ФРГ. Может, если б она была из Урюпинска, не случилось бы того, что случилось, но она была из ФРГ, и они провели вместе один день и одну ночь в комнате, которую он снимал. Когда на следующее утро он проснулся, дама исчезла, не оставив никаких координат, но память о ней полностью не стёрлась ввиду возникших через некоторое время симптомов, до смерти его напугавших. Он прервал отпуск и рванул в Москву. Сегодня выяснилось, что тревога была ложной. Впрочем, он ни о чём не жалеет, потому что иначе он бы меня не встретил...

Легко догадаться, что я не прерывала этот грустный монолог, но тут сочла нужным отреагировать:

– Гриша, я замужем и у меня, как вы уже слышали, ребёнок. Такое впечатление, что вы об этом забыли.

– Нет, что вы. Это ничему не мешает. Отношения между мужчиной и женщиной складываются по-разному. Не обязательно прыгать в постель. Вы так обаятельно рассказывали про Болгарию, что я подумал – с такой женщиной я хотел бы прожить жизнь. Но все женщины, с которыми я хотел бы прожить жизнь, уже заняты другими мужчинами. Что-то я, как видно, в своё время упустил...

За этим интересным разговором мы вошли в мой двор, где я с Гришей распрощалась. Поднявшись в квартиру, я разделась догола в тамбуре, и все вещи, которые на мне были, включая новые туфли, спустила в мусоропровод. Потом голая прошмыгнула в ванную и чуть не сварилась в кипятке, исступлённо дезинфицируя потенциально перепрыгнувшие на меня спирохеты. От волнения и страха я вся чесалась, словно меня кусали блохи. Прокипятившись, завернулась в полотенце, вышла к родителям и сестре и поведала им эту ужасную историю. Вика вертелась тут же и тоже слушала с интересом.

– Ну, ты совсем ненормальная! – набросилась на меня сестра Ляля, проработавшая два года терапевтом в венерологической больнице имени Короленко – серьёзном заведении с тяжёлым контингентом, куда за справками для заграничных вояжей не обращались. Сестра постоянно приносила из больницы страшные рассказы – то нянечка в детском саду перезаразила детей гонореей, пользуясь с ними одним ночным горшком, то страдавшая от жажды вполне приличная дама выпила газировку на улице из не слишком чистого стакана... Когда моя сестра работала в больнице Короленко, мне было лет четырнадцать-пятнадцать, и она напугала меня этими рассказами на всю жизнь. Сейчас она принялась меня поносить:

– Что ты натворила?! Зачем ты выбросила хорошие вещи?! Если бы я трусила, как ты, мне вообще надо было бы ездить на работу голой! Венерические болезни по воздуху не летают, в твоём возрасте пора бы это знать!

– Так он же совсем рядом со мной шёл! Слушай, я ж дала ему наш телефон! – вдруг вспомнила я и опять впала в панику. – Он обещал достать «пять нок»...

– Наташка, ты наивная, как институтка! Он в постель с тобой хотел лечь, мужик для этого, что хочешь, наобещает. Достанет он тебе «пять нок», держи карман! Я не смогла достать, папа не смог, а он достанет!

Я страшно расстроилась. Мне стало вдруг ужасно жалко новые туфли, и юбку, и отданный в чужие, не слишком стерильные руки, номер телефона. Папа с мамой молчали – видимо, внутренне соглашались с моей сестрой. Мужа Володи, к счастью, дома не было.

На следующий день не успела я вернуться с работы, раздался телефонный звонок:

– Наташа, это Гриша. Я у вас во дворе. Выйдите, пожалуйста, я принёс вам «пять нок». Пять баночек. Если понадобится, принесу ещё.

Я выглянула через окно кухни – Гриша увидел меня и помахал баночками. Я летела к нему через ступеньки, не чуя ног. Пять баночек «пять нок», в заводской упаковке, не просроченные! Это было настоящее чудо!

– Где вы это взяли – у вас что, ключ от пещеры Алладина?!

– Неважно. Главное, теперь они у вас есть.

После этого мне, конечно, ничего другого не оставалось, как пригласить Гришу домой, познакомить с моими родителями и накормить обедом. Папе с мамой Гриша понравился, особенно папе. Папа мой был человек широких взглядов, а Гриша и впрямь был славный малый. Что же до его приключений – молодо-зелено, с кем не бывает. Он получил хороший урок.

Гриша стал у нас появляться. Теперь пришла пора напомнить читателю, что у меня уже был один знакомый Гриша, по прозвищу Гриша-псих. Надо было как-то их различать, и новый Гриша получил название Гриша-сифилитик. Прозвища прилипли и были у нас дома постоянно в ходу, потому что оба поклонника часто

звонили. Мама однажды прикусила язык буквально на полуслове, когда на обращённую к ней просьбу передать мне, что звонил Гриша, спросила: «Который? Пси...».

...Спустя какое-то время я (ненамеренно) познакомила Гришу-сифилитика со своей коллегой, они друг другу очень понравились и жили долго и счастливо.

В Бельгию меня, конечно, не пустили...

Постскриптум

Прошло много лет, началась Перестройка, и впервые в жизни меня выпустили на международный конгресс в капиталистическую страну, да какую – Швейцарию! Перестройка тогда делала первые неуверенные шаги, и справки об отсутствии туберкулёза и гонореи ещё не отменили, так что пришлось представлять в иностранную комиссию парткома необходимые свидетельства от всех перечисленных выше четырёх диспансеров. Но перемены были налицо: я получила «добро» на поездку!

В Иностранном отделе Академии наук всегда перлюстрировали всю нашу корреспонденцию. Мне выдали там на дорогу двадцать долларов и объяснили, что по возвращении я должна их вернуть, а заодно и гонорар в четыреста (400) франков, обозначенный в пригласительном письме: поскольку гостиницу и проживание мне оплачивают организаторы Конгресса, эти деньги мне не понадобятся.

Самолёт из Москвы в Женеву летал тогда только два раза в неделю, и, чтобы успеть на Конгресс, я должна была прилететь в Женеву за два дня до открытия и провести в Швейцарии два лишних дня на выданные мне Академией наук двадцать долларов. Да ещё и вернуть их по возвращении вместе с будущим гонораром. Напомню, что покупка и хранение валюты в те годы приравнивались к тяжким уголовным преступлениям и карались многолетним тюремным заключением (а при Хрущёве – смертной казнью: вспомните Рокотова). Попытка выпросить у Академии нормальный аванс под залог будущего гонорара потерпела

сокрушительное фиаско: не можете ехать в Швейцарию – не езжайте, вас никто не неволит. Положение, представлявшееся абсолютно безвыходным, спасла летевшая со мной на конгресс приятельница, у которой были родственники во Франции и друг в Германии: они нас и выручили.

Весь гонорар, выданный мне за доклад, я спустила в книжном магазине в Цюрихе на запрещённый двухтомник Лидии Корнеевны Чуковской об Анне Ахматовой (Лидия Корнеевна мне его потом подписала и своей рукой исправила опечатки). Но двадцать долларов я, как честный человек, Академии вернула.

– Почему ты не сдала гонорар? Сдай немедленно, иначе ты больше никогда никуда не поедешь! – давил на меня мой завлаб, он же председатель иностранной комиссии парткома.

– Если я сдам вам гонорар, я уж точно никогда никуда больше не поеду, – парировала я.

– Почему это?

– Потому что никакой психиатрический диспансер не даст мне справку, что я нормальная!

На том мы и порешили, и больше я действительно никогда никуда из Советского Союза не ездила, пока не переехала в Америку и не объездила с докладами весь мир.



И СОЗДАМ БЮЛЛЕТЕНЬ

ЖЕНЯ ПАВЛОВСКАЯ

Недавно мне пришло в голову, что судьбы печатных изданий подобны людским: их задумывают, начинают, вынашивают, растят. Некоторые из них остаются потом со своими родителями на долгие годы, другие вылетают из гнезда – желательно в хорошие руки, – третьи умирают в молодости. Есть и такие, что надолго переживают своих родителей.

Этапы жизни одного такого издания я наблюдала почти с момента его зачатия и хочу вам рассказать о его создательнице, моей подруге Жене Павловской. Сегодня в Бостоне нет русскоговорящего человека, который бы не слышал её имени.

Мы познакомились очень давно, в мой первый приезд в Америку. Я тогда «ходила по рукам»: меня передавали из штата в штат, из города в город. В Бостоне меня приняла в свои объятия очень милая и очень миниатюрная пожилая дама, дальняя родственница моих дальних родственников. Элегантностью и размером она гармонировала со своей миниатюрной квартиркой. Там была только одна кровать, и на ней, как легко догадаться, спала сама хозяйка. Уложить меня было решительно негде, и она подкинула меня на ночь своей приятельнице Сарре Бабёнышевой. У Сарры кроватей было две, но на второй уже кто-то спал. Сарра отвела меня на ночлег в соседний дом, к Жене Павловской. У Жени кроватей было по потребности, но поспать в ту ночь мне так и не пришлось, ибо к моменту, когда мы, утомлённые беседой, уже не вязали лыка, наступило глубокое утро.

У нас оказалась множество пересечений. Начать с того, что Женя – химик, кандидат наук. Родом Женя из Горького (ныне Нижний Новгород), но диплом делала в Карповском институте как раз в то время, когда я там работала, так что мы наверняка встречались на тропинках нашей обширной институтской территории. У нас, естественно, было кому перемыть косточки. Плюс к этому Женя, как и я, писала шуточные стишки и небольшие рассказы. Весь этот арсенал прошлой жизни на момент нашей встречи был совершенно не востребованным, если не считать нескольких недоумков школьного возраста, которых Женя за гроши посвящала в увлекательные тайны таблицы Менделеева. Помимо этого, подрабатывала уборкой квартир, но больших высот на этом поприще не достигла и переключилась на нанизывание бус для ювелирной лавочки, ни на минуту не прекращая искать себя в новом для неё мире чистогана.

Когда мы встретились впервые, ничто не предвещало, что Женя уже стоит на пороге своей головокружительной карьеры издателя. Долгие годы я ошибочно полагала, что идея «Бостонского бюллетеня» пришла к Жене внезапно – дескать, на пёстром ландшафте русскоязычного Бостона она вдруг за-

метила незанятую нишу, раскопала там свою грядку и принялась возделывать драгоценную культуру. Оказалось, это было не совсем так. Как-то, забежав за черным хлебом в русский магазин, Женя увидела на стене записку: будущему русскоязычному журналу требуются лица, знакомые с издательским делом. У неё ёкнуло сердце, и внутренний голос произнёс отчётливо: «Вот оно!».

Кое-какой издательский опыт у Жени был: в Горьковском университете она издавала труды своей кафедры и чуть не угодила под суд, вовремя не осознав, что за услуги типографии полагается платить даже в Советском Союзе. Благодаря наличию этого опыта (забудем, что негативного), коллектив, собравшийся издавать новый журнал, единогласно утвердил Женю ответственным секретарём редакции. Главным редактором, естественно, стал инициатор всей этой затеи, профессиональный журналист. Он взял на себя заботы по добыванию бумаги и контактам с типографиями, а Жене было поручено собрать материал для первого номера. На основе собранного материала предполагалось выработать концепцию нового журнала, которой на тот момент ни у кого, включая Главного, не было.

Со своей частью задачи Женя справилась отлично. В ответ на призывы, расклеенные в русских магазинах, несколько человек принесли ей вышибающие слезу объявления: некто соглашался безвозмездно принять в дар велосипед и детскую коляску; молодая семья мечтала снять квартиру в подвале; чародейка предлагала снять порчу и предсказать прошлое и настоящее, а за отдельную мзду и будущее.

Объявители с нетерпением ждали момента, когда их призывы будут предъявлены широкому читателю в первом номере нового глянцевого русскоязычного журнала. Дело было за бумагой и типографией. Женя беспокоила Главного звонками, но тот извивался и нёс околесицу, пока в какой-то момент не выяснилось, что он получил работу в Европе и уезжает на несколько лет. Нет, он вовсе не остыл к затее, успокаивал Главный членов редкол-

легии; через какие-нибудь три года он вернётся в Штаты, и они непременно создадут замечательный журнал, мечту их жизни.

Женя попала в трудную ситуацию. Подавший объявления народ ждал публикации, волновался, звонил, торопил. А она едва сводила концы с концами – ни о типографии, ни о бумаге не приходилось и мечтать. В конце концов, она приняла соломоново решение: вернула к жизни захваченную с собой из Горького хромую и косноязычную машинку «Эрика», напечатала на ней объявления, вписав авторучкой недостающие буквы, вырезала их, аккуратно и красиво наклеила на другой листок и надписала сверху: Бостонский Бюллетень № 1. В копировальной мастерской этот продукт Жениного творчества размножили на ксероксе за сущие центы. Со стопкой копий Женя проехала по точкам, где собиралась русскоязычная публика: русские магазины, курсы английского языка, – и разложила там свою продукцию. Поскольку листочки раздавались бесплатно, народ заинтересовался.

Этот день 1988 года можно считать днём рождения журнала «Бостонский бюллетень». К моменту, когда через двенадцать лет Женя продала свой бизнес (в Америке не принято спрашивать или докладывать о вовлечённых суммах, но намекнуть не возбраняется: этой суммы не постыдились бы гранты от Национального фонда науки), – к моменту, когда Женя продала свой бизнес, в красочно оформленном, отпечатанном на великолепной бумаге ежемесячном рекламно-литературном издании было больше 160 страниц! В этом журнале Женя была издателем, редактором, дизайнером, сборщиком материала и бухгалтером. С компьютерными делами помогал её вечно занятый сын Илья Лапшин, но весь основной воз Женя везла сама. Компьютер в дом приволок Илья в бытность его студентом знаменитого Массачусетского технологического института.

Поначалу он вызывал у Жени нормальную здоровую реакцию, а именно смертельный страх. «Мать, да не трясись ты так, стучи по клавишам, он дуракоустойчивый», – успокаивал сын,

и постепенно отношения с компьютером наладились. Теперь пошли в дело литературные и художественные способности, которыми Бог Женю не обидел, так что весь довольно изощрённый дизайн объявлений (а заодно и их формулировки) она сочиняла сама.

По дороге, конечно, случалось всякое. Однажды, прилетев в Бостон, мы с Володей застали Женю в предынфарктном состоянии. Она лежала на тахте с полотенцем на голове, лица на ней не было. Оказалось, что перед самой отправкой в типографию «замёрз» файл с полностью сброшюрованным, готовым к выпуску номером. Поддерживающего файла – «бэкапа» – у Жени не было. В результате все объявления и связанные с ними имена, адреса и материальные отчёты – всё пропало. Замороженный журнал лежал, как в морге, в программе «Кварк Экспресс», и с этим, казалось, ничего нельзя было сделать.

Женя лежала на одре и стонала. Реанимировал продукт Илья. Это стоило ему немало усилий, нервов, денег и контактов с какими-то суперумельцами. В конце концов, утраченная информация была восстановлена, и с опозданием на две недели журнал вышел в свет. Напряжение спало. Будучи живым свидетелем, я отразила эти драматические события в приведенном ниже историческом документе. Женя отказалась публиковать его в своём журнале из-за табуированной лексики:

*Летя по линии прогресса,
Мир долетел до «кварк экспресса»,
И до поры он, что ни день,
Исправно кваркал в Бюллетень.
Но тяжела и бесприветна
У провидения рука.
«Писец» подкрался незаметно,
Хоть виден был издавека..
Илья Лапшин! Забудь про баб
И сделай матери бэкап!*

«Ода», как назвала её Женя, хоть и не опубликованная, всё равно облетела Бостон и принесла автору заслуженную славу: «Ваша ода получена, четыре раза прочитана, восторженно принята, ещё раз прочитана народу, и бурно одобрен талант летописца».

Мы с Женей в те годы часто общались в стихотворном формате. Женины стихи, даже шуточные, были невероятной поэтической сложности, я так не умею.

*От быта клейкого – забот, работ, обедов
И от дискуссий – легитимен ли аборт
Спасёт, врываясь рыжею кометой,
С приветом к тем, кто уж давно с приветом,
Наташа наша с кличкой Рапопорт.*

*Живи-ка здесь, Наташа, ну куда ты
Стремишься в свой мормонистый аул?
Здесь Гарвард, янки, дождь и демократы,
Здесь русский дух – евреи им богаты,
Обильный стол, аналогичный стул.*

*При дефиците стройных мужиков
И при обилье дам, входящих плавно в климакс,
Володя будет здесь, бесспорно, прима,
Мы не пройдем, как дождь весенний, мимо!
Володя милый, будь всегда готов!*

Я писала в ответ:

*Твой стих, от наслажденья млея,
Я стану наизусть учить,
Не в силах ямба от хоря,
Как ты ни бейся, отличить!*

Поэтическое мастерство Женя оттачивала на тринадцатой странице своего журнала, где, по понятным причинам, никто не хотел публиковать объявления. Женя была едина в трёх лицах: серьёзные литературные произведения были подписаны Евгенией Павловской, двух других авторов звали Коля Швах и Евгений Рудо. Последний не особенно стеснялся в выражениях, и бостонские дамы протестовали: «Женя! Перестаньте, наконец, печатать этого Рудо!».

Бюллетень, охватывавший все стороны жизни, от протезирования зубов до услуг сексопатолога, до покупки дома, до замены летних покрышек на зимние и до советов адвоката, был чрезвычайно популярен. Незримо стоявшая за всем этим Женя в представлении жителей и особенно жительниц Бостона обладала непререкаемым авторитетом, сверхъестественными знаниями и неограниченными возможностями во всех областях бытия. Читатели журнала считали возможным обратиться к ней за любым советом в любое время дня и ночи, и Женя стала настоящей заложницей своего бизнеса. Ей приходилось безвылазно сидеть дома у телефона (эпоха мобильных тогда ещё не наступила), чтобы не упустить клиента, ибо, окрылённые Жениным успехом, конкуренты не заставили себя долго ждать.

Из ранней переписки: «Наташенька, душа моя, здравствуй!.. Громадное спасибо за копии с Викиной и Мишиной графики. Копии, это конечно, как рассказ о поцелуе вместо поцелуя, чтобы не сказать сильнее...

В ответ на ваш товар шлём наш товар. Но у нас все копии – оригиналы. Изготовлением «Русского бюллетеня» занято, в основном, всё моё время. И, к сожалению, мысли. Он стал в Бостоне очень популярен. Вокруг него кипят какие-то страсти. Конкуренты стоят козны, я встречно изображаю из себя железную бабушку Маргарет Тэтчер, а на самом деле я больше всего хотела бы отдохнуть. Сидеть, скажем, на берегу речки и кидать в неё камушки... Кидать вот так и кидать...

Нам дали гражданство. Теперь я гражданочка Eugenia Michael Pavlovsky. Второе имя – в честь моего отца. Отец хорошим человеком был. К вопросу об именах: во время принятия присяги (скучная административная волынка) всех перекликали по именам – там всякого народа человек пятьсот было. И одно имя запало мне в душу. Бабу звали Сучара Фернандес! Здоровая деваха в больших серьгах. Имя – чудо! Некоторые своих любимых так начинают звать только после двух-трёх лет тесного общения, а её можно – сразу. "Как я давно тебя не видел, Сучара! Сучара, улыбнись!"...

А в остальном... всё хорошо. Развлекаюсь хождением по гостям и приёмом их же. Иногда посещаем "культурные мероприятия". Вот позавчера слушали Игоря Иртеньева (концептуалист усатенький)... Ещё здесь все болеют разными гриппами и рассказывают у кого какой был. Очень интересно. У меня тоже их несколько было.

Сейчас час ночи. Пойду-ка спать, пожалуй. Целую вас всех и хочу видеть. Женя».

Помимо тринадцатой страницы, Женя писала для журнала небольшие рассказы и эссе. Что-то из них шло в печать, что-то откладывалось про запас. Рассказы начали вырастать из формата журнала, и вдруг оказалось, что их – целая книга, и не одна, а три. За рассказами последовала чрезвычайно популярная книга «Жизнь и еда» – чудесная кулинарная энциклопедия, где каждый рецепт сопровождается небольшим весёлым комментарием. Женя замечательно готовит, и не следует слишком доверять её жалобам, что, дескать, она проводит жизнь у плиты: любит она это дело, вот в чём секрет. В предисловии она чистосердечно призналась, что все рецепты и жизненные ситуации, описанные в книге, опробованы ею лично. Я внесла в эту книжку скромную лепту в виде небольшой рецензии на задней обложке: «Жизнь – субстанция вкусная и ароматная. Того и другого – вдвойне, если вам повезло, как мне, быть в друзьях автора этой замечательной энциклопедии вкусной жизни... Минздрав предупреждает: эта

книга опасна для здоровья людей с аппетитом, который приходит во время еды».

С Женей, кстати, хорошо не только закусывать, но и выпивать. Вот её чистосердечное признание, сделанное без какой-либо дополнительной стимуляции:

*Российской привычке вовек не протухнуть,
Проверено это надёжно давно:
Друзья познаются за водкой на кухне
(Здесь водкой по бедности служит вино).*

Однажды Женя забыла поздравить меня с днём рождения и, обнаружив это, принялась бить себя кулаком в грудь и каяться:

*Ну, что сказать? – меня попутал бес.
В твой день рожденья я ходила в лес,
Чтобы набрать маслята и опёнки,
На страх моей изнеженной печенке.*

*Наташа, будучи дурной кобылой,
О юбилее я совсем забыла.
Сказать по чести, друг мой, цифры эти,
Хранить мне в памяти совсем не светит.*

*Уже лет тридцать или двадцать пять
Желательно их, так сказать, замять.
Но рада я, что в некой пятилетке,
Презрев раскаты будущего грома,*

*Явив беспечность, а, скорее, смелость
Лихой и беспартийной яйцеклетке
Все удалось, что ей давно хотелось
Без разрешенья строгого месткома.*

*Избегнув популярные напасти:
Невольный выкидыш, решительный аборт,
Ей выпало нечаянное счастье
Стать в августе Наташей Рапопорт.*

*По вероятности сей факт сравнить я смею
С удачей выиграть сто тысяч в лотерею.*

...Если литературная часть «Бостонского бюллетеня» доставляла мне эстетическое удовольствие, то рекламная однажды оказала неоценимую услугу. В конце прошлого века я надумала перебраться из Солт-Лейк-Сити в Бостон. Съём квартиры в Бостоне стоит немислимых денег – значительно выгоднее квартиру купить, взявши ссуду в банке. Для этого, естественно, нужен хороший агент. Женя сунула мне в руки очередной выпуск Бюллетеня и посоветовала: «Полистай. Здесь агентов по недвижимости – как песка в Сахаре. Кого-нибудь найдёшь». Я листала, позёвывая, и вдруг затормозила над фотографией молодого человека привлекательной наружности с телефонной трубкой в руке. Рядом с фотографией была сразившая меня реклама (цитирую по памяти):

*В конюшне – конь,
В коровнике – корова,
В овчарне – овцы,
В птичнике – петух.
Друзья! Вы не останетесь без крова,
Пока живёт на свете Авербух!*

Можно ли устоять против такой рекламы?! Я не устояла. Дальнейшее показало, что реклама не обманывала: личное знакомство с Авербухом только подтвердило первое впечатление.

Квартиру мы с его помощью купили, но тут мои обстоятельства резко изменились, и в Бостон я не переехала. Купленная

квартира легла тяжёлым грузом на скромный бюджет, и я хотела её немедленно продать. Это было сопряжено с огромными материальными потерями, и Авербух меня решительно отговорил. С его помощью мы квартиру сдали, и постепенно я залатала уродливые бюджетные прорехи. Квартира, как и предсказывал Авербух, стала потом серьёзно расти в цене. Приведенные ниже благодарственные строки пришли ко мне на волне большого чувства:

*Чтоб никогда не падать духом
Общайтесь, люди, с Авербухом!*

Перед Новым Годом по почте пришёл большой пакет. В плоской коробке лежал довольно толстый белый лист с портретом Авербуха в золотой раме, благоухавший не то парфюмерией, не то сладкой жизнью. Под портретом шла подпись красивой вязью:

*Чтоб никогда не падать духом
Общайтесь, люди, с Авербухом!*

Красавец Авербух в золотой раме источал непонятный сладкий аромат. Дополнительно украшенный моими стихами, он просился на стену.

– Не повесить ли нам портрет Авербуха: мы ему многим обязаны, – предложила я Володе.

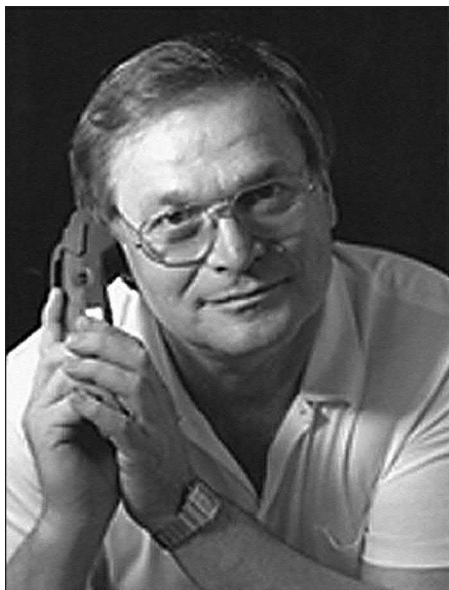
– Конечно, – согласился Володя. – Сейчас сниму со стены портрет твоего папы работы Фалька и повешу на его место портрет Авербуха работы неизвестного кондитера.

Он даже не подозревал, насколько оказался прав. Вскоре раздался телефонный звонок.

– Получила посылочку?

– Получила. Спасибо.

– Ты хоть поняла, что это портрет на белом шоколаде? Новогодний подарок моим драгоценным клиентам.



Я ахнула:

– Портрет на белом шоколаде?! Что, по-твоему, я должна с ним делать? От какого места откусывать?!

– От уха до уха я съем Авербуха, – мгновенно среагировал Володя.

– А ты лижи меня сзади, – посоветовал Авербух.

На такое кощунство мы не пошли. Портрет Авербуха отправился в морозильник, где и пребывает уже десяток лет в целости и сохранности.

Я посвятила Авербуху ещё несколько стихотворных произведений, которые здесь не привожу ввиду низкого уровня поэтического текста. Рифмы «ухо, муха, старуха, проруха» постепенно истощались и в конце концов иссякли. Но новогодняя традиция жива по сей день, и неизвестный мне замечательный поэт продолжает воспевать его с отменной фантазией. Каждый год его клиенты получают необычные подарки с портретом

Авербуха и талантливыми смешными стишками. Чего стоит, например, махровое полотенце с вышитым на нём авербуховским портретом и подписью:

*Вот сюжет довольно новый:
Авербух, притом махровый.*

Надо ли удивляться, что в русскоязычном Бостоне Алекс Авербух – самый популярный агент по недвижимости.

Как я уже вам сообщила, Женя продала «Бостонский бюллетень». Её преемник успешно справляется с бизнесом, и я, вероятно, напрасно беспокоилась, когда писала ей:

*Хоть энергичный, яркий, броский –
вас не заменит Ко-маровский,
И даже каторжным трудом
не станет рядом с Е. Рудом.*

...Судьбы печатных изданий подобны людским: их задумывают, зачинают, вынашивают, растят, отдают в чужие руки, иногда хоронят. Женино детище живёт, и это радует её друзей – и город Бостон.

Этот очерк я писала давно, при Жениной жизни. Теперь её нет. Это огромное горе. Я было начала менять в тексте время глаголов с настоящего на прошедшее, но поняла – не хочу! не могу! – и оставила всё как есть.



Рита Соколова среди своих кукол

КУКЛЫ

РИТА СОКОЛОВА

Маленькая девочка играет в куклы. Кормит «за маму–за папу», нянчит, укладывает спать, ставит градусник. Это её первый порыв к материнству. Годам к семи–восемью он пройдёт. Куклы будут подарены младшим по чину, сложены в ящик, в худшем случае – брошены в угол с оторванной конечностью. Интерес пропадёт лет на двадцать, до появления на свет следующего поколения.

Я в детстве не доиграла. Мне едва исполнилось три года, когда наш дом на Сивцевом Вражке разнесло прямым попаданием немецкой бомбы. Пропало всё, не только мои куклы. Со скудным скарбом, собранным из сосланных на дачу старых вещей, мы с ма-

мой и сестрой уехали в эвакуацию в Сибирь, в Омск; сестра там на всю жизнь отморозила руки и ноги. Папа ушёл на фронт. Мама день и ночь работала в госпитале. Она сшила мне тряпочную куклу, и сестра нарисовала ей лицо. Кто-то сердобольный подарил мне зайца, и потом, много позже, куклу с настоящим лицом, но со своей тряпочной подружкой я не расставалась никогда.



Я прошла с ней всю войну. Мама уходила на работу, сестра в школу, и я оставалась с куклой и с моим первым близким другом Рубликом, трёхногий дворняжкой гладкой чёрной шерсти, одного со мной роста. Рублик меня «удочерил» и любил заботливой, нежной и тревожной любовью, как мало кто любил меня после (мама с папой не в счёт). Ему постоянно казалось, что меня хотят обидеть, он никого ко мне близко не подпускал, рычал и кусался, и однажды порвал брюки полковнику, который наклонился погладить меня по головке... Приходилось всякими уловками, иногда даже корочкой чёрного хлеба – огромной в ту пору ценностью – отвлекать его, чтобы я могла выйти поиграть со сверстниками во дворе.

Если он оставался дома, вой его был слышен на весь квартал. Любовь его была деятельная. Зимой Рублика, трёхлапого, запрягали в санки, и он катал меня по заснеженному двору. А однажды я ударилась обо что-то, сидела на полу в коридоре и плакала. Рублик



вылизывал мои слёзы, потом ушёл в комнату и принёс мне... мою куклу!

Конец его до сегодняшнего дня разрывает мне сердце. Когда в конце сорок четвёртого года мы с маминим госпиталем возвращались в Москву, взять с собой Рублика оказалось невозможно. Дом наш разбомбило, папа был ещё на фронте, и мы ехали «в никуда». Да и брать собаку в гос-

питальный поезд не разрешили. Хозяева квартиры написали потом, что после нашего отъезда Рублик три дня страшно плакал, ничего не ел и умер...

Чуть не забыла рассказать: кроме кукол и Рублика, был у меня ещё маленький алюминиевый утюг, меньше моей ладошки. По назначению он не использовался, потому что у моей куклы никогда не было съёмного платья. Утюг играл в моей жизни другую, невероятно важную роль: я носила его в подарок, когда меня приглашали на день рождения. Другого подарка у меня не было. Одаренный тотчас возвращал мне утюг обратно – такой хлам был ему (ей) сто лет не нужен. За три года в Омске утюг сделал со мной не один оборот по знакомому кругу и стал нарицательной фигурой в нашей семье. Через много лет, глядя на мои метания в поисках хорошего подарка другу или подруге, мама спрашивала: «А что, алюминиевые утюги уже не в моде?».

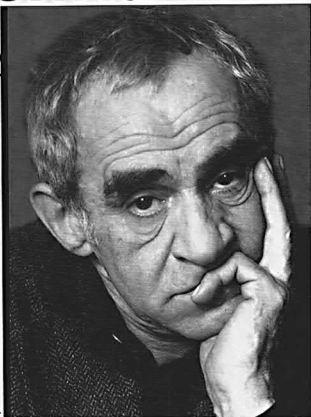
С тех детских лет у меня остался жгучий интерес к куклам. Что греха таить, в детстве я мечтала о красавицах с закрывающимися глазами и в шикарных кружевных туалетах, но в более зрелом возрасте это стало не важно: куклы занимали и занимают меня в любом формате. Мне везло: в Москве я варилась в густом кукольном супе. Вика и мои любимые друзья рисовали и лепили кукол для Ирины Уваровой и Образцова, и не менее любимый друг Зиновий Гердт вдыхал в кукол жизнь.

Я верю всяким Коппелиям. Я верю, что в куклу можно влюбиться – со мной это было. Мне было лет двенадцать или тринадцать и это была одна из моих первых loves. Я влюбилась в чёрта из Чёртовой мельницы. Я бегала смотреть спектакль раз, наверное, пять или десять, каждый раз ожидая с замиранием сердца, когда чёрт раздвоится и голос, от которого сладко сжималось в груди, скажет: «Это называется *чёрта с два*». И за всё это время мне ни разу не пришло в голову поинтересоваться, кто стоял за этим чёртом и этим голосом. Я любила самого чёрта. Потом этим голосом заговорила увертюра к Фанфану-Тюльпану. А лет тридцать спустя я услышала этот голос в двух шагах от себя, более того – обращённым прямо ко мне, и тут же опять влюбилась без оглядки, мгновенно угадав в живом Гердте давешнего чёрта моего детства. А ведь чёрт был таким, каким его изобразил художник: с рогами и копытами. Он вполне мог сойти за злодея и убийцу, но стал неотразим в своём обаянии, потому что таким его сделал Гердт, вдохнувший в него жизнь.

И совсем уж неожиданно-негаданно куклы вошли в мою жизнь в Америке. Мы были уже старожилками с двенадцатилетним стажем, когда на русскоязычном небосклоне Солт-Лейк-Сити появилась две новых звезды, Рита и Юра Соколовы. Удивительным образом эта яркая пара одновременно и подтверждает, и опровергает диалектический тезис о единстве и борьбе противоположностей. Единство они подтверждают, борьбу опровергают. Я не встречала более гармоничного брака. А противоположны они буквально во всём. Во-первых, внешность. Юра – высокий,

Зяма

Это же Гергм!



Вздохомощной и тлаайтливой
Наташе в память о счастливлен
времени нашей жизни и
герое этой книги. Он всегда
приводит от тедя в восторг.
Ураги и радостии!

Авал А. Архив - Серди

26.12.2004

статный, спортивный; маленькая изящная Рита на его фоне кажется совсем миниатюрной. Второе – происхождение. Юра, по семейной легенде, потомок незаконнорождённого отпрыска князя Гагарина, человек чистейших славянских кровей. Рита, в девичестве Перельцвейг, – из семьи с глубокими еврейскими корнями. Океаны слёз были пролиты родителями этой брачующейся пары, причём с обеих сторон. Наконец, род занятий. Юра – физик с инженерным уклоном. Он приехал в Юту за работой. Рита – квинтэссенция лирика, хотя по образованию, полученному под давлением мамы, что-то вроде инженера-электротехника. Из института Рита вынесла умение вставить вилку в розетку и зажечь электрическую лампочку. В принципе это образование могло бы впоследствии пригодиться, например, для дизайна освещения в гипотетическом театре, но тут пошли дети и карьерные соображения были похерены навеки. Но талант, как говорится, не пропьёшь. Тем более такой разносторонний. Рита – художник в полном смысле этого слова: пишет картины маслом, пишет чудные маленькие рассказы, шьёт и вяжет с отменным мастерством и вкусом и необыкновенно артистично рассказывает смешные истории из жизни своих знакомых и родственников. Но всё это – редко. Потому что основное время жизни Рита читает. Она называет себя профессиональным читателем, и это очень точное определение. Она читала всё.

На стенах в их доме висят Ритины картины, очень, на мой взгляд, хорошие, но Рита твёрдо заявила, что искусство в прошлом, и читала день и ночь, отвлекаясь только по острой необходимости съездить в супермаркет и приготовить обед. Исполнив супружеский долг, немедленно снова хваталась за книгу. И вдруг, неожиданно для друзей, её прорвало: так же, как раньше день и ночь читала, Рита начала делать кукол. Но каких!!!

Рита рассказывала, что у её бабушки-концертмейстера, работавшей тапёром в кино и аккомпаниатором, были большие напольные часы. В них стояли две роскошно одетых немецких куклы; когда-то они были одного роста с маленькой Ритой. Она с

ними выросла. Но бабушка умерла, а куклы украли. Для Риты это была потеря, с которой она не смирилась всю жизнь. Ей надо было вернуть кукол обратно. Но как?! И вдруг пришло решение: надо сделать кукол самой. Может быть, не копии тех, бабушкиных, но такие, которых бабушка поставила бы в свои напольные часы. На фотографиях вы видите овеществлённый результат этой мечты.

У меня с Ритиными куклами свои отношения. Они стоят у неё в доме в стеклянных шкафчиках или устроились на прикреплённых к стенам балкончиках. Приходя в гости, я здороваюсь с ними раньше, чем с хозяевами дома. С некоторыми дружу, к иным равнодушна, одного так просто терпеть не могу. Но восхищают – все. Они живые. Живут какой-то своей безглазой кукольной жизнью. Я однажды ночевала у Риты в комнате с почти законченной куклой «Ночь», довольно страшной; мне было не по себе, и я всю ночь не могла уснуть.

Самый лучший подарок к своему 75-летнему юбилею я получила от Риты. Он представлен ниже. Многие думают, что это моя фотография. Это не фотография. Эта «копия», но она, кажется, ничуть не хуже оригинала!





ГРИГОРИЙ ФАЙМАН И ТЕАТР НА ТАГАНКЕ

Документ, о котором рассказано ниже, имеет свою историю. Моя подруга Ксана Старосельская познакомила меня как-то со своим приятелем, историком литературы и литературоведом Гришей Файманом. В ту пору он был завлитом Театра на Таганке (может быть, должность его называлась как-то иначе, но по сути – правильно). Думаю, что Гришин роман с Таганкой начался в середине семидесятых, когда Любимов готовил к постановке «Мастера и Маргариту» (спектакль вышел в 1977 году). Гриша был влюблён в Булгакова и знал его жизнь и творчество буквально по часам. Каким-то образом он получил доступ к закрытым фондам Ленинской библиотеки и откопал там строго засекреченную первую публикацию Булгакова, фельетон «Грядущие перспективы».

Григорий Файман и театр на Таганке

Главное управление культуры
исполкома Моссовета



В ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА "ЗНАНИЕ"

г. Москва, ул. Чкалова, 76

№ 337
8 июня 198 г.

Тел. 272-61-81, 272-73-80

Московский театр драмы и комедии на Таганке
рекомендует помощника главного режиссера по литера-
турной части Файмана Григория Самуиловича для
чтения публичных лекций.

Главный режиссер театра

Ю.П.Любимов

Тип. ВПА, з. 600

Он переписал её от руки, как и многие фельетоны и очерки из «Гудка» и других газет и журналов, никогда не переиздававшиеся. И стал их читать друзьям, а потом и в более широких аудиториях. Очень артистичный, Гриша читал блистательно и сопровождал фельетоны интереснейшими рассказами и эпизодами из жизни Булгакова. И мне пришла в голову шальная мысль устроить Гришино выступление в Химфизике. Дело в том, что во мне дружески сосуществуют два начала: альтруизм и страсть к просветительству. Когда я вижу, слышу, читаю что-то интересное, мне хочется немедленно этим поделиться и осчастливить как можно больше народа. Просто жжёт. А в Химфизике огромный актовъй зал, человек, думаю, на тысячу, и аудитория подходящая. У нас выступали Никитины, и Гердт, и Высоцкий. Правда, их концерты были организованы через официальные каналы и утверждены профсоюзом и парткомом института. С Гришей дело обстояло иначе: он читал «незалитованные» (т. е. не прошедшие Главлит) «секретные» тексты и рассказывал совершенно неполиткорректные по тем временам истории. О том, чтобы устроить его выступление официально, не могло быть и речи. И я решила сделать это явочным порядком. Выяснила, когда свободен зал, взяла от него ключи (тому, кто их держал, и в голову не пришло, что у меня нет на это санкции), написала небольшие объявления о вечере, посвящённом жизни и творчеству Михаила Булгакова, и развесила их по корпусам нашего института.

В первый вечер публики набралось примерно ползала. Но в первый вечер Гриша не дошёл и до середины своего рассказа, и мы решили продолжить на следующий день. Слух об интереснейшем булгаковском вечере пронёсся по институту, как ветер, и на следующий день публика буквально «висела на люстрах». Сейчас не помню, состоялся ли третий вечер, или скандал разразился на втором. В зал явилась администрация, пожарники, представители высоких партийных кругов и потребовали немедленно освободить помещение. На возмущённый гул зала пришедшие не реагировали и говорить Грише не давали. Пришлось

нам прервать встречу и покинуть зал, но расходиться никто не хотел. Мы вышли в институтский двор и продолжали слушать Гришу стоя, благо было тепло – московский июнь. Снаружи это выглядело ужасно – как митинг. Но Гриша досказал нам булгаковскую историю до конца!

На следующий день (а скорее, тем же вечером) на нас с Гришей полетел донос из моего института в понятно какие инстанции. Время было андроповское, и ситуация наша была очень серьезной. Про меня было написано, что я организовала в институте «устный самиздат». Никогда больше не встречала такой изобретательной формулировки! Что было написано про Гришу – не видела, знаю только, что там было требование убрать его из театра. Выручать нас принялся Любимов. Грише от него здорово влетело за несанкционированные выступления, но он подписал задним числом письмо, согласно которому сам направлял Гришу для чтения популярных лекций с просветительской целью. Письмо, пришедшее в мой институт, выкрали для меня мои друзья. Громкого скандала, видимо, никто не хотел, и меня даже с работы не выгнали. Так у меня оказался автограф Юрия Петровича Любимова.



ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНИ

АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ БЛЮМЕНФЕЛЬД

*Нас жизнь раскидала на тысячи вёрст так безжалостно.
Мы всё обрели – и жильё, и работу, и скарб.*

*А всё-таки жаль, что единственной нашей реальностью
Стал мир виртуальный – e-mail, Facebook или Skype.*

А. Л. Блюменфельд

...Это было очень давно. Я пиялилась на молодого человека, ожидавшего поезда метро на станции Ленинский проспект. Он был как две капли воды похож на молодого Лёвку Блюма, врезавшегося мне в память с той далёкой поры, когда они с Мошковским выпивали у нас на даче в середине сороковых годов. Я понятия не имела, есть ли у Блюма сын, но такое сходство не

могло быть случайным – уж слишком «необщее выражение лица» было у Блюма-старшего. Меня так и подмывало подойти к юноше и спросить, не сын ли он Льва Александровича Блюменфельда, но останавливали лингвистические трудности. «Извините, вы не сын Льва Александровича Блюменфельда?». Какая глупость! Почему «не сын», если я как раз думаю, что он – сын. «Извините, вы сын Льва Александровича Блюменфельда»? Если он его сын, то непонятно, почему за это надо извиняться. Пока я билась в сетях российской словесности, подошёл поезд, и мы оказались в разных вагонах.

Я ехала в гости к близкой подруге Татьяне Соколинской. У Татьяны, как я и надеялась, был наш близкий друг Эрлен Федин, имевший с Блюмом-старшим тесные научные связи. Эрлен мог быть в курсе дела, и, едва войдя, я спросила: «Не знаешь, у Блюма есть сын?». «Вот те на, – удивился Эрлен, – конечно есть! У меня работает, весьма толковый молодой человек. Почему спрашиваешь?».

Со стороны Эрлена замечание «весьма толковый молодой человек» было высокой рекомендацией. Бестолковых он в свою лабораторию не брал, и народ там собрался талантливый и яркий.

Имена Арлен, Эрлен звучат музыкально, ласкают слух, если, конечно, отвлечься от содержания: Ар-Лен – Армия Ленина; Эр-Лен – Эра Ленина. Родители этих малышей, романтики революции, были беззаветно преданы «вечно живой» восковой кукле из Мавзолея и, конечно, поплатились за свою любовь тридцать седьмым годом.

Воспитанный родителями-партийцами, Эрлен Федин рос пламенным большевиком. Родителей, однако, арестовали, когда Эрлену ещё не было одиннадцати лет; отца практически сразу расстреляли, мать провела почти два десятка лет в лагерях, а с Эрленом повременили, пока он не дорос до физфака МГУ. Его взяли со второго курса как «сына врагов народа и скрытого еврея, обманом пробравшегося на физический факультет МГУ». Он прошёл через все основные круги гулаговского ада, но годы

тюрьмы и ссылки стали его настоящими университетами. О своей жизни он написал книгу «Филин на развалинах». Вот некоторые эпизоды его биографии:

В начале жаркого июля сорок девятого года меня вызываю из камеры с вещами. Вздвигнутый ожиданием неведомого будущего, опечаленный расставанием с Дашкевичем, я попадаю в небольшую комнату со столом, шкафом и двумя стульями. За столом – майор госбезопасности, шкаф увенчан его фуражкой. Фамилия? Имя? Отчество? – спрашивает он. Моё имя сбивает его с толку.

– Что это значит? Что-то нерусское?

– Это значит «Эра Ленина»! – сообщаю я, веселясь. Майор озадачен еще более.

– Встать! – говорит он мне и встает сам. Переносит фуражку со шкафа на голову.

– Особое совещание... Рассмотрев дело по обвинению Федина... по статьям 7 и 35 УК РСФСР... приговорило... Эру Ленина... – голос майора хрипит от испуга – ...к пяти годам ссылки.

Майор снимает фуражку и вытирает лоб платочком...

...В «столыпинском» вагоне нас четверых провели в купе обычного размера, отделенное от коридора прочной железной решеткой. Кто-то из соседей восхитился: он никак не ожидал от МГБ столь комфортных условий этапирования. Мы удобно расположились на деревянных скамьях. Огляделись. Вместо окна в нашем купе – узкая зарешеченная щель на высоте багажных полок. Душновато. Но, оказывается, мы еще не знаем, каковы наши резервы выносливости. Ибо через несколько часов в нашем стандартном четырехместном купе оказывается двадцать восемь арестантов. Последнего конвойные энергично дожимают коленом, чтобы закрыть дверь. Двадцать восьмой возмущенно протестует. Это видный медик, бывший ректор Ростовского университета.

...На куйбышевском перроне нас встретят бравые автоматчики с собаками. Из шести камер вагонзак нас набралось на

перроне человек полтораэта. Выяснилось, что везти нас в тюрьму пока не на чем. И мы по команде опускаемся на колени. Собачьи морды – на уровне наших глаз. Над нашими головами нависают дула автоматов. Командир автоматчиков зычно сообщает:

– Попытка встать считается побегом! Огонь открываем без предупреждения!..

Что ж, студент, продолжается твой университетский курс. Ну-ка, поупражняйся в диалектике, стоя здесь на коленях. Не можешь стоять иначе? Свобода – осознанная необходимость?.. Расскажи, студент, об этом соседке-овчарке, может, она тебе поставит пятерку...

Здесь, в коленопреклонении на самарском перроне, из моего сознания испарились последние остатки вбитых туда с детства шаманских заклинаний. Исчезла застилающая взгляд пелена, прекратилось гипнотическое воздействие идола. И обступила невеселая обезбоженная действительность... Мне удалось потом, годы спустя, встать в полный рост, но слишком многим соотечественникам повезло меньше.

Эрлену повезло – он выжил, выпрямился и стал доктором физических наук. В Институте элементоорганических соединений Академии наук (ИНЭОСе) он создал лабораторию ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

ИНЭОС в ту пору был настоящим оазисом науки и культуры, как и мой Институт химической физики. По-моему, в ИНЭОСе было даже меньше партийного мракобесия, чем у нас в Химфизике (впрочем, не исключаю, что это завистливый взгляд со стороны). Здоровая и жизнерадостная творческая атмосфера была замечательной питательной средой для молодых учёных. В лаборатории Эрлена Федина Александр Львович Блюменфельд, а для друзей попросту Сашка Блюм, о котором собственно и пойдёт рассказ, приобрёл бесценный научный опыт и стал высоким профессионалом.

В ИНЭОСе работал наш близкий друг Ян Кандрор, ослепительно красивый, дьявольски остроумный и исключительно

образованный, в том числе в литературной сфере. Вскоре выяснилось, к моей радости, что молодой Блюм – ближайший друг Кандрора. Это обстоятельство даже в большей степени, чем родственные отношения со старшим Блюмом, послужило стремительному возникновению нашей с Сашей дружбы: круг замкнулся.

Теперь напомним, если вы забыли. В девяностые годы наука в России оказалась на грани полной катастрофы: ни субсидий на исследования, ни зарплаты. Учёный народ стал разбегаться, неся своё образование и опыт по земному шару от Новой Зеландии до Гавайских островов. Кандрор, Эрлен и некоторые сотрудники его лаборатории оказались в Германии. Следуя логике событий, Блюм-младший с семьёй переехал на работу в Штаты и в конечном итоге осел в городке Москва штата Айдахо. В «Московском университете», Блюм-младший руководит отделом ядерной магнитно-резонансной спектроскопии. С отцом его роднит высокий профессионализм, но на этом сходство, с моей точки зрения, кончается. Блюм-старший был романтиком и в жизни, и в работе; он высоко взлетал, но приземления бывали сопряжены с тяжёлыми и опасными травмами. Саша, по-моему, застрахован от ошибок тщательным и скрупулёзным отношением к любому виду своей многогранной деятельности.

Физики и лирики, как оказалось, могут прекрасно уживаться. Жена Саши Нина – художница и писатель, ученица Бориса Биргера, работает в университетском музее.

Тут уместно заметить, что у Блюмов все имена – фирменные. Блюм-старший звался Лев Александрович, Блюм младший – Александр Львович, сын его Лёва, поразительно похожий на деда манерой говорить, улыбкой, походкой – опять Лев Александрович. Лев-младший – лингвист и в своём деле, по семейной традиции, весьма преуспевает. Имя Нина у Блюменфельдов – патентованное имя для жён. Блюм-старший был женат на Нине Николаевне, Блюм младший – на Нине Ивановне. Лев-младший пока не нашёл свою Нину.

Городок Москва, штат Айдахо, расположен у подножия невысоких красивых Московских гор. Он назван в честь... нет, не то, что вы подумали: он назван в честь городка Москва, штат Пенсильвания. Городов «Москва» в Штатах, кажется, восемнадцать, в основном захолустные, и только немногие из них названы в честь столицы великой державы.

Штат Айдахо граничит с Ютой; если поспешить, от Москвы до Солт-Лейк-Сити можно доехать на машине за день. Постепенно возник такой ритуал: на Новый год мы летаем к Блюмам в Москву, а на мой день рождения – сезон белых грибов в Скалистых горах – Блюмы, страстные грибники, прикатывают на машине к нам в Юту. За прошедшие годы эта схема дала сбой всего пару раз. Однажды вместо Москвы, штат Айдахо, мы с Володей улетели на мою конференцию в Сантьяго и оттуда – на остров Пасхи. В результате все три семьи – Кандроры, Блюмы и мы – оказались на разных континентах. Кандрор заметил:

*Не напрасно географию учили
Мы в закрытой наглухо стране.
В результате Рапопорты – в Чили,
Блюм – в Айдахо, мы – в Висбаденé...*

...Хорошо помню наш первый визит к Блюмам в Москву. Мы летели с приключениями: у самолёта загорелся хвост, и он сел практически в чистом поле (к счастью, между нами летают миниатюрные самолёты, садятся где угодно). С «чистого поля» нас подбирали не бегом, и мы с большой задержкой добрались до цели, где нас часа четыре ждал святой человек Лёва. Меня эта эпопея настроила на философский лад: было время поразмышлять о тщете всего сущего. Утром Володя принёс мне в кровать записку от Блюма: «*Вставай, унылая! Пора, очей очарованье!*» И хотя оказалось, что разбить так пушкинскую строчку придумал не Блюм – попал точно в цель, цитата меня восхитила.

Посвящения и переписка в стихах, наследие славных традиций девятнадцатого столетия, в наш стремительный и прагматический век – явление не частое. Блюм, великий знаток поэзии, пишет свои посвящения «по калькам», используя популярные мотивы. В ход идут пушкинские стихи, песни Окуджавы, Галича, Никитина.

Блюмовские посвящения всегда талантливы, отличаются безупречным вкусом по форме, содержанию и заключённому в них тонкому юмору и доставляют массу радости, даже если в эту изящную форму облачена, как это часто бывает, острая критика адресата. Блюм их с блеском исполняет, хотя с попаданием в ноты у него примерно те же проблемы, что у меня. Бывает, ему помогает на гитаре Юра Карбушев, но, как признаёт сам Блюм, «ещё не родился человек, способный подыграть моему пению».

Без блюмовских стихов-посвящений мой рассказ о нём был бы сухим, как вобла к пиву, коего он большой любитель. С его щедрого согласия я приведу здесь несколько примеров.

В большом эпическом произведении, написанном к моему 75-летию, Блюм свёл мои основные недостатки к общему знаменателю. Рикошетом досталось и Сергею Никитину, чья фотография в окружении собранных в наших горах белых грибов украшает мою так называемую «стену плача» – доску с фотографиями и портретами ушедших и живых, но далёких друзей.

Юбилейное произведение Блюма написано по кальке песен Галича, посвящённых Климу Коломийцеву. Песен этих, как известно, пять. Блюм написал «шестую».

История шестая – о том, как Клим Петрович Коломийцев, бывший кавалер многих орденов, бывший депутат горсовета, бывший мастер цеха, но по-прежнему знатный человек, ездил в гости в Солт-Лейк-Сити собирать белые грибы.

*Грибочек пальцем выловил,
Завёл туманно взгляд,
Сжевал грибок и вымолвил:
«Нет, не люблю маслят!»*

*У жене моей спросите, у Даши,
У сестре её, у Клавки, спросите:
Ну ни капельки я не был поддавши,
Когда чёрт меня занёс в Солт-Лейк-Сити!*

*Было так: сажу, гляжу в телевизор,
Там Никитин что-то лепит невнятно.
И поёт он, ну почти что, как Визбор,
Но о чём поёт – не очень понятно.*

*Он споёт, потом чего-то расскажет,
Я вполуха – всегда ж всё и то же.
Вдруг гляжу, он вынул фотку и кажет,
И меня тут, как кувалдой по роже!
А на фотке он там с бабой лохматой,
И грибов вокруг – гребни хоть лопатой!*

*Говорит, что был в гостях в Солт-Лейк-Сити
И гулял он там по разным каньонам,
И что баба та – «культуры носитель»,
И несёт культуру всяким мормонам.*

*И грибов там этих белых до чёрта,
И местов грибных там множество разных,
И что бабу ту зовут Рапопорта,
А мужик еёный, кажется, Вайсберг.*

*Знамо дело, место это секретно,
Но пробраться туда хочется очень.
Я маслята ненавижу конкретно,
А до белых – я так очень охочий!*

*Мыслю, надо собираться скорее,
Ненадолго, раз – туда и обратно.*

*Это даже ничего, что евреи –
Я к евреям всегда толерантный!*

*Ну, отбил я Рапопорте емелю,
Так и так, мол, по грибы мне к вам надо.
Отвечает: «Приезжайте немедля,
Клим Петрович, дорогой, будем рады!»*

*Ну, билеты (первый класс!), визы-шмизы,
Это нынче для меня не задача.
Я ж не хрен с горы, я – Клим Коломийцев,
Постарался дорогой Сан Аркадич!*

*Выхожу я, значит, с их еропорта,
И толкаюсь среди публики разной.
Вижу вдруг, стоит сама Рапопорта,
С ней мужик какой-то – видимо, Вайсберг.*

*Рапопорта аж бегом мне навстречу,
«Клим Петрович, дорогой, что за счастье
Видеть вас у нас!..» Я ей не перечу,
И в ответ со всей культурностью: «Здрасьте!»*

*Охи-ахи тут пошли, тити-мити,
Будто первый секретарь я обкома.
А как кончился торжественный митинг,
Сели в тачку и поехали к дому.*

*Дом – богатый, весь в картинах и цацках.
Рапопорта молвит: «Милости просим!»
Я гляжу на стол – накрыто по-царски,
И бутылок разных штук этак восемь.*

*Только я ей так серьёзно и строго
Говорю, что, мол, забудьте про пьянку.
Нам же завтра за грибами, в дорогу,
И вставать нам, говорю, спозаранку!*

*Спозаранку, говорю, спозаранку,
А она в ответ кивает, засранка!*

*Ну, извёлся я, поспал – часик, может.
Вылез в кухню, полчаса до рассвета.
Приготовил я корзинку и ножик,
И сижу, и жду. А этих всё нету.*

*И не знаю, мне кричать иль молиться,
Голова трещит от мыслей бессвязных.
Может, думаю, к ним в спальню вломиться?
Где-то в восемь появляется Вайсберг.*

*Я к нему: «Давай, скорей! Где подруга?
Я с пяти сижу тут, ждать вас устал я!»
Он в ответ мне, почему-то с испугом:
«Надо ждать, пока проснётся Наталья!»*

*Ё моё! Потом на завтрак, на сборы
Три часа ушло. Поверьте мне, братцы, –
В полчетвёртого мы въехали в горы,
И давай туда-сюда там кататься!*

*Мы то вверх, то вниз, со счёта уж сбились,
Я где север – юг, давно перепутал.
Наконец мы где-то остановились,
Рапопорта говорит: «Вроде, тута...»*

*Я корзинку хватать, в другой руке ножик –
Где грибы? Куда идти, вбок или прямо?
Вайсберг корчит непонятную рожу,
Рапопорта говорит: «Вроде тама...»*

*Как дурак, я из последних силёнок
Прочесал весь этот склон аж три раза,
И попался мне один лишь маслёнок –
Я, конечно, затоптал его сразу!*

*Я ж не мальчик, наконец, я ж не шибздик!
Где грибы, кричу, кончай эту попытку!
Вайсберг – мне: «Видать, каньоном ошиблись,
Завтра сделаем вторую попытку».*

*Как доехали до дому – не помню.
Как в бреду кричу: «Давай сюда водки!»
Наливаю я стакан себе полный,
Двести грамм стакан – хоть тут без наёбки!*

*Я стакан махнул, причмокнул губами,
Вайсберг банку мне суёт, чуть не в морду:
«Закусите, Клим Петрович, грибами!»
Я и цапнул гриб, а чё? Я ж не гордый.*

*И сижу я, рот раскрыв, очумелый,
И гляжу на этих гадов проклятых.
Оказались в этой банке не белые –
Оказались в этой банке маслята!*

*Нет уж, братцы, надо ездить поближе,
Не на край раз-перемать его света.
Мы ж их, гадов, отпустили, и мы же
Пропадаем, как клопы, через это!*

*Я-то думал, как-никак заграница,
Думал, Дашке с Клавкой будут гостинцы,
Думал на зиму я сделать запасы,
Но, как фэраер, пролетел мимо кассы.*

*А грибы теперь всегда собираю
Я в Барвихе. Там, в лесочке, по краю.*

У Блюма день рождения – через пару месяцев после моего, шестого ноября. Но когда человек на пенсии, даты теряют осязаемость. В тот день я была в поездке и большой запарке. Совершенно случайно глянула на телефон – мать честная, шестое ноября, восемь вечера! У меня в руках ни пера, ни бумаги, ни компьютера. Сочинить что-то оригинальное и путное не было ни времени, ни технической возможности. Один выход – попытаться объяснить Блюму в любви его же словами, благо многие его тексты я помню наизусть. По кальке «Шестой песни Клима Коломийцева» наваляла «сдьмую». Воровала целыми строфами, но не забывайте, читая, что хотя этот текст идёт от имени Блюма, написала его я.

История о том, как Александр Львович Блюм, будущий кавалер многих орденов, мастер многих цехов и знатный человек, никогда не бывший депутатом горсовета, ездил в гости в Солт-Лейк-Сити

*У жене моей спросите, у Нины,
У сынка мово, у Лёвки, спросите:
Целый день хожу я пьяный в дымину,
Если чёрт меня занёс в Солт-Лейк-Сити!*

*Я ж не первый раз в гостях в Солт-Лейк-Сити,
Я гулял там по различным каньонам,*

*С рыжей бабой, что «культуры носитель»,
И несёт культуру разным мормонам.*

*Эта баба меня любит секретно,
И прибиться ко мне просится очень.
Я блондинок уважаю конкретно,
Но до рыжих я не очень охочий!*

*Больно, кажут, горячи, больно клейки,
К ней летаю я туда и обратно.
Эти бабы, особливо еврейки –
Мне не то чтобы милы, но занятны!*

*Охи-ахи от неё, этой рыжей,
Вижу, надо мне скорее спастись.
Наживёшь с ней диабету, и грыжу,
И похуже вдруг чего, может стать.*

*У меня ж в Москве жена, вы поймите,
Варит борщ мне и котлеты с грибами,
А с Рапопорты той – одни фити-мити,
Ну, короче, понимаете сами.*

*Я ж не мальчик, наконец, я ж не шибздик!
Отойди, кричу, кончай эту пытку!
А она мне: «Вы в подходе ошиблись.
Разрешаю вам вторую попытку».*

*Так что вновь лечу я с их еропорта
Полон мыслей и тревожных, и разных,
Что любовь той рыжей – звать Рапопорта, –
Вряд ли спустит мне мужик её, Вайсберг.*

На встречах Нового года у Блюмов мы познакомились и подружились с их калифорнийскими друзьями, Тамарой и Юрой Карбушевыми. В отличие от нас с Сашкой Блюмом, чьё детство-отрочество-юность прошли в Москве, в семьях высшей категории, Юра Карбушев родился в провинции и рано покинул отчий дом. В институте – карты, пьянки, проваленные сессии, изгнания, пока встреча с Тамарой не поставила его на верную дорогу. Для Юры Карбушева время на овладение сокровищами мировой культуры, как это положено в юности, было безнадежно упущено.

Не так давно Юра попросил у Блюма в качестве подарка на день рождения книгу по Сашиному выбору. Саша следующим образом откликнулся на Юрину просьбу (исполняется на мотив «Старушка не спеша дорожку перешла»:

*Такая вот напасть, возникла к чтенью страсть
На склоне лет у Карбушева Юры.
В подарок просит, плиз, чего-нибудь там из
Сокровищ мировой литературы.*

*Ах, Юра, милый друг! Чего это ты вдруг?
Ты ж к чтенью с детства не имел призванья.
And I am getting stuck¹, придумать надо как
Нам выстроить твоё образование.*

*Задача не проста, шедевров больше ста,
Их может даже двести или триста.
И жизнь пройдёт, пока, начавши с «Колобка»,
Ты доползёшь до «Графа Монте-Кристо»!*

*Так дело не пойдёт, нам время не даёт
Возможности всё делать по порядку.
В шедевров списке том я выбрал чудный том
Примерно так из пятого десятку.*

1 И я в затруднении.

*Надеюсь, что, когда, осилив без труда
Шестьсот страниц, забавную интригу,
Ты, гордый сам собой, вдруг вымолвишь: «Oh, boy!
Хочу прочесть ещё какую-нить книгу!»*

...С историей нашей с Володей первой встречи знакомы все наши друзья и даже недруги, поскольку я её неоднократно излагала в печати. Вкратце: мы встретились на лыжах, на вершине крутой горы, с которой я не имела ни малейшего намерения спускаться, но тут из лесу вышел молодой человек интеллигентного вида, высокий, красивый, в очках, и осведомился, смазаны ли у меня лыжи. Мои были не смазаны, и он предупредил, что мне нельзя ехать с этой горы, потому что на склоне разнесёт, а внизу резко затормозит. Но его-то лыжи были смазаны, и я испугалась: «Уйдёт!». Закрыла глаза и сиганула вниз. Он слетел за мной, откопал из снега, поднял, отряхнул и сопроводил в Дом творчества архитекторов, где я тогда отдыхала. Спустя неделю пришёл осведомиться о здоровье, и вскоре случилось то, что длится уже полвека. Блюм изложил свою версию этих событий, взяв за кальку песню Никитина на стихи Окуджавы «Мой конь притомился...»

*– Я так притомилась, и лыжи мои не идут,
Скажите, пожалуйста, как мне добраться домой?
– Единственный путь, моя радость, спуститься вот тут,
Но если без смазки – рискуете вы головой!*

*– А что ею мажут, скажите, какие места?
И как раздобыть её, где их берут и почём?
– Я вас огорчу, но сейчас эту смазку достать
Пожалуй, нельзя, моя радость, а я ни при чём.*

*Стоял он, как рыцарь прекрасный в огромных очках,
Как сказочный принц или как благородный маркиз...
И я подкатилась к обрыву на ватных ногах,
И, как Катерина, не думая, рухнула вниз.*

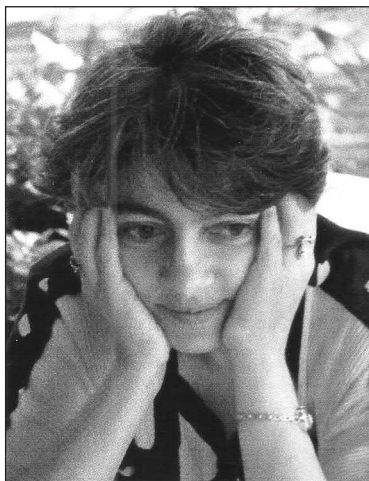
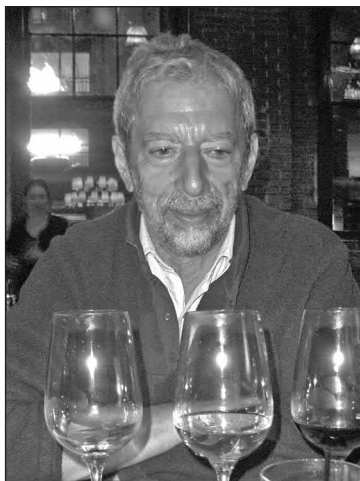
*Когда я очнулась, над телом моим он стоял,
И руку мне подал, заботливо вправил плечо.
– Вот видите сами, ведь я же вас предупреждал,
Без смазки нельзя, моя радость, но я ни при чём.*

*А дней через десять, забыв про тогдашний испуг,
Полдня я таскалась за ним по горам и лесам.
– Зачем меня тащишь, мой рыцарь, ты в эту избу?
А он отвечает: Ах, если б я знал это сам!*

*Полвека прошло, и сегодня мне семьдесят пять,
Мой рыцарь мне предан и любит меня горячо.
Но только должна откровенно я всем вам сказать:
– Всё дело в отсутствии смазки, а я ни при чём!*

...Как-то к Новому году я подарила Блюму вышедшую незадолго до этого книгу Елены Катишонок, чьи стихи и романы он высоко ценит, в полном согласии с комитетом, присуждающим Букеровские премии. Лену я попросила книгу для Блюма подписать, что она и сделала через присланную мне, но адресованную Блюму открыточку: «Читателю-рецидивисту...». Оказалось, однако, что Саша ещё летом купил эту книгу в Москве. Чтобы меня не огорчать, он сделал вид, что очень рад новогоднему подарку, а Лене, в благодарственном письме, во всём признался. Переписка их быстро вышла за пределы санкционированной, и я пригрозила Катишонку, что наложу на них обоих «эпиталаму», о чём она и сообщила Блюму. Блюм откликнулся так:

*Наталья – та ещё мадама,
С размаху бьёт, но мы простим ей.
А на её эпиталаму
Ответим мощной епитимьей!*



У каждого свой путь к вдохновению: Саша Блюм и Лена Катишонок

Блюмовские «мощные епитимьи» доставляют столько радости, что я не променяла бы их ни на какие звонкие панегирики.

В жизни не часто встречаешь «своих» людей. Встретить их в Америке – счастье почти невероятное, в полной мере понятное, я думаю, только эмигранту. На наших глазах произошла настоящая технологическая революция, стволы Лепажки сменились ядерными боеголовками, серебряная фотография – цифровой, почтовые лошади – интернетом, поездки в гости к друзьям – общением по скайпу. А наши радости и горести и всё то, что мы ценим в жизни, осталось прежним. Мы просто продолжаем здесь своих отцов.

Художественное издание

Рапопорт Наталья Яковлевна
АВТОГРАФ

Издатель *Леонид Янович*
Корректор *Наталья Горелова*
Дизайн-макет и верстка *Наталья Зотова*
Обложка *Ульяна Янович*

Налоговая льгота –
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93
953000 – книги, брошюры
НП Издательство «Новый хронограф»
Контактный телефон +7(916) 651-30-94
по вопросам реализации 8-985-427-9193
E-mail: nkhronograf@mail.ru
Информация и Интернет: <http://www.novhron.info>

Подписано к печати 05.02.2018
Формат 84x108/32. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 11,25 усл.-печ. л.
Тираж 750 экз. Заказ №
Отпечатано в ТК «ИТ»

ISBN 978-5-94881-406-3



